ЭДВАРД

ПЕРВЫЙ РОМАН О СТАЛИНЕ

РАДЗИНСКИЙ

ИОСИФ СТАЛИН

НАЧАЛО

АПОКАЛИПСИС ОТ КОБЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В основе книги Эдварда Радзинского, выход которой ждут уже несколько лет, лежит некая рукопись, полученная автором. Этот текст заново открывает нам затонувшую Атлантиду, страну по имени СССР, и ее самую таинственную и страшную фигуру — Иосифа Сталина.

- Эдвард Радзинский
  -
  - Иосиф сталин
    - Черная фотография[1]
    - Мой отъезд
    - «Тот день» — 28 февраля. Утро
    - 28 Февраля. Последний вечер Кобы в Кремле
    - Прощание
    - 28 Февраля. Возвращение на Ближнюю дачу
    - После «той» ночи. Сны
    - Евреи
    - Рождение Кобы
    - Коба и власть
    - Ленин и кровь
    - «Сила бессильных»
    - Камо
    - Деньги Партии
    - Задание Партии
    - Убийство мецената
    - Битва за террор
    - Великое ограбление
    - Любовь и смерть
    - Тайна Кобы
    - Новый Коба
    - Толстяк посылает апостолов
    - Революция
    - Рождение новой власти
    - Большевистский дворец блудницы
    - Конец царской армии
    - Бриллианты балерины
    - Возвращение Кобы
    - Последняя любовь Кобы
    - Отелло и Дездемона
    - Его первая шахматная партия
    - Унижение последнего царя

- Могила Распутина
- Продолжение шахматной партии: красотка Коллонтай
- Немецкие деньги
- Окончание шахматной партии: встреча Ленина
- Историческая ночь на самом деле
- Великий ход Кобы
- Задание, о котором не узнает история
- Миротворец Коба
- Спаситель Ильича
- Незабвенный шалаш
- Коба примеряет костюм вождя
- Октябрьское восстание и тайная миссия Кобы
- Секретная миссия
- Октябрьский переворот
- Новая власть
- Рождение нового мира
- Для будущих историков
- Первый день нового мира
- Агент всемирной революции
- Свадьба Кобы
- Рождение князя Д
- Великая княгиня
- Кровавые бриллианты
- Мировая революция
- Самец Муссолини
- Карл и Роза: продолжение мировой революции
- Расстрел великих князей
- Странная смерть черного дьявола
- Начало великой провокации
- Большой сюрприз
- Коба в Кремле
- Еще одна революция — тайная
- Новая Лубянка, новая разведка, новая партия
- Меч всемирной революции
- Страна не знала лица того, кто уже руководил ею
- Подарок Ильичу
- Наследство больного Ильича
- Коба собирает досье
- Внучка царя и она
- Лаборатория ядов
- Коба начинает прощаться с друзьями
- «Активное мероприятие»

- Смерть Кобы, рождение Сталина
- Воскресший Ильич
- «Согласны на все…»
- Бомба для Кобы
- Битва у постели вождя
- Агентурная сеть накрывает Европу
- Вознесение Боголенина
- Прощание с Парвусом
- В сетях «Треста»
- Падение льва
- Рождение нового царя
- «Это вам не при прежнем царе!»
- Начало конца ленинской партии
- Изгнание льва
- Болезнь Нади
- Новая страна (заметка для историка)
- Похищение генерала
- Страх
- Дом на набережной
- Накануне бури
- Уроки Гитлера
- Новая жизнь товарища Сталина
- Безумный, безумный мир
- «Красная капелла»
- Съезд мертвецов
- Любовь Бухарчика
- Погром старых борцов
- «Сердце под ножом падало»

- notes
  - 1

Эдвард Радзинский
Иосиф Сталин. Начало

Эту рукопись я получил в Париже в 1976 году.

Я жил тогда в маленьком отеле «Delavigne» в Латинском квартале. Приехал я на премьеру своей пьесы и перед началом дал интервью парижской газете. На следующий день консьерж вручил мне тяжелый конверт… В нем была машинописная рукопись на русском языке и письмо, написанное от руки неровным почерком.

«Соотечественник!

Прочитал ваше интервью в „Монд“. Узнал, что вы решили (точнее — решились) написать биографию *„первого большевистского царя Иосифа Сталина“*. Так вы назвали моего дорогого друга Кобу.

Я стар. Я стремительно гасну, дней моих на земле осталось немного. И все, записанное мною на протяжении десятилетий… небывалых десятилетий! — попросту исчезнет в чужом городе. Я решил поторопиться. приходится торопиться. Я передаю рукопись вам. Я писал ее *тогда и теперь. Тогда, в стране по имени СССР,* записывал подробно и, не скрою, витиевато. (Я ведь, как многие в революционные годы, баловался литературой, даже роман писать собирался. Оттого и жилище в Париже выбирал литературное — живу здесь, в Латинском квартале, где меня, старого революционера, окружают такие родные, понятные тени. На мой дом глядят окна квартиры отца Революции Камиля Демулена. И отец гильотины, немец Шмидт, жил неподалеку. В двух шагах отсюда Бомарше сочинял своего Фигаро. Над его наглыми шутками, раздевавшими аристократов, хохотали до упаду сами аристократы. А вскоре такие же Фигаро погнали на гильотину всю эту веселившуюся сволочь. Запомните: самые грозные идеи приходят в мир веселой, танцующей походкой. Родной нашей грузинской лезгинкой часто приходят они в мир.)

Я заканчивал писать свои Записки здесь, за границей, и, к сожалению, кратко. Дрожит рука (Паркинсон). Дрожит жалкая рука, которая так ловко убивала.

Я не надеюсь, что эти Записки помогут вам понять „нашего Кобу“ — как звали товарища Сталина мы, его старые, верные друзья. Разве можно понять такого человека? Да и человек ли он?

Но смерть Кобы понять помогут. О ней написано много всякого вздора. Коба ненавидел Троцкого, но ценил его мысли. Были у Троцкого слова, рядом с которыми Коба поставил три восклицательных знака: „Мы уйдем, но на прощанье так хлопнем

дверью, что мир содрогнется.“ Эти слова имеют прямое отношение к жизни Кобы, но еще больше — к его смерти.

В своем интервью вы сообщили, что хотите поговорить с охранниками Кобы, которые были с ним на даче *в ту ночь.* В ту судьбоносную ночь, когда *все случилось!* Пустое занятие! Они ничего не знают. Из ныне живущих *знаю только я,* его безутешный друг Фудзи, не перестающий думать о нем.

И Коба по-прежнему рядом с Фудзи. Такие, как Коба, не уходят. Он лишь на время схоронился в тени Истории. И поверьте — Хозяин, как справедливо звала страна „нашего Кобу“, вернется в свою Империю. Впрочем, все это предсказал он сам, мой незабвенный друг Коба.

Мой заклятый враг Коба.

Он часто приходит ко мне по ночам, как только я засыпаю. И я чувствую его запах — старческий запах пота от поношенного кителя генералиссимуса».

Подписи не было.

Далее шла рукопись.

Привожу ее безо всякого изменения с эпиграфами, которые были на отдельной странице.

Иосиф сталин
Воспоминания о моем друге Кобе

«С 1917 года история России стала Историей большевистской партии. Всего через десять лет История России стала биографией Сталина».

«После его смерти ходило много слухов о его двойниках. Никаких двойников у него не было. Но причина слухов была».

Черная фотография[1]

У нас была общая фотография. На ней — Коба, я и наши друзья: Алеша Сванидзе, Авель Енукидзе, Камо Тер-Петросян, Нестор Лакоба, братья Серго и Папулия Орджоникидзе… Мы стоим, положив руки на плечи друг другу. Стоим одной шеренгой — друзья-грузины перед удалой пляской.

Когда он начал нас уничтожать, он не убрал ее в стол. Он только аккуратно замазывал черной краской тех, кого отправлял в лагеря или (чаще) в могилу. В конце концов на фотографии остался он один. Он стоял, положив руки на невидимые плечи исчезнувших друзей.

Окруженный чернотой, за которой прятались мы.

Почему он оставил ее на столе? Это знаю только я. Потому что лишь я знал настоящего Кобу. Барса Революции. Убийцу Революции. Знал лучше, чем знал себя он сам. Потому я и живой — единственный из его друзей.

Но вас интересует конец Кобы. Страшный и жалкий, как почти все тайны.

Я устал охранять его смерть. Я ведь не просто стар. Я неправдоподобно стар, но все еще живу. Иногда мне кажется, что это он, Коба, держит меня здесь, чтобы я рассказал… Иначе не отпустит. Он и *оттуда* распоряжается мною.

Мой отъезд

Улетел я из СССР 4 марта 1953 года. В тот день в шесть утра вся страна услышала голос диктора Левитана, так соединявшийся в нашем сознании с величественным обликом Кобы. Торжественный, великолепный голос впервые сообщил о его болезни. Страна завалила письмами газеты. Люди предлагали свою кровь, свою жизнь, лишь бы спасти его. Заседала Академия медицинских наук — разрабатывала тактику его лечения.

Мне ни к чему было все это слушать. За три дня до того, в ночь на 1 марта, я уже узнал, что жизнь Кобы закончилась… И что там, на Ближней даче, лежит умирающее, беспомощное тело…

А я остался жить. Живой осел, покорное вьючное животное, которое лучше мертвого льва. Это повторено миллион миллионов раз, чтобы утешить нас, жалких ослов. Но все-таки я побывал на вершинах, куда вход доступен лишь небожителям. Благодаря Кобе. Моему заклятому врагу Кобе. Моему нежному другу Кобе.

Итак, 4 марта днем я сел в самолет, летевший в Рим. *Мне нельзя было медлить.* Я ехал на аэродром, когда на солнечной мартовской улице из всех репродукторов все тот же голос Левитана с торжественной скорбью читал очередной бюллетень о состоянии здоровья Кобы — о температуре, пульсе, давлении, количестве лейкоцитов в его крови. Будто у него была такая же кровь, как у всех.

Он умер на следующий день в девять часов пятьдесят минут.

В это время я уже находился в Риме, на старой явочной квартире. Квартира была на последнем этаже. Говорят, этот дом в XVII веке построила куртизанка Фьяметта. Раньше я не замечал, что здесь нет лифта. Теперь же с трудом поднялся по мраморной лестнице. Но я был жив, а Коба — мертв. Я сидел у окна, смотрел на площадь Навона, на знаменитый фонтан… Был март, но уже становилось жарко, и я задернул шторы. Я плакал. Ведь умер мой друг. «Легче перенести смерть брата, чем смерть друга» — такая у нас, у грузин, есть пословица.

Я и потом плакал, когда вспоминал его последний день — 28 февраля…Точнее, последний день, когда он был всемогущим Кобой, страшным Кобой, барсом Революции.

Но в СССР я уже не вернулся.

И тогда же, в Риме, по свежим следам я описал *тот день, 28 февраля 1953года…*

И день последующий.

«Тот день» — 28 февраля. Утро

Утром двадцать восьмого, в последний день февраля, я должен был приехать к нему на Ближнюю дачу.

Страна тогда верила, что Коба живет и работает в Кремле. Всю ночь до рассвета над кремлевской стеной светилось окно. Учителя вечерами приводили школьников на Красную площадь показывать негасимое окно, чтобы знали: их отцы после работы отдыхают, но отец страны неутомимо трудится в заботах о нас всех. На самом деле по примеру Романовых, живших в Царском Селе, Коба жил за городом — на даче, всего в тридцати километрах от Кремля (за это ее и называли Ближней).

Пылкий армянин архитектор Мирон Мержанов построил для Кобы эту прелестную дачку со множеством веранд. Ближняя много раз перестраивалась под диктовку Кобы. Но сам архитектор за перестройками наблюдать не мог. Опасно вплотную приближаться к моему другу Кобе. Смерти подобно. Я заплатил пятью годами лагерей. Следует добавить — «всего». Бедный архитектор — многими годами заключения. Следует и здесь добавить — «всего». Потому что полагалось платить жизнью. Другую плату от близких людей Коба принимал редко.

На этой веселенькой, зелененькой Ближней даче и поселился Коба после смерти жены. С 1932 года в Кремле оставался только его кабинет, где он работал до вечера. В своей кремлевской квартире он теперь редко ночевал, жизнь его отныне протекала на даче.

Каждый вечер несколько одинаковых черных ЗИСов выезжали из Спасских ворот Кремля и на бешеной скорости, меняясь друг с другом местами, неслись к Ближней. Весь маршрут объявлялся на военном положении. Дорогу охраняли автомобильные патрули и три с лишним тысячи сотрудников Госбезопасности. Шоссе шло мимо рощи. В самой роще, между деревьями, на подъезде к даче и вдоль бесконечного ее забора, стояли все те же сотрудники КГБ («чекисты», как по старинке называл их Коба).

Дом окружал большой кусок светлого подмосковного леса с березками, осинками, высокими соснами и елями. Через весь этот лесок были проложены асфальтовые дорожки, поставлено множество фонарей. Здесь, у фонарей, «чекисты» и прятались.

На участке был вырыт неглубокий пруд с купальней, хотя Коба никогда не купался в нем. И вокруг пруда, среди деревьев, тоже хоронились бдительные «чекисты». Если охранник неумело прятался и Коба на него натыкался, он бил того сапогом.

Внутри дачи дежурили всего несколько самых проверенных

«чекистов». Официально они именовались «сотрудники для поручений при И. В. Сталине». В разговорах между собой они называли дачу «Объектом», а себя — «прикрепленными к Объекту». Жили «прикрепленные» в особой пристройке. Там ночевал часто и я, когда оставался на Ближней. Эта пристройка соединялась с дачей дверью. Я назвал бы ее *Священной Дверью.* Открывать ее «прикрепленные» имели право *только по звонку* Кобы. Дверь эта вела в его апартаменты — в двадцатипятиметровый коридор, обшитый деревянными панелями. По обеим сторонам коридора располагались комнаты Кобы. Довольно скромное жилище для повелителя трети земного шара. (Мы, дети Революции, презирали жалкую буржуазную роскошь.)

Я все это подробно рассказываю, иначе не понять, что же случилось в *тот день*28 февраля и в *ту ночь*— с 28 февраля на 1 марта.

Ночь, оставшуюся навсегда со мной.

Накануне я лег спать рано — ведь наступал главный день моей жизни. Но уже *в пятом часу утра* меня разбудил звонок Кобы (это его обычный звонок, в пятом часу утра он, как правило, ложился спать после ухода «гостей»).

Коба сказал, что стало плохо работать «устройство» и чтоб я приехал проверить его к десяти утра.

Прослушивающее устройство было установлено во всех комнатах Ближней дачи, в Кремле и в квартирах членов Политбюро. Это небывалое по тем временам чудо техники создали летом 1952 года (об этом я еще расскажу подробнее).

С 1952 года Коба, не выходя с дачи, мог прослушивать все ее помещения, Кремль и квартиры членов Политбюро.

В последний февральский день было холодно и очень солнечно.

Снег еще не стаял — лежал в саду. *Я приехал на дачу к десяти* и сидел на кухне вместе с «прикрепленными». Мы все ждали звонка — вызова от Кобы. Наружная охрана сообщала: в комнатах «нет движения». На языке охраны это означало, что Коба спит. Причем «наружка» (охранники перед дачей) не знала, где именно он спит, в какой комнате постелила ему на ночь постель Валечка. Это тоже являлось государственной тайной.

Лишь «прикрепленные» (охрана внутри) имели право знать, где проводил ночь мой таинственный друг.

И сейчас «наружка» неотрывно глядела на окна.

Просыпаясь, он обычно сам отодвигал в комнате шторы. Только тогда «наружка» понимала, в какой комнате он спал, и немедленно сообщала о его пробуждении «прикрепленным».

Но я-то не сомневался, что Коба давно проснулся. И притворяется спящим — не отодвигает шторы, а внимательно слушает «устройство».

И также я знал: притворяется он в последний раз.

Итак, я сидел на кухне, облицованной белым кафелем, похожей на больницу, и пил чай с «прикрепленными». Здесь же был вызванный Кобой начальник охраны Берии Саркисов. Он любезничал с поварихой, рассказывал неприличные анекдоты.

— Ну какой вы! — говорила повариха, кокетливо хихикая.

— Ну какой я? — раздевал ее глазами Саркисов.

— Знойный мужчина! — играла глазками повариха…

Наконец-то! *Около одиннадцати* «наружка» позвонила: «В Малой столовой есть движение!» Это означало: Коба раздвинул шторы в комнате, именовавшейся Малой столовой.

Из всех комнат дачи он обычно выбирал одну и начинал в ней жить — есть, работать и спать. И уже не выходил из этой комнаты. Сюда переключались все телефонные звонки. Комнатка становилась столицей великой Империи, треть человечества управлялась из нее.

В тот последний его день таким местом оказалась Малая столовая.

Так она называлась в отличие от Большой столовой — огромной залы, где происходили его встречи с соратниками из Политбюро. Встречи, превращенные в ночные застолья.

«Гости» (так он именовал членов Политбюро) съезжались к полуночи. И начиналось веселье — ели, пили… Сам он пил мало, но щедро предлагал пить «гостям», и они не смели отказываться. Отказ означал: боится — вино развяжет язык. Значит…

Застолье сопровождалось обязательным весельем подвыпивших «гостей» — рассказывали анекдоты (матерные) и много шутили. Самая популярная и старая шутка — подложить помидор под зад, когда жертва встает произнести тост. Коба милостиво смеялся, а «гость», раздавивший задницей помидор, был счастлив: шутит, смеется — значит, не гневается! Застолье заканчивалось обычно в пятом часу утра, и он разрешал обессиленным шутам отправляться спать.

Но в последний год жизни Кобы многолюдные собрания на даче закончились. Исчезли частые прежде гости Большой столовой — члены Политбюро Вознесенский и Кузнецов, они теперь лежали в могиле номер один в Донском монастыре, в «могиле невостребованных прахов», куда сбрасывали сожженные тела расстрелянных кремлевских «бояр». Уже не звал Коба на дачу старую гвардию — Микояна, Молотова и Кагановича…

Теперь он приглашал сюда лишь четверых: Берию, Хрущева,

Маленкова и Булганина. Они — его постоянные гости.

Но я знал: скоро перестанет звать и их. Знали об этом, конечно, и они…

Обычно после отъезда шутов из Политбюро Коба не сразу ложился спать. Работал или разговаривал с полуграмотными «прикрепленными». Рассказывал удалые случаи времен своих ссылок, по-старчески привирая. Если на даче был я, после ухода гостей запрягали лошадь. И мы с ним в коляске ездили кругами по саду Ближней дачи. Или немного работали в нем. Он любил хорошо ухоженный сад, как все мы, грузинские старики. Но сажать цветы не любил, Коба вообще ненавидел физический труд. Единственное, что ему нравилось, — срезать секатором головки цветов.

— Старик… Жалко его, — сказал мне как-то один из охранников.

Если бы они знали, что задумал тогда «старик»…

Правда, никакого старика и не было. Был друг мой Коба, старый барс Революции, приготовившийся к невиданному прыжку.

Мир жил в ожидании Апокалипсиса. Но об этом — позже.

На кухне наконец-то раздался звонок из его комнат — сигнал нести ему чай. Обычно чай по утрам приносил комендант дачи Орлов. Но Орлов (он накануне вернулся из отпуска) сообщил, что простудился. Коба, панически боявшийся заразы, запретил ему появляться. Чай понес помощник коменданта, невысокий, плечистый Лозгачев (маленький ростом Коба любил невысоких людей).

Помню, перед тем как идти, Лозгачев перекрестился. Это делали все «прикрепленные», прежде чем отправиться в самое страшное путешествие — к *нему*.

Я слышал, как, уходя, Лозгачев приказал поварихе: «Яичницу для Хозяина».

Он открыл Священную Дверь в *его* коридор и пошел, старательно громыхая сапогами. Коба не терпел, когда входили тихо. Как он говорил — «крадучись». Его удивительный слух начал сдавать, и «прикрепленным» приходилось топать с особенной силой.

Минут через десять Лозгачев вернулся и передал мне приказ Кобы «идти к нему». А главе охраны Берии Саркисову — «приготовиться к вызову».

Я вошел в Малую столовую, но она оказалась пустой.

Это была самая уютная комната его дачи. В углу потрескивали дрова в камине. На «турецком диване» валялась ночная рубашка. В центре стоял обеденный стол, как обычно

заваленный бумагами. На этом столе, отодвинув их, он ел. И сейчас здесь находились самовар, остатки завтрака…

Я прошел мимо круглого столика с телефонами власти (прямой — с Госбезопасностью, другой — с двузначными номерами членов Политбюро и знаменитая «вертушка» — телефон правительственной связи) и вышел на веранду, соединявшуюся с Малой столовой…

Как я и предполагал, Коба давно проснулся. И сейчас, позавтракав, перешел из Малой столовой на веранду, освещенную холодным зимним солнцем. Он лежал на диванчике в кителе генералиссимуса и пижамных брюках. В последние годы ему нравилось носить военную форму. Мундир сглаживает старость. Украшает ее без того, чтобы сделать человека смешным, как это бывает с разряженными стариками. Он лежал, прикрыв лицо фуражкой, чтоб солнечный свет не бил в глаза. (Впрочем, какое в Москве солнце! Настоящее солнце — на нашей маленькой родине.)

На столике стояли бутылка нарзана и стакан с недопитой водой.

Коба лежал и слушал. Громко работало «устройство». Была включена «прослушка» квартиры Берии — столовой. Там, видно, тоже завтракали. Женский голос спросил по-грузински о каких-то покупках. Берия ответил по-русски, что все купили. Потом — тишина, только громкое чавканье. Берия всегда шумно ел…

Увидев меня, Коба приподнялся на диванчике, сунул ноги в залатанные валенки (у него последнее время сильно опухали ноги).

— Сколько ни слушаю — ни хера! Знает говнюк мингрел… наверняка, знает… Включи Хруща. У меня что-то плохо получается.

Я включил квартиру Хрущева. Тот, хохоча, рассказывал непристойный анекдот.

— И этот шут наверняка знает! — сказал Коба и велел переключиться на квартиру Молотова.

Там молчали. Слышались шаги и кашель. Наконец раздался голос Молотова:

— Холодно на улице?

Ответил старушечий женский голос (очевидно, прислуга, жена Молотова Полина Жемчужина сидела в это время в тюрьме):

— Март на дворе. В марте, Вячеслав Михайлович, всегда зябко.

— Как говорится, «марток — надевай двое порток», — согласился Молотов, и опять молчание.

— И этот знает, мерзавец, — усмехнулся Коба.

Нет, они тогда и не догадывались об этом *новом,* неправдоподобном по тому времени «устройстве», способном слушать *на расстоянии.* Но они отлично знали, что их прослушивают. До изобретения «устройства» их прослушивали аппаратурой, установленной в доме, где они жили. Через квартиру Маленкова (на четвертом этаже) прослушивался Хрущев (на пятом), Буденный прослушивался на третьем и так далее.

Эту старую «прослушку» ставил Берия и подчиненное ему Управление по специальной технике Министерства госбезопасности.

Летом 1952 года появилось новое «устройство», но ни Берия, ни Министерство Госбезопасности не были в курсе.

И Берия оплошал в первый же день работы «устройства». Страшновато оплошал. Но об этом позже…

— Работает, прямо скажу, хуево, — сказал Коба. — Вчера квартира Молотова пропала.

— Это нормально, — сказал я, — вчера был сильный ветер, оттого и помехи.

— А почему иногда оно само выключается? Слушаешь — и вдруг тишина!

— Да нет, Коба, ты опять не туда нажимаешь.

Все это время (с тех пор, как смонтировали «устройство») Коба периодически нажимал не на те кнопки и при этом очень злился. Он был туп в технике.

— Все равно — говно, — резюмировал Коба благодушно. Он пребывал в настроении, что с ним теперь случалось редко, только когда он был здоров.

Он выключил «устройство» и сказал:

— Вечером приезжай в Кремль. Кино будем смотреть. А ты переводить.

Оказалось, Павлов (его обычный переводчик) заболел. Лег в больницу и новый начальник его охраны полковник Новик. Я понял — *наши* старались. Все шло по плану.

— И «Записьки» свои привези, — добавил Коба. — Сейчас давай пить чай. — Он позвонил на кухню.

Так что с дачи мне сразу уехать не удалось. А как хотелось! И побыстрее! Я знал его интуицию. Дьявол всегда шептал ему вовремя.

Лозгачев принес еще чаю и любимое Кобой айвовое варенье. Коба преспокойно начал пить чай, не догадываясь, что это его последнее утреннее чаепитие. Пил и я.

Но в этот раз Дьявол молчал. Прозорливый Коба ничего не почувствовал. Впрочем, это бывало не с ним одним. Я слышал, что Распутин, часто предсказывавший чужую смерть, в ночь своей

гибели был весел, без сомнений сел в автомобиль вместе со своим убийцей и поехал погибать. Сбои бывают и у Дьявола. Точнее, наступает миг, когда он не властен.

Выпив чаю, он приказал мне снова включить «устройство». Теперь он захотел прослушать свою дачу. В пристройке, где жили «прикрепленные», шло препирательство.

— Нет, унесите их, — звучал голос Валечки. — Иосиф Виссарионович хочет ходить в старых!

Видно, охранник принес новенькие валенки.

Голос кастелянши Бутусовой:

— Но его, Валюша, совсем развалились.

— Ноги у него больные, потому и хочет в старых, — объяснила Валечка.

Коба помрачнел, постучал ложкой о блюдце. Знал я, он сейчас думает: «Вот этого сообщать не следовало». Ничего о нем сообщать не следовало.

Валечка Истомина — старшая сестра-хозяйка, и не только. Она чистенькая, беленькая, хорошенькая. И всегда веселая, всегда в хорошем настроении. Ее привезли ему после смерти жены. Тогда ей было восемнадцать, теперь она приближалась к сорока. Старилась рядом с ним. Он редко говорил с ней. Она стелила постель. Ложилась в нее, когда он велел. И, должно быть, каменея от ужаса и почтения, отвечала на молчаливые ласки его короткого волосатого тела. И тотчас уходила *после*… Она часто плакала без причины, должно быть, от бабьей жалости к нему, одинокому старику. Тогда он молча вытирал ей слезы и строгим голосом гнал прочь.

Помню, в 1946 году, после того как он вернул меня из лагеря, Коба вновь позвал меня на Ближнюю дачу. Она пришла в Малую столовую, где мы с ним сидели, стелить ему постель. Он вдруг спросил ее:

— Люди рады победе?

— Рады! Ох, как же они рады! Все вас благодарят, Иосиф Виссарионович. Они ведь за вас умирали.

И он поцеловал ее. Впервые при мне. А может, вообще — впервые.

А она заплакала и смешно закивала.

— Иди, иди, — брезгливо сказал он.

Она торопливо ушла.

— Плачет, а почему — не поймешь, — сказал он хмуро.

Но возвращаюсь в последнее утро Кобы.

Когда он допил чай, *было одиннадцать тридцать.* На столе рядом с чайником я увидел книжку, которую он читал: Анатоль Франс «Последние страницы». Такое название меня порадовало.

Он часто читал эту книгу теперь. Там был диалог, кажется, назывался «О Боге и Старости», весь исчерканный его пометами. Франс издевался над Богом. Коба радостно написал на полях: «Хи-хи!»

Он заметил мой взгляд.

— По-прежнему веришь? Знаю — веришь! Но если Он Всемогущий и Премудрый — зачем такая бессмыслица? В начале ты слишком молод, потом слишком стар, а между первым и вторым — ерунда, мгновенный промельк. Пора уходить, а ты не жил! «Кипит наша алая глупая кровь огнем неистраченных сил…» И сколько бы ни сделал, все пожрет смерть… Вчера нашел письмо Бухарчика. Он там цитирует… — Коба прочел по бумажке, видно, выписал: — «Жизнь — это… комедиант, паясничавший полчаса на сцене и тут же позабытый; это повесть, которую пересказал дурак: в ней много слов и страсти, нет лишь смысла…» — Он повторил: — «Нет лишь смысла»… Не знал смысла и Бухарчик. Нет, если бы Бог был и был бы другой, *истинный* мир, зачеркивающий нашу жизнь в этом мире, было бы ужасно! Но если *там* ничего нет, это *еще ужаснее*… — И, опомнившись, он, как всегда, разозлился на свою откровенность: — Ладно, пошел на хуй!

(Забавно, в последнее время в разговорах со мной он часто вспоминал Бухарчика — так нежно называл Бухарина Ленин. И Коба теперь нередко говорил о нем — расстрелянном и опозоренном им Бухарине.)

Меня привезли домой в час дня. Когда я вошел в квартиру, жена побледнела:

— Что-то случилось?

— Нет, — ответил я. — *Еще* ничего не случилось.

Больше я ничего не сказал. И она, как положено хорошей грузинской жене, больше не спрашивала.

Поспал, в шесть проснулся. Надел чистое белье… Если что, к Господу следует являться в чистом, как учили нас с Кобой в семинарии.

Поел. В *восемь тридцать вечера* за мной пришла машина.

28 Февраля. Последний вечер Кобы в Кремле

В девять вечера меня привезли в Кремль в просмотровый зал. Коба приехал с Ближней дачи чуть позже, сел рядом со мной. Берия — с другой стороны от него. Это был старый американский ковбойский фильм, захваченный в бункере Гитлера. Он шел на немецком, я добросовестно переводил.

Фильм закончился около одиннадцати. Коба обругал его, он был раздражен, видно, что-то заболело. Когда болело, он становился яростным, ненавидел всех.

После окончания картины вдруг развеселился (наверное, боль прошла). Посмотрел на меня, засмеялся:

— Ну и рожа… Старая, сморщенная. — Потом спросил: — А где же твои «Записки»? — (Я еще вернусь к моим «Запискам», которые не давали ему покоя.)

Я всплеснул руками:

— Забыл!

И Коба сказал *то, чего мы все так ждали:*

— «Записки» привезешь сегодня же на дачу, положишь в фельдъегерской рядом с почтой. И катись домой. Видеть тебя долго противно. Все думаю: неужели мы с тобой похожи?

Свершилось! Все происходило, как мы задумали! Я должен был радоваться. Но втайне я надеялся, что он НЕ прикажет мне приезжать на дачу… и тогда *дело* отложится.

Прощание

В четверть двенадцатого он вышел из подъезда, окруженный охраной. Я — следом. Вдруг он остановился, долго смотрел на колокольню Ивана Великого. Заметил коменданту:

— Днем была туча воронья. Чтоб завтра — ни одной вороны. И тебя — вместе с ними. Пиши заявление. Не следишь за порядком.

Обычно он уезжал, не прощаясь со мной. Он уже давно держал меня вроде как за слугу. Но тут вдруг сказал:

— Прощай, Фудзи, — и сделал свой обычный приветственный жест рукой — то ли помахал, то ли отдал честь. Именно так он держал руку во время демонстраций.

Боже, как мне хотелось поцеловать его. Ведь обычно он целовал *перед*… В этот миг я понял, что даже поцелуй Иуды был всего лишь прощальным поцелуем Любви! Он, видно, почувствовал мою муку. И желтый огонь промелькнул в глазах. Он подозрительно посмотрел на меня. Но в моих глазах читалась только преданность верного слуги Вождю Кобе.

Далее все шло, как обычно: никто не знал, в какую из машин он сядет. Подойдя к выбранному автомобилю, он, как всегда яростно, отогнал от себя охранников. Это была одна из давних его игр: его охраняют вопреки его воле, а он, скромный человек, не хочет этого.

Он сел в машину.

И я тихо произнес:

— Прощай, Коба!

Черные машины выехали из Кремля. И, меняя друг друга, на бешеной скорости понеслись на Ближнюю дачу.

Как обычно, за ним отправились и постоянные ночные «гости» — Хрущев, Маленков, Берия и Булганин.

Я смотрел вслед уехавшим и боялся заплакать. Я старался вспомнить два своих ареста, лагерь, выбитые зубы, страдания моей несчастной семьи… Я хотел ненавидеть его, но не мог.

28 Февраля. Возвращение на Ближнюю дачу

Около *половины двенадцатого* меня привезли домой. Я взял приготовленную рукопись «Записок» и поехал к Кобе на дачу.

Приехал туда *во втором часу ночи*, уже первого марта.

В вестибюле, оклеенном картами с пометками Кобы, на двух стоячих вешалках висела одежда. На одной — его маршальская шинель, подбитая, вопреки уставу, мехом, его штатская бекеша на лисьем меху, ушанка и армейская фуражка. На другой вешалке — шубы и ушанки «гостей».

Из Большой столовой неслись громкие голоса…

Я прошел в так называемую фельдъегерскую. Архитектор хотел сделать здесь библиотеку, но Коба оставил ее этакой «резервной» комнатой. Здесь стояли письменный стол и *огромный шкаф-гардероб,* где висели костюмы и мундиры Кобы, его любимые армейские фуражки. Сюда фельдъегери приносили почту из ЦК и оставляли ее на столе.

Я оглянулся и через вестибюль увидел открытую дверь в Малую столовую, а через нее — стол и на столе бутылку нарзана, приготовленную Валечкой на ночь. Я понял: сегодня он тоже будет ночевать в Малой столовой.

Но мне нужно было *начинать*.

Все, что произошло на Ближней даче той ночью, пропускаю.

После «той» ночи. Сны

На следующий день — *первого марта* — я крепко спал.

В десять утра меня разбудила жена — звонил Берия. Он сказал: «Поезжай к нему на дачу. Охрану я предупредил. Коба велел тебе приехать *в два часа дня».* И засмеялся. Торжествуя, засмеялся, мерзавец.

Но я чувствовал: он волновался.

Я очень устал после *той ночи* и решил еще немного поспать.

Когда-то моя самая странная знакомая, безумная поэтесса, сказала: «Только засыпая, мы можем по-настоящему вернуться в прошлое. Это самая удобная тропа в темную обитель, где прячутся дорогие тени…»

И в лагере я учился ходить по этой тайной тропе. В вонючей летней духоте лагерного барака и в ледяном зимнем холоде сны о прошлом спасали меня. Сколько раз, безнадежно пытаясь согреться, я вспоминал раскаленный от солнца наш маленький городок.

И сейчас, засыпая, я увидел Кобу. Увидел его со спины… поникшей спины в маршальском мундире с подложенными ватой плечами. Увидел его сильно поредевшие совсем седые волосы…

Коба подошел к столу. Выдвинул ящик. И достал ту самую нашу с ним фотографию, на которой теперь оставался он один, а мы, замазанные, будто прятались в черных мешках. Я вспомнил: в мешках вешали в царское время. В детстве мы с Кобой видели такую казнь.

Он ткнул пальцем в один из мешков и тихонечко засмеялся:

— В этом мешке — ты.

Да, там *должен был* быть я!

Потом мне начало казаться, что я — это он. Что это я лежу на полу, и надо мной, Кобой, кто-то наклонился. Я чувствовал боль, но не было сил открыть глаза. Я хотел крикнуть, но язык не слушался. Я видел ножку стола и чьи-то сапоги у щеки. «Прикрепленный» Лозгачев наклонился надо мной… и пропал. И я ясно услышал голос Кобы:

— Не мучайся, лежи тихонечко, Фудзи. Это детство… Мать моет тебя, больно прикрывая твои глаза, чтобы мыльная пена не попала. Но она попадает, жжет — слышишь свой крик?

И я проснулся в поту. Я лежал в темноте комнаты… И опять заснул.

Теперь мы были вдвоем с ним в том детском раю. Мы бежали по самой длинной улице нашего городка. Когда-то этот маленький городишко посетил кто-то из Романовых. Улицу

назвали Царской и потом конечно же переименовали (как тысячи тысяч главных улиц нашей бескрайней страны) в улицу имени товарища Сталина…

Шумно просыпается наш городок. В шесть утра во дворах появляются пастухи, кричат — забирают коров. На балкончики, хранящие утреннюю свежесть, выходят заспанные люди. Отпираются двери храмов, на утреннюю службу спешат женщины в черных одеждах. Вон они идут — моя мать и Кэкэ, мать Кобы. Из-под черного платка видны светленькие, рыжеватые волосы Кэкэ; иссиня-черные волосы моей матери сливаются с ее платком.

Люди торопятся жить, пока не наступила жара. Но это добрая жара, по которой так тоскуют наши с Кобой опухшие, старческие ноги.

…Маленький Коба. Тогда его звали Сосело, по-грузински — «маленький Сосо»… Я и Сосело бежим на Куру — смотреть, как проносятся по бурной реке плоты. Мы стоим, провожая глазами удалых, хохочущих плотогонов. И Коба все просит, все кричит: «Плотогон, плотогон! Перевези нас на другой берег!» Но они только хохочут и несутся мимо.

Знакомый водовоз подъехал на лошаденке и, тоже смеясь, набирает воду в кожаные мешки. Как все веселы в нашем раю!

— Дай нам попить твоей живой водицы, водовоз, — просит Коба.

Но водовоз не оборачивается. И мы глядим, как жалкая тощая лошадка увозит живую водицу…

И я опять вижу: старый Коба лежит на полу в своей комнате.

…Мы оба учимся в церковном училище. В лучах заходящего майского солнца двухэтажное здание — ослепительно-белое. Городская жара на улице и прохлада церкви. На втором этаже училища — наша церковь. В ней я впервые его увидел.

Та вечерняя служба. Мы оба — крошечные, облаченные в стихари, стоим на коленях, распеваем молитву. Я слышу наши высокие детские голоса. Открыты золотые Царские врата, священник воздел руки к небу. Боже, как уносится ввысь душа! Какой восторг! Какая радость!

— Ты слышишь? — шепчу я старому Кобе, лежащему на полу.

И мы с маленьким Сосо поем над старым Кобой «Покаянную молитву».

Его мать. Солнце падает на волосы, и они вспыхивают — рыжие, золотые. Но лица ее я не вижу. Только руку. Она держит ручку маленького Сосо.

Мама ведет Сосо в церковное училище. И я бегу за ними.

Мы идем по нижней части нашего городка. Здесь живут богачи — армянские, азербайджанские и еврейские купцы…

Особняки прячутся в тени за высокими деревьями. Здесь живет и моя семья. Пока его мать будет мыть наши полы, мы с Сосо можем поиграть. Но я не хочу играть. Я смотрю, как Кэкэ моет пол. Наше пламенное солнце падает из окна. Золотые волосы вспыхивают и гаснут. Подоткнув юбку, она сгибается над корытом. Вижу ее загорелые ноги. Как они греховно волнуют меня!

И шепот маленького Сосо:

— Не смей смотреть, убью!

И Сосо бежит к матери, но она, не оборачиваясь, уходит, уплывает от него… летит, согнувшись над полом.

Мы пробираемся сквозь толпу на базаре. Здесь собрался весь наш маленький город.

Я кричу:

— Они все пришли! Все, кто давно умер. Они пришли встретить тебя, Коба!

И старый Коба, лежащий на полу, улыбается.

За нами, хохоча, припустил рыночный дурачок, юродивый. Он вопит:

— Сторонитесь, великий царь бежит! Берегитесь! Спасайтесь от этого царя!..

Сколько раз потом я вспоминал этот крик…

А мы все бежим по рынку… На улице портной снимает мерку. Посыпал золу на землю, заказчик улегся на нее. Портной сидит верхом на заказчике, прижимает его к золе. Теперь в золе — размеры заказчика…

А вот мой обедневший родственник — цирюльник. Выдергивает зуб большими щипцами. Вопит пациент. Вокруг толпа рыночных зевак. Цирюльник победоносно поднимает зуб в щипцах — показывает толпе.

— Наверное, так на гильотине палач показывал отрубленную голову, — хохочет маленький Сосо… и замолкает. Смех застрял в глотке. Навстречу — *он.*

Он загораживает нам дорогу — черный, низкорослый, худой. Лицо заросло бородой и усами, лоб съеден волосами, бешеные, желтые глаза.

Это отец Сосо — сапожник. Он продал на базаре свои сапоги и уже пьян.

— Дьяволенок! — кричит он сыну. — Выблядок!

Сосо очень похож на него, но отец выдумал, будто Сосо не его сын. Чтобы иметь право не давать в семью деньги. Деньги нужны ему самому — пить.

Он пьян всегда. Но вместо нашего, обычного, пьяного грузинского застольного славословия он грязно ругается и лезет в

драку. (Да и откуда быть славословию, ведь он не грузин. Он осетин, переделавший свою фамилию Джугаев на грузинский манер — Джугашвили.)

Постоянный гнев сжигает этого человека, он кричит яростно маленькому Сосо:

— Убирайся домой, дьяволенок!

Я вижу крохотный домик Сосо. И на глазах жалкая лачуга одевается в мрамор. Гигантский мраморный павильон нависает над лачужкой.

— Это ты ведь придумал… — говорю я Сосо. — Чтобы место твоего рождения было украшено, как место рождения Христа.

Мы оба хохочем, и мрамор рассыпается от нашего смеха.

И, словно в детской сказке, вновь перед нами тот убогий домик. У входа сидит на камне — тачает сапоги — мрачный отец Сосо. Он непривычно трезв с утра и оттого ненавидит весь мир.

— Все как тогда, правда? — говорю я Кобе, лежащему на полу.

Но старый Коба молчит…

Мы входим в домик, я и маленький Сосо. В ту единственную комнатку, где они ютятся втроем — отец, мать и сын. Мы спускаемся в место наших детских игр, в прокопченный темный подвал. Скудный свет через окошечко подвала падает на деревянную колыбель, висящую в темном углу.

И наконец-то слышу голос его матери, мягкий, нежный — она хорошо пела.

— В этой печальной колыбели заливались криком двое его старших братиков. Обоих взял к себе в ангелы наш Господь. Только Сосо у нас выжил. В благодарность за дарованную жизнь он будет служить Богу.

— Я буду епископом, — шепчет Сосо.

— Нет, ты будешь простым священником, — шепчет мать. — Они ближе к Богу. Я стану приходить в твою церковь молиться.

И яростный гортанный хохот.

— Ха-ха, — покатывается его отец. — Хорош священник с дьявольским копытом! Он купаться у тебя не ходит. Покажи копыто! — Я вижу, как отец хватает ногу Сосо.

— Не надо! — кричит тот.

Но отец выворачивает его ножку, сдирает жалкий детский ботиночек. И показывает всему миру крохотную ступню Сосо со странно сросшимися двумя пальцами.

— Родила дьяволенка! — кричит отец. — Недаром Бог не хотел твоих выблядков. Двоих забрал! — он гогочет. — А она, упрямая, все-таки родила!

— Что ж ты срамишь нас! Ой, как стыдно, — шепчет мать.

— Мне священник говорил: «Родила сатану». — Дикие пьяные глаза отца. — Убить его надо! К его отцу, к сатане, отправить! — Он вытаскивает нож.

Мать хватает Сосо на руки. Золотые волосы развеваются на бегу. Она бежит с ним на руках. И я, маленький Фудзи, реву от страха, но бегу за ними.

Отец догоняет. Сейчас он вырвет его у нее. Вырвал. Сосо в его крепких, цепких руках извивается ужом. Отец, подняв его, с безумным смехом швыряет на землю.

Мать на коленях плачет над Сосо, обцеловывает его. Плачу и я.

Только Сосо не плачет. Молчит.

Я проснулся. В это утро, когда он умирал на даче, я жил в нашем детстве. И, лежа в темноте, продолжал вспоминать.

Я вспоминал тот особенный день. *«День ножа».* Нам тогда было уже по девять лет…

Отец пьяный подошел к дому. Мы с Сосо только что пришли из училища. Мать его Кэкэ собралась идти к нам, мыть у нас полы, а мы, как всегда, с ней.

Мы вышли во двор. Его отец стоял во дворе, был он совсем темен, видно, недопил.

— Ну что, еще одного выблядка пошла делать? Может, сначала мне этого придушить? — привычно замахнулся на сына.

Кэкэ молча ударила его. Сапожник оторопел. Потом опустил руку, чтоб выхватить сапожный нож из-за голенища. Но она опередила — ловко достала его нож, швырнула в траву. Они молча начали драться. От постоянной тяжелой работы она сильно окрепла. А он, наоборот, ослаб от непрерывного пьянства. Он никак не мог бросить ее на землю.

Она вцепилась в него, но, видно, уже из последних сил. И закричала нам:

— Бегите, бегите!

Но Сосо не побежал. Я и сейчас вижу, как он кинулся в траву. Нож в его руке сверкнул на солнце. И маленькая фигурка с ножом начала красться к дерущимся.

— Не надо… — шептал я. — Не надо! — уже кричал я.

Отец обернулся. Хмель прошел. Обернулась и мать.

Мгновение они оба, молча, смотрели на Сосо.

— Отдай, — сказала мать. — Сейчас же!

И Сосо отдал нож.

Евреи

Отец и сын — они мирно сидят у крылечка. Отец и сын, такие похожие друг на друга. Это бывало редко. Но если бывало, я знал, о чем они говорят… Отец учит Сосо ненавидеть богатых, ненавидеть моего богатого отца и особенно — богатых евреев.

Мать Сосо часто работает у еврейских купцов — обстирывает, убирает дом. С собой она часто приводит Сосо. Сердобольные евреи жалеют маленького Сосо. Тихонько суют ему деньги на сладости. Мать радуется их щедрости. Но Сосо… Он шепчет мне: «Ненавижу каждую их копейку, жиды проклятые. Отец говорит, что они за свои деньги у матери… подол задирают. Ничего, придет день, богатых перережем!»

Я в страхе машу на него руками, а он смеется злым смехом своего отца.

…Мы идем в горы всем училищем. Нас ведет учитель — горский еврей.

Горная речушка перекрыла путь. Мальчики по колено в воде перешли ее. Учитель в сюртуке, в новеньких туфлях стоит в нерешительности. Дома меня учили чтить старших. Я вошел в воду, подставил учителю спину. Я невысок, но очень силен. На спине я перенес его.

Потом услышал за собой тихий голос Сосо:

— Ишак ты, что ли? Я самому Господу спину не подставлю. А ты подставил еврею. Ты что, забыл: они Христа распяли!

…Моя бабушка читает нам Евангелие. Удивленный голос Сосо:

— Ну почему Иисус разрешил себя убить? Ведь он все мог! Мог испепелить врагов огнем, как небесный дракон. Мог? Мог! И почему он не позвал своих друзей — ангелов. Ведь их был у него целый легион?

— Он и вправду все это мог, но не захотел, — отвечает бабушка. — Ведь Он пришел в мир искупить наши грехи. Он принес себя в жертву. Это искупительная жертва во имя нашего спасения. И твоего спасения.

— Но потом, когда Он вознесся на небо, почему не отомстил своим заклятым врагам — евреям?

— Он никогда никому не мстил. Он любил всех людей и жалел всех нас. Он на кресте просил Господа: «Прости им, ибо они не ведают, что творят».

— Такого быть не может, — шептал мне потом маленький Сосо. — Они нам что-то недоговаривают. Но мы отомстим евреям за Иисуса. И Он узнает на небе и, поверь, хорошенько нас

отблагодарит. Ведь Он всесильный!..

Сосо быстро придумал месть евреям. Но он боялся материнских затрещин. От трудной работы руки у нее становились с каждым днем все сильнее, все тяжелее. Все чаще беспощадными затрещинами она смиряла Сосо. И даже пьяница отец теперь сторонился ее. Потому исполнить месть Сосо благоразумно поручил мне и двум нашим верным друзьям… Мы тогда были неразлучны, четверо маленьких мальчиков — Петя, Гриша, я и Сосо. Мы называли себя «тремя мушкетерами». Но всегда исполняли то, что приказывал четвертый — наш Д'Артаньян.

Сколько раз я вспоминал ту нашу детскую месть… По приказу Сосо я начал копить карманные деньги (я получал их от отца; остальные мушкетеры, как и Сосо, были из бедных семей). На мои скопленные деньги Сосо послал меня, Петю и Гришу покупать свинью. Свинью мы спрятали у Гриши в сарайчике, где у них лежали дрова.

Сосо придумал отомстить евреям во время их праздника Пейсах.

Евреи собрались в синагоге. У дверей синагоги — ни души, все внутри. Сосо стоял на пригорке — руководил. Подал знак, и Гриша с Петей погнали нашу свинью к синагоге. Негодная свинья упиралась. Но они хлыстом ее, хлыстом!.. Пошла!

Я стою у синагоги, готовлюсь раскрыть дверь и впустить свинью к евреям. Сосо — по-прежнему поодаль, наблюдает с пригорка. Но проклятая свинья остановилась посреди дороги, уперлась, норовит повернуть и бежать обратно на рынок. Пришлось мне помогать. Теперь тащим ее втроем…

В самый главный момент мести я действую один. В дверь, раскрытую передо мною «мушкетерами», загоняю свинью в еврейский храм. Как только она исчезает там, пропадает с пригорка и Сосо. Бегу прочь и я с «мушкетерами»…

Меня, Гришу и Петю разоблачили в тот же вечер. Впервые в жизни меня порол отец. Еще хуже пришлось остальным. У них отцы были попроще, их пороли больнее и дольше. Несколько дней мы не могли сидеть. Но Сосо не выдали.

Однако зверски выпороли и его. Дело в том, что мы очень похожи с ним. Мало того что мы одного роста, — у нас похожие лица. Нас всегда принимали за родных братьев. В довершение у нас у обоих рябые лица — мы оба переболели оспой в детстве, заразив друг друга. И если люди с рынка, продававшие нам свинью, указали на меня, то евреи в синагоге, видевшие меня в дверях, перепутали меня с Сосо.

Вечером православный священник объявил прихожанам в

церкви: «Среди нас оказались заблудшие овцы, которые свершили богохульство в одном из домов Бога». И назвал имена нас четверых. Мать Сосо, узнав о поступке сына, впервые позволила отцу расправиться с ним.

С детства я почему-то не мог противоречить Сосо. Безропотно подчинялись ему и двое других «мушкетеров»: маленький Гриша и огромный Петя, самый сильный мальчик в округе.

Мы участвовали вместе во всех драках с ребятами из нижнего города, где жили дети богачей. Обычно план разрабатывал Сосо. А мы исполняли.

— План готов, — объявлял важно Сосо. — Ты, Гриша и Петя набрасывайтесь на противника внезапно из засады. Лупите беспощадно. Пока не подоспею я. А я подоспею вовремя…

И вот враги безмятежно идут по улице. Мы ждем их в засаде. Свистит Сосо, и мы набрасываемся на противников… Деремся все упорнее. Мне уже разбили нос, течет кровь. Но в самый решающий момент появляется Сосо. Набрасывается сзади на спины врагов с ужасным, гортанным криком. И враг бежит!..

Я говорю старому Кобе, лежащему на полу:

— Ты сохранил привязанность к нашим друзьям. Спасибо тебе за то, что в голодные годы Отечественной войны исправно посылал деньги Пете и Грише. Мне, правда, ты ничего не посылал. Меня ты всю войну продержал в лагере…

И только тут я окончательно проснулся. Вскочил в какой-то испуганной спешке с кровати. Но оказалось, что всего одиннадцать утра. Я мог еще спать. Мне нужно было поспать после *той ночи,* ведь неизвестно, что предстоит сегодня.

Я заставил себя лечь… И лежал в полудреме. И вспоминал еще один *особенный день*…

Нам уже было тогда по четырнадцать лет. Я отчетливо помню голос его отца в тот день. Слышал их обычную перебранку с матерью:

— Митрополитом хочешь сделать выблядка! В семинарию определила. Нет уж! Работать он пойдет. Вот я читать и писать не умею, а вас содержу. — Он схватил ее шкатулку, всегда стоявшую под иконой… Резную шкатулку из ее родительского дома. Выгреб ассигнации, смял в кулаке.

— Положи на место. Не твои! Свои ты уже пропил. Эти заработала я!

— Ты как говоришь с мужчиной? Чем заработала? Пиздою? Но она тоже принадлежит мне!

Они уже стоят во дворике дома у зарослей кустарника. Матерясь, отец засовывает ассигнации в карман… Она молча ударила его в пах крепким кулачком.

Он согнулся. А когда разогнулся — в руке, как всегда, нож из сапога. Но она все так же молча бросилась на него, выкрутила руку. И нож полетел в кусты.

Отец сидел на земле и пьяно плакал:

— Все равно прирежу. И тебя и его…

Я заметил, как метнулась в кусты фигурка Сосо.

…Через неделю мы встретились с Сосо у реки. Он сидел на берегу и ловко бросал отцовский нож в дерево. Нож впивался в кору.

Он засмеялся:

— Отец долго искал его, убить нас хотел им. Меня и мать. Теперь другой нож покупать придется… Сапожничать. — На лице Сосо блуждала задумчивая полуулыбка. Я часто видел ее потом, когда некая опасная мысль начинала бродить в его голове. Точнее — страшная мысль. — Мать говорит: надо прощать. Дескать, крест он для нас, следует терпеть, нести его. — И опять полетел ножичек в дерево. — А я не ишак. Я этот крест носить на себе не буду.

Именно тогда, бросая нож в дерево, он в первый раз сказал мне:

— А если никакого Бога нет? И никакого креста нести не нужно! Если человек *совсем-совсем* свободен?

Через несколько дней Сосо сообщил мне печально:

— Отец исчез. Неделю как не появляется дома. И никто его не видел. Мать ходит по трактирам, разыскивает. Дружок его, такой же пьяница, говорил, будто слышал, что он уехал в Тифлис и там зарезали его в пьяной драке. Жаль его, и мать убивается. Какой-никакой, а все-таки отец!

Рождение Кобы

За несколько дней до *этой судьбоносной ночи* он вдруг спросил:

— Что ты думаешь о смерти?

— Я вообще о ней не думаю.

Так я ответил. На самом деле тогда, благодаря ему, я думал о ней каждый день.

— Помнишь, еще в училище, — продолжал Коба, — мы учили: «Решился я в сердце своем исследовать и испытать разумом все, что делается под солнцем: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, *чтобы они мучили себя…»* Бухарчик как-то привел мне чью-то цитату… он был мастер умных цитат: «Смерть есть жизнь, а жизнь — это и есть смерть». Ты ведь тоже когда-то верил, что *там* есть истинная жизнь.

— Но ты мне помог, Коба, в *тот день*…

Тот день в семинарии… Мы выходили из церкви, и он вдруг прошептал мне:

— Бога нет, они надули нас.

Именно после этого он дал мне почитать удивительные книги, где доказывалось, как дважды два, что никакого Бога нет. И это он привел мне тогда слова моего любимого писателя Чехова: «Я с изумлением смотрю на всякого верующего интеллигента». И, погибая от кощунства, от собственной смелости, мы шептали во время богослужения: «Бога нет… Нет никакого Бога!» И потом хохотали.

Если вы напишете книгу о Кобе, я хотел бы, чтобы вы процитировали некоторые мои мысли. Это мысли бывшего семинариста о том, почему из стен нашей Тифлисской семинарии вышло столько революционеров! В чем была шутка дьявола!

Тот Тифлис, залитый солнцем. Новый мир, который так потряс всех нас, мальчишек, приехавших сюда из заштатных грузинских городков и сел. Тифлисская дневная улица — важный грузин в черкеске, за ним слуга несет корзину с покупками, музыканты-зурначи, удалые кинто, уличные торговцы, которые всегда навеселе… Эту шумную веселую дневную жизнь мы видели, но ту, ночную, только представляли. Буйную пьяную толпу, валившую после полуночи из кафе, ресторанов и запретных для нас театров.

Мы жили, отделенные стенами от полного соблазнов огромного южного города. Суровый, аскетический дух служения Господу царил в семинарии. Раннее утро, когда так хочется спать… Но нельзя! Надо идти на молитву. Торопливое чаепитие,

долгие классы, опять молитва, затем скудный обед, короткая прогулка по городу… И уже закрылись ворота семинарии. Ворота нашей тюрьмы. В десять вечера, когда город только начинал жить, мы отходили ко сну после молитвы. Арестанты, которые без всякой вины должны проводить в тюрьме лучшие годы. Многие из нас, пылких, рано созревших грузинских юношей, совсем не были готовы к такому служению. Поцелуи в ночи… женская грудь… обнаженное женское тело, которое ласкают там, во тьме, — вот о чем мы грезили, засыпая.

С каким восторгом мы узнали о совсем ином учении, открывавшем для нас совсем иные пути. Его привезли в Тифлис русские ссыльные. Старшие мальчики рассказали о нем… Марксизм! Насколько близки нам оказались марксистские идеи. Как и первые христиане, марксисты осуждали погрязший в корысти и наживе мир. То же жертвенное служение угнетенным, презрение к богатству, обещание царства справедливости с воцарением нового Мессии — Всемирного пролетариата. Все это совершенно совпадало с нашим религиозным воспитанием. Отменялся только далекий и призрачный Бог. Но взамен мы получали целый мир, где могли жить, как хочется, могли наслаждаться плотскими утехами. И наконец, отменялось столь малопонятное нашему возрасту «добром отвечать на зло». Напротив, нам, сынам воинственного народа, даровалось право быть беспощадными к врагам нового Мессии. Вопрос маленького Сосо: «Почему Иисус не вынул саблю?» — был разрешен. И как заманчиво звучало для нищего и гордого Сосо и для других детей бедняков великое обещание нового учения: «Кто был ничем — тот станет всем». Обещание Революции.

Теперь мы с Сосо зажили увлекательной двойной жизнью. Утром и днем молились Богу, вечером, убежав из семинарии, на тайных сходках мы его ниспровергали.

Но эта двойная жизнь закончилась в *тот день.* Новый ректор семинарии епископ Гермоген, будущий знаменитый враг Распутина, обнаружил у Сосо запрещенные книги.

Нас выстроили во дворе. Сосо поставили перед строем.

— На колени! — закричал Гермоген. — Кайся!

Но Сосо молчал, пристально глядя на огромного Гермогена.

И тут Гермоген снял с груди золотой крест и им плашмя ударил Сосо по голове. Истошно, страшно завопил:

— Дьявол, изыди!

Сосо не пошевельнулся.

— На колени! — проорал Гермоген и… вдруг застыл с занесенным над Сосо крестом.

Сосо стоял недвижно и неотрывно смотрел на Гермогена. Я

до смерти буду помнить трясущегося от бешенства, огромного толстого монаха и маленького Сосо, в упор глядящего на него.

Гермоген вдруг как-то сник. Еле слышно, хрипло закончил:

— Может, у нас еще есть любители читать поганые книжки?

Сосо только взглянул на меня. Даже не поняв, что делаю, я шагнул вперед…

Из семинарии нас исключили обоих. В это время Сосо уже был революционером. Вступил в подпольный кружок марксистов. Стал революционером и я, но по его приказу. В который раз сделал то, что хотел он.

Надо было придумать себе революционную кличку. И, пока я раздумывал, Сосо вспомнил японский меч, висевший в нашем доме. (Отец мой, купец, торговал японскими товарами. Этим самурайским мечом я по-детски гордился.)

— Ты так им восторгаешься, что даже узкоглазым становишься. — Сосо прыснул в усы (он стал носить в это время бородку и усы, как все настоящие революционеры). — Ты у нас совсем япошка. Чистый Фудзияма… Я, пожалуй, буду звать тебя сокращенно — Фудзи.

Это и стало моим революционным именем. Хотя прозвище Фудзи мне не очень нравилось. Но постепенно я к нему привык.

Себе Сосо взял кличку Коба. Это был герой знаменитого грузинского романа — грузинский Робин Гуд, бесстрашно грабивший богатых.

И я сказал ему:

— Моя кличка мне не очень нравится, а вот твоя — замечательная.

Он помолчал и вдруг спросил с усмешкой:

— А ты не забыл название романа?

И я… вспомнил!

— Ну что молчишь? — как-то зло спросил Коба.

Должно быть, ужас был в моих глазах.

«Отцеубийца» — так назывался этот роман.

Коба сказал:

— «Отец» — нелепое слово для революционера. Помнишь, как нас учили попы: «Христу говорят: „Мать и братья зовут тебя“. А он показывает на учеников-соратников: „Вот братья мои и вот мать моя…“»

…И я снова видел, как маленький Сосо сидит у реки и просит проносящихся плотогонов: «Плотогон, плотогон! Перевези меня на другой берег!» А я сижу на том, другом берегу. И все зову Сосо. Тщетно зову.

Потому что маленького гордого, наивного и злого Сосо уже нет.

В те дни родился беспощадный революционер Коба.

Я вновь проснулся от мерзкого звона.

Было *двенадцать часов* дня. *Первое марта.* Звенел будильник. Надо мной стояла жена. Приехала машина с шофером от Берии. Надо было одеваться, ехать на Ближнюю дачу…

Я приехал туда в *четверть третьего*. Знакомая утренняя картина: «прикрепленные» сидели в кухне, пили чай. Коренастый Лозгачев что-то рассказывал такому же коренастому Старостину. Старостин был старший «прикрепленный». Он появился на даче в десять утра — сменил уехавшего домой спать другого старшего «прикрепленного», Хрусталева.

Сейчас Лозгачев (в который раз) обсуждал со Старостиным невероятное распоряжение Хозяина. Оказывается, в пятом часу утра, проводив «гостей», Коба велел всем «прикрепленным» идти спать. «Вы мне больше, — говорит, — сегодня не понадобитесь, идите спать… Я тоже пойду».

— Никогда такого не бывало! — удивлялся Лозгачев.

— Не бывало, — соглашался старший «прикрепленный» Старостин. — Говоришь, он был хороший?

— Очень хороший, добрый, ласковый был…

— Значит, ничего не болело, — рассудительно сказал Старостин.

— Это точно, когда болит — лучше не подходи! — подтвердил Лозгачев.

Заговорили они о здоровье Кобы неспроста. Обычно Коба просыпался в десять-одиннадцать часов. Сейчас заканчивался третий час пополудни, но звонка из комнат все не было. Наружная охрана, которой они при мне звонили дважды, отвечала, что в комнатах «нет движения».

Думаю, у них у всех уже зашевелилась *эта мысль.* Но никто не смел произнести ее вслух. И сейчас они успокаивали друг друга.

Лозгачев сказал весело:

— Видать, хороший у него сегодня сон.

Все старательно засмеялись. И продолжили чаевничать. Я выпил с ними чаю.

Часы пробили половину четвертого, но Коба по-прежнему спал! И снова Старостин позвонил наружной охране. И опять услышал уже раздраженное: «Нет движения!»…

Я прошел в свою комнату. В ней я ночевал, когда оставался на даче. Комната находилась здесь же, в пристройке для «прикрепленных», рядом с кабинетом бывшего начальника охраны Власика, недавно арестованного. (Кабинет Власика пустовал. После его ареста там появлялись и быстро исчезали

исполнявшие его должность: никто не нравился Кобе. Наконец Коба остановился на полковнике по фамилии Новик. Но накануне, как я уже написал, Новик попал в больницу — приступ аппендицита.)

Я запер свою дверь, подставил под люстру стул и влез на него. Нажал кнопку на люстре, и «включилась» Малая столовая. Я услышал ровный храп Кобы. Тотчас выключил. Все шло по плану. Он спал. Я знал: он *крепко* спал.

Я лег на кровать. Теперь я мог спокойно продолжать вспоминать нашу жизнь — мою и его. Хотя было страшновато вспоминать ее здесь и сейчас.

Но я ведь подводил итоги. Это было вроде некролога.

Когда нас исключили из семинарии, мы оба устроились работать в обсерваторию. В нашу нехитрую обязанность входило снимать показания приборов. Точнее, снимал их я, а Коба готовил забастовку. Кровавую забастовку в портовом городе Батуме. Он мне сказал уже тогда: если не будет много крови, не будет и Революции…

В обсерватории мы оба встретили двадцатый век. Все ушли праздновать — встречать новое столетие. Приближалась новогодняя полночь, когда Коба предложил мне проникнуть в зал, где стоял телескоп, и посмотреть на звезды в этот особый миг смены столетий. Я отказался, он ушел… Вернулся какой-то странный.

Я все надоедал ему с вопросами, что он там увидел. Но он молчал. И тогда я засмеялся и спросил:

— По-моему, веришь в звезды, марксист?

Ответил он странно:

— Когда астрологи гадают людям по звездам, они лгут. Звезды не имеют отношения к обычным людям. Но к Цезарям — имеют…

В нашей маленькой комнатке в обсерватории мы устроили склад прокламаций и запрещенных книг. Однако на нас донесли, и в обсерваторию нагрянула полиция. Кобе повезло — он ушел буквально за час до обыска. Арестовали одного меня.

Это была моя первая тюрьма. Но мой отец за взятку добился освобождения.

Коба в те дни перешел в подполье. Одно время он жил в развалинах средневековой крепости, стоявшей на горе над нашим Гори. У крепостных ворот лежал странной формы камень — огромный, абсолютно круглый каменный шар. У нас его называли мячом Амирана. Амиран по кавказским поверьям — гордый, злой дух. Этакий кавказский Прометей, прикованный на вершинах наших гор. Но только кровавый Прометей. Восставший против

Бога Амиран истреблял послушных Богу людей. По преданию, он играл этим камнем, как мячом, и, играя, убивал.

Раз в году, в ноябре, стерегущие его ангелы засыпали. И тогда Амиран пытался разорвать оковы и уйти в мир с вершины скалы. По древнему обычаю в ноябрьскую полночь весь наш маленький городок высыпал на улицу будить уснувших ангелов. С южной энергией люди отчаянно колотили кто во что горазд: по тазам, по медным чайникам. Возглавляли какофонию городские кузнецы. Всю ночь они усердно били по наковальням. Колокола церквей угрожающе ревели…

Именно в ту опасную ноябрьскую ночь я должен был передать Кобе фальшивый паспорт. Мы договорились встретиться у камня Амирана. Крадучись, я поднялся в развалины, тихонечко свистнул. Свист мой потонул в громовом ударе. Начиналась гроза. И в свете молний я увидел у страшного камня ухмылявшегося Кобу.

Я протянул ему паспорт…

— Говорят, отец за взятку тебя освободил, — сказал он с презрением. — Эх ты! Арест и тюрьма — мечта настоящего революционера. Только арест дает нам возможность выступить на суде, на людях обличить строй.

Я возмутился:

— Но ты почему-то на свободе!

И тогда он начал говорить. Я никогда не забуду, как он говорил в грозовых сполохах:

— Запомни! Революционер — человек обреченный. У него не может быть *своих* дел, *своих* чувств и даже *своего* имени. Запомни. — Его указующий палец надавил мне на грудь. — Мы порвали все связи с общепринятой моралью. Нравственно для нас только то, что поможет торжеству Революции. Безнравственно, преступно все, что мешает. И поэтому для пользы Революции должны существовать революционеры первого и второго разрядов. Первые распоряжаются революционерами второго разряда, как своим капиталом, который они могут тратить на нужды Революции. И если революционер первого разряда считает, что надо пожертвовать свободой, даже жизнью революционера второго разряда, он волен это сделать. Тот, другой, должен принимать это и почитать за счастье. Поэтому я, революционер первого разряда, подготавливающий сейчас стачку рабочих в городе Батуме, обязан быть на свободе. А ты, если сочту нужным во имя Революции, пойдешь в тюрьму…

Самое удивительное — я смолчал. Сказать, что я не чувствовал себя униженным, было бы неправдой, но я молчал, будто парализованный взглядом горящих желтых глаз. Клянусь,

его глаза сжимали меня железным обручем.

Мы обнялись. И, стоя под черным небом, освещаемый молниями, он начал читать мне свои стихи:

— Там, где раздавалось бряцание его лиры,
Толпа ставила фиал, полный яда, перед гонимым
И кричала: «Пей, проклятый!
Таков твой жребий, твоя награда за песни.
Нам не нужна твоя правда и небесные звуки!»

Эти стихи, и тот монолог, и ту грозу, и его глаза я до смерти не забуду. Не забуду его яростное лицо, освещенное молнией и… глазами! Это и был истинный Коба. Мой друг — барс Революции.

(Правда, потом я прочел все эти грозные слова про «обреченного революционера» у революционера беспощадного — Нечаева. Оказалось он написал их в своем «Катехизисе Революционера». Узнал я об этом только через много лет. Но автором стихов был он сам, мой друг Коба. Отличных яростных стихов. Их напечатал в своем журнале король наших поэтов, великий Чавчавадзе, и я гордился своим другом.)

Коба закончил читать, и в этот миг сверкнула очередная молния. Снизу, из нашего городка послышался грохот. Люди начали будить заснувших ангелов. Оглушительная какофония заглушила удары грома.

— Стучат, дураки-мудаки, — захохотал Коба. — Боятся, что придет Амиран, жалкие, трусливые людишки!

Я смотрел вниз на освещенный факелами город, но, когда поднял голову… Кобы уже не было! Он исчез! Помню, почти в испуге я звал его: «Коба! Коба!..»

В странной панике, под грохот, доносившийся снизу, я бежал с горы. Дважды упал, споткнувшись, вставал и… бежал, бежал!

Я тогда не понял, как, впрочем, и весь наш маленький городишко, что стучали тщетно — страшный Амиран уже ушел в мир со скалы.

Коба и власть

Второй раз меня арестовали почти одновременно с Кобой. Помню, как в крохотном тюремном дворе я увидел его во время прогулки. Мы обнялись.

— Ты, наверное, подумал тогда, что я дружу с духами, — прыснул в усы Коба. — Какие вы глупые люди! Какие суеверные. О, род человеческий! Я попросту лежал на животе за огромным камнем Амирана и хохотал. Вот так же нас обманывают чудесами священники…

Это была азиатская тюрьма: садисты-надзиратели, ужасающая грязь, абсолютное бесправие политических. Уголовники издевались и били нас при молчаливом покровительстве тюремщиков.

Я был невысок, но силен, как бык. И когда один из них посмел ударить меня, я преспокойно сломал ему руку. Ночью они пришли ко мне в камеру скопом. Утром я лежал в тюремной больнице зверски избитый, порезанный ножом. (Самое смешное — на прогулке они сначала набросились на Кобу, уж очень он похож на меня. Но вовремя спохватились, к его счастью.)

И тем не менее жить в тюрьме было можно — к нам приходили друзья под видом адвокатов, мы легко прятали в камере запрещенные книжки, передавали письма на волю. Причем письма носили за деньги… наши охранники! Да и в ссылках тогда жилось неплохо. Впоследствии Ленин, смеясь, рассказывал, как он пожил в ссылке в свое удовольствие, писал, охотился и даже женился там.

Коба хорошо запомнил: царская тюрьма и ссылка при всех издевательствах никого из нас не сломала. И мой друг Коба, проведший всю свою молодость в ссылках и бегах, это учтет. Его тюрьма и его ссылка будут совсем другими…

Первая власть в азиатской тюрьме — деньги. Но у нас с Кобой их не было. Проклявшие меня родители денег не присылали… Но имелась и вторая власть — уголовники. Ее боялись все, даже наши тюремщики. Коба первым из нас, политических заключенных, последовал заповеди великого революционера Нечаева — соединился с разбойничьим миром. Сын нищего сапожника, матерщинник Коба быстро нашел общий язык с уголовниками.

Его новые знакомые уважали физическую силу. Он ею не обладал. Но, привыкший с детства к побоям, он сумел показать большее — презрение к силе.

Это случилось в пасхальные дни. Мы, политические, были

атеистами и Пасху демонстративно не отмечали. Начальник тюрьмы решил преподать нам урок. В тюремном дворе выстроились в два ряда солдаты. Пятерых политических, особенно досаждавших начальнику «законными требованиями», построили в ряд. Среди них был Коба. Под ударами прикладов они должны были пройти сквозь строй.

Все население тюрьмы — политические и уголовные — собрались в тюремном дворе. Нам надлежало стать зрителями поучительного зрелища.

И началось.

Трое политических прошли половину пути и были унесены на носилках в госпиталь. Еще один, едва начав путь, упал и под хохот уголовных отправился в тот же госпиталь.

Коба шел последним. Он вышел с учебником немецкого — он тогда учил этот язык, решил читать в подлиннике Маркса. Помню, начальник крикнул ему: «Убери книгу!»

Будто не слыша, Коба с открытой книжкой двинулся сквозь строй. Не опуская головы, держа книжку перед собой, шел он под ударами прикладов. Миновав последнего солдата, он спросил начальника тюрьмы, стоявшего в конце строя:

— Прикажете повторить, господин начальник? — и взглянул на него страшными желтыми глазами.

Тот как-то съежился, махнул рукой и в странном отчаянии торопливо пошел, почти побежал прочь.

Как и в училище, в семинарии, в подпольном партийном Комитете, Коба захватил власть и в тюрьме. Матерых бандитов подчинила странная сила, исходившая от моего друга, маленького рябого Кобы с желтыми глазами.

Ленин и кровь

Коба мечтал о скорой Революции, свято верил в нее. Но старики-марксисты (то есть тридцатилетние), сидевшие с нами в тюрьме, объясняли: «Маркс велит нам ждать, пока вырастет, станет могучим наш Мессия — русский пролетариат. И только тогда может свершиться подлинная Революция».

Коба ненавидел споры с «умниками» — так он называл этих старых, великолепно знавших теорию марксистов. Но еще больше он ненавидел ждать. Коба никогда не соглашался с тем, что не совпадало с его желаниями. Он говорил мне:

— Неужели Маркс, великий человек, написал такую глупость!? Не верю!

Считалось, что отца коммунизма истинные революционеры должны читать в подлиннике. Он немедленно начал изучать немецкий, чтобы прочесть Маркса и посмеяться над «умниками». Умники дали ему учебники, усердно занимались с ним. Он очень старался, но немецкого так и не выучил. Немецкие слова тотчас вылетали из его памяти, будто их там и не было. Он был туп к языкам. Но в его жизни всегда происходило одно и то же: свою неудачу он считал чужой виной. Он сказал мне:

— Мерзавцы подсунули не тот учебник, они нарочно плохо учат. Они боятся моей встречи с Карлом Марксом…

Именно в это время Кобе повезло: он нашел истинного Учителя. Учитель, к его счастью, написал свою книгу на русском. Его звали Ленин. Книга называлась «Что делать?». В ней Ленин совсем по-другому трактовал Маркса. И вскоре Коба сообщил мне, яростно сверкая глазами:

— Я был прав! Они обманули. Ленин учит: ждать не нужно! Маленькая группа героев сможет взять в свои руки власть. Надо лишь захватить столицу. Остальные подчинятся! Россия — страна рабов. Здесь одному приказать: «Трогай!» — и все поехали! Но для этого, учит Ленин, надо сначала создать подпольную, тщательно законспирированную партию. Партия — это архимедов рычаг, который опрокинет поганую Империю!..

И он тотчас приступил к действию: начал строить партию в тюрьме. Партию из уголовников.

Он терпеливо объяснял бандитам на прогулке:

— Зачем воровать жалкие крохи у богачей? Забудьте о воровстве. Вступайте в новую партию. После ее победы вы, угнетенные, получите все! Мы отнимем награбленное богачами у трудового народа. Мы будем грабить награбленное!

Это уголовникам было понятно. И они вступали в партию

Кобы. Он назвал ее «Народная расправа» — в память о любимом Нечаеве. Как он был счастлив, когда кто-то рассказал ему, что Ильич тоже восхищается Нечаевым.

— Вот! — говорил он мне. — Наши умники брезгуют Нечаевым, потому что боятся крови. Нечаев учил: Революция — это кровь, беспощадное разрушение. Все дозволено, что на пользу Революции! И Ленин учит так же. Они скрыли от нас и про Нечаева, и про кровь, и про «все дозволено»!

Да, Нечаев был отвергнут в это время просвещенными революционерами.

От Кобы я с изумлением услышал его биографию. Скажу честно, она заворожила меня. Когда Нечаева посадили в Петропавловскую крепость, к нему в камеру пришел шеф жандармов. Пришел унижать.

— И что сделал Нечаев? — шептал Коба. — Отгадай, дорогой! Не сможешь! Он дал пощечину шефу жандармов, царскому генералу! И так посмотрел на него… — Коба посмотрел на меня желтыми, страшными глазами. — И под взглядом Нечаева шеф жандармов с побитым лицом… опустился перед ним на колени! Такая революционная сила была в этом человеке. Он был настоящий… Он не владел имуществом, ночевал по квартирам знакомых, прямо на полу… Даже «умники» мне рассказывали: «У каждого из нас что-то было, у него — ничего». У него была одна мысль, одна страсть — Революция. И одна ненависть — к существующей жизни. Он учил, и мы с тобой должны запомнить это: «Право революционера действовать любыми средствами — шантаж, убийство!» Он так и написал: «Правительство в борьбе с революционерами не брезгует ничем и, главное, иезуитскими методами провокаций, почему же мы боимся?» Когда один из жалких ублюдков спросил Нечаева: «Стоит ли убивать царя?» Он ответил: «Убивать нужно не царя, а всю ектинью». — (Ектинья — молитва за царскую семью с перечислением всех ее членов, которую мы постоянно пели в семинарии.) — Это Нечаев открыл: малочисленная организация при железной дисциплине сможет захватить страну. Именно такую партию создает сейчас Ленин… Ильич поднял упавший нечаевский факел. В основе такой партии должно быть беспощадное подчинение. — Эту мысль Коба повторял и повторял. — Такую партию легко создать в России. Может быть, ее можно создать только в России. Покорность, — шептал он, — в самой душе вечно бесправного русского народа. В ней огонь и кровь крестьянских бунтов. Главное в Революции — кровь! «Дело прочно, когда под ним струится кровь»! Учи заветы Нечаева!

Коба дал мне тетрадь. Всю ночь я читал яростные нечаевские

слова, переписанные старательным почерком Кобы: «Денно и нощно должна быть у революционера одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. Стремясь к этой цели, он должен сам погибнуть или погубить своими руками все, что мешает ее достижению. Мы должны соединиться с лихим разбойничьим миром, истинным и единственным революционером в России…»

Создав свою партию в тюрьме, Коба стал важен. Он говорил теперь с «умниками» не о Марксе — о Ленине.

— Ленин, — заявил он им во время очередного диспута, — учит нас: «Никаких дискуссий, никакой свободы мнений в партии, желающей захватить власть, быть не может. Мы — боевая организация, ставящая целью Революцию. Такая же, как орден меченосцев».

Когда «умники» посмели ругать «диктаторские привычки лысого Робеспьера» (так назвал Ленина кто-то из них), Коба только улыбнулся. И сказал мне:

— Пора научить истине.

В дело вступили мы: группа уголовников и я, друг Кобы.

Все оказалось легко. Мы напали на «умников» во время прогулки. Когда били политических, охрана становилась слепой. Мы били их жестоко. Главного «умника»-марксиста, к восторгу начальства, забили до смерти. До сих пор помню, как, харкая кровью, он прохрипел мне:

— Когда-нибудь ты вспомнишь, что обоих — тебя и его — я проклял!

Я расхохотался ему в лицо!

Коба сказал:

— Он был обыватель. Он не был революционером. Но все-таки его жаль. Такой умный, начитанный — и так заблуждался…

Кобу отправили в ссылку. Его сковали прямо во дворе ручными кандалами с другим социал-демократом — Алешой Сванидзе.

Алеша Сванидзе был очень хорош собой — невысок, но отлично сложен, светлые волосы, аккуратный нос с горбинкой, щегольские черные усики и удивительно нежные, светло-голубые глаза.

В паре с ним — такой заурядный Коба с ненавидящими желтыми глазами.

Если бы знала эта кандальная пара предстоящие игры Судьбы… Сестра Алеши Сванидзе станет первой женой Кобы. Так что скованы были будущие родственники. И будущие убийца и убиенный. Потому что Коба расстреляет Алешу Сванидзе, нашего общего с ним дорогого друга…

— Надеюсь, больше не увижу твою рябую харю, — сказал

ненавидевший Кобу начальник тюрьмы. — Пошел вон! — И дал ему сапогом пинка под зад… Он боялся Кобу и рад был, что избавляется от него.

Коба только улыбнулся. Мне была знакома эта его загадочная улыбка, от которой мороз пробегал по коже… Он ответил начальнику:

— Надеюсь, кацо, скоро не увидишь не только меня.

Через три дня начальника нашли у дома с перерезанным горлом. Это был прощальный привет от Кобы. Точнее, «партийный взнос» его друзей-уголовников.

Потом отправили в ссылку и меня. Из ссылки я бежал. Возвращаться в Тифлис, где меня знала каждая собака, было нельзя. Некоторое время я жил в Петрограде.

Летом 1903 года отец смилостивился, прислал мне деньги. Я бежал за границу в Брюссель. В Брюссель съехались тогда все звезды русской социал-демократии — то есть четыре десятка человек.

Сняли небольшой и, главное, недорогой сарай, где и развернулось историческое действо. Пока молодые участники расставляли стулья в зале, я прикрепил на дверь сарая вывеску: «Учредительный съезд Российской социал-демократической рабочей партии».

Вот так в июльский очень жаркий день четыре десятка человек в брюссельском сарае основали партию, которой предстояло изменить историю человечества.

Одним из первых приехал на съезд на велосипеде лобастый господин в котелке. Поставил велосипед, прошел в зал. Господин был лыс, с жалкими рыжеватыми остатками волос над висками…

Барственный Плеханов, знаменитейший русский марксист, сидел за столом — председательствовал. Напротив в первом ряду и устроился лобастый господин. О чем бы ни говорил Плеханов, лобастый, сверкая лысиной и узкими калмыцкими глазками, вскакивал оппонировать… Это и был знаменитый Ленин.

Плеханов волновался, злился. Он приготовился к почитанию, Ленин — к борьбе. Помню, как Ленин кричал, яростно картавя: «Мы, якобинцы, строим здесь партию будущей, кровавой Революции, которая захватит власть. Партию нового типа». Он потребовал жестокой централизации в будущей партии, беспощадного подчинения руководству. «Как положено в армии, в бою!»

— А как же дискуссии, милостивый государь? — В глазах Плеханова искреннее изумление.

— Дискуссии в армии? Дискуссии в бою? Какая буржуазная чепуха!

И восторг на наших лицах — лицах молодых. Ленин был блестящий политический боец. Во время голосования по одному из пунктов плехановцы получили меньшинство, и Ленин, к нашему восторгу, прилепил им презрительную кличку «меньшевики», с которой они и вошли в историю. Себе и нам, своим сторонникам, взял уважительное имя «большевик».

Вот так сразу Ильич сумел расколоть только что созданную партию. Объединил во фракцию своих сторонников и стал нашим Вождем.

В перерывах Ленин разговаривал с молодыми — вербовал союзников.

Именно тогда я рассказал ему о его фанатичном почитателе Кобе. Но мне показалось, что, увлеченный борьбой, Ленин плохо слушал меня.

Вскоре я узнал, что Коба тоже бежал из ссылки. К моему изумлению, он не побоялся вернуться в Тифлис. Революционеры, как правило, опасались возвращаться в родные места.

Но мощная тифлисская «охранка», контролирующая весь Кавказ, как это ни странно, не смогла его арестовать!

В Тифлисе Коба жил в подполье.

Встретились вновь мы с ним в славном 1905 году, когда в России началось небывалое. То, чего не ждал никто из нас — ни большевики, ни меньшевики… Сфинкс, столетия спавший под строгим надзором своих самодержцев, внезапно проснулся. Массовые беспорядки, всеобщая забастовка, парализовавшая страну, мятежи в армии, баррикады. Пока мы спорили, какой будет Революция, она началась!

В Финляндии, в городе Таммерфорсе, была срочно созвана тайная конференция социал-демократической партии. Я снова являлся делегатом от Кавказа. Здание, где проходила конференция, стояло у озера, недалеко от огромного православного собора. Каково было мое изумление, когда, подходя к озеру, я увидел… Я не поверил своим глазам! У озера стоял… Коба.

— Коба!

— Ошибся, кацо, мое имя — господин Васильев, — усмехнулся он.

Мы обнялись.

Оказалось, я недооценил Ленина. Он запомнил мой рассказ о Кобе, и того пригласили на съезд. Коба купил себе паспорт на имя какого-то Васильева и приехал…

Честно говоря, я опять был изумлен. Финляндия, завоеванная русскими царями, чье население ненавидело царизм, стала любимым пристанищем для нас, русских революционеров. Оттого

в дни революции 1905 года все поезда в Финляндию буквально кишели агентами русской секретной службы! У меня, помню, в пути жандармы четырежды проверяли паспорт, пристально вглядывались в фотографию, потом в мое лицо. Честно говоря, я не мог тогда понять, как Коба с его грузинским лицом и сильным акцентом благополучно проехал через всю Россию в Финляндию с русской фамилией в паспорте. Он воистину был удачлив. Слишком удачлив или (что точнее) ***странно*** удачлив…

Вечером в самой дешевой гостинице, где он остановился, я рискнул спросить:

— Что говорили жандармы, увидев твой паспорт на фамилию Васильев?

Он побледнел. Лицо стало злым.

— Они не видели мой паспорт. Я умею заговаривать. Сижу и бубню под нос: «Проходи мимо… проходи, дорогой…» И проходят! — Он посмотрел на меня в упор. — Ты что же, мне не веришь?

Я поверил, хотя никому не мог пересказать это странное объяснение.

Ленин уже был в зале, когда мы с Кобой вошли в прокуренное маленькое помещение. Ильич сидел в углу, что-то торопливо писал. Коба с таким детским восторгом уставился на него, что тот даже обернулся…

Коба прошептал:

— Подведи!

Я волновался. Я боялся, что Ленин задаст ему тот же опасный вопрос. Но я недооценил Кобу.

Я подвел его к Ленину, представил, и Коба, не дав ему открыть рта, вдруг весело, простодушно сказал:

— А я ведь думал, что вы совсем другой, товарищ Ленин.

Ленин с любопытством посмотрел на него.

— Что вы представительный, статный великан, — продолжал мой друг. — А вы… такой незаметный.

Ленин буквально зашелся от хохота.

— Великан? Представительный? — хохотал он.

— Да, я думал, что вы как… как орел!

— Орел! — заливался Ленин.

Все оборачивались. Но Коба продолжал в том же духе:

— И очень меня удивляет, товарищ Ленин, что вы пришли вовремя. У нас на Кавказе великий человек обязательно должен опаздывать на собрания.

— Опаздывать на собрания! — умирал от смеха Ленин.

— …Пусть члены собрания с замиранием сердца ждут его появления…

Ленин часто смеялся. У него был звонкий детский смех. «Синьор Динь-динь» — так звали его в Италии. Коба, боготворивший тогда Ильича, быстро перенял у него эту привычку часто смеяться. Но смех у моего друга оказался странноватый, будто он что-то выплевывал изо рта. Вместо смеха Коба прыскал в усы…

Вечером в маленьком кафе Ленин, хохоча, пересказывал соратникам слова наивного, диковатого грузина, взявшего кличку из романа с грозным названием «Отцеубийца». Смеялись от души все слушавшие большевики, друзья Ленина — Каменев, Крестинский, Радек… Все, кого потом опозорит и расстреляет мой друг «Отцеубийца» Коба.

И только я, хорошо знавший его, понял: Коба играл! Он решил быть таким, каким хотел его увидеть Ленин. Дикарь, пришедший в Революцию. Представитель миллионов. Азиат. И он им стал… для Ильича.

Хотя на конференции в Таммерфорсе Коба не выступал и вообще никак себя не проявил, Ленин пригласил его участвовать в съезде в Стокгольме. А потом позвал на новый съезд — в Лондон.

Многие наши товарищи недоумевали. Но к тому времени я уже знал почему.

Сразу после конференции в Таммерфорсе умер мой отец. Конечно, я рискнул приехать в Тифлис. Через день после похорон, поздним вечером, ко мне пожаловал Коба. Он был в какой-то глупой феске, выглядел в ней смешным малорослым рабочим-турком.

Как обычно, не сказав «Здравствуйте», он пробормотал что-то о соболезновании. Потом вынул мятый листок и начал читать. Это было обращение Ленина, написанное… будто в память о казненном брате Ильича. Его любимый старший брат, сторонник террора, задумавший покушение на царя, погиб на виселице, когда Ильич был еще подростком. Ленин никогда не забывал брата. Повешенный всегда находился возле него. (И когда он приговаривал к смерти царскую семью, думаю, мертвый брат тоже стоял рядом.)

Ильич писал: «Товарищи рабочие! Пусть слякотная власть узнает, что такое наш пролетарский террор. Создавайте повсюду боевые дружины! Вербуйте молодых боевиков, учите их на убийствах полицейских… Кинжал, пистолет, на худой конец, тряпка, смоченная в керосине, — ваше оружие!»

— Так велит нам Ильич, наш Мессия, — торжественно сказал Коба. — С нами пойдешь?

— С кем это — «с нами»?

Коба тихонечко свистнул. И, как сейчас вижу: в дверях за тщедушным Кобой вырастает он — огромный, черноволосый. Еще один наш общий друг — Симон Тер-Петросян. Ставший легендой нашей партии под кличкой Камо. Вечно молчаливый Камо, юноша невероятной физической силы…

Дом его отца, богатого купца Тер-Петросяна, находился недалеко от лачужки Кобы. С отрочества Симон, как и я, был послушной тенью Кобы. Помню, как бесился мой отец, когда видел меня с Кобой. И так же бесился отец Симона: «Что вы нашли в этом голодранце? Не доведет он вас до добра!» Но тщетно. Коба притягивал нас к себе. И силач Симон вслед за мной и «мушкетерами» стал еще одним покорным адъютантом Кобы. Коба привел Камо к большевикам, как прежде привел меня…

— С нами пойдешь? — повторил Коба.

Я в ответ радостно засмеялся. Мы обнялись. И, положив руки на плечи друг друга, запели наши грузинские песни. Удалые и печальные.

Камо, восторженно глядевший на нас, сказал:

— Как же вы похожи! С этаким сходством можно будет делать большие дела.

Камо был абсолютно непредприимчив в жизни. Но во всем, что касалось террора, у него замечательно работала голова.

А тогда мы надрезали пальцы, смешали нашу кровь.

— До смерти вместе! — объявил Коба.

Сколько раз потом я вспоминал эту фразу…

«Сила бессильных»

Именно так кто-то удачно определил Террор…

Мы собрали боевую дружину из двадцати человек. Камо беспощадно тренировал нас. Коба планировал наши нападения. И часто сам в них участвовал. Маленький, юркий и бесстрашный барс Революции, мой друг Коба.

Всего два десятка человек! Но мы держали в страхе Тифлис, Баку и Батумский порт.

Действовали мы быстро и внезапно. Внезапно нападали и внезапно исчезали. Научились растворяться в городской суете. Но чаще работали ночью. Мы тогда многое сделали. Брали дважды банки в Батуми, нападали на дворцы нефтяных магнатов в Баку, грабили каюты кораблей в Батумском порту и убивали полицейских.

Убивать оказалось не страшно. Мой первый убитый — охранник в порту…

В детстве мы с моим другом Гришей охотились с сачками на бабочек. Помню, Гриша бежал с сачком, наткнулся на камень, упал и какое-то время лежал на земле, нелепо выставив руку с сачком. И тот охранник, которого я подстрелил, лежал на земле, тоже нелепо выставив руку, так и не поймав свою бабочку. Темная жидкость натекла рядом с ним. Я не сразу понял, что это кровь.

Именно в Батуми Кобе изуродовали руку… Мы поджидали почтовую карету с жалованьем полицейским. Была полночь — любимое наше время. Как только показалась карета, пошли на штурм.

Но на этот раз охрана не растерялась. В рукопашной схватке Кобу сбросили с подножки кареты на булыжную мостовую. Экипаж с деньгами умчался, проехав по его руке. На место прибыла полиция, но мы уже ушли в горы. Камо на плечах вынес Кобу. Рука плохо срослась и плохо разгибалась в плече и локте…

Уже после Революции Коба придумал курить трубку. Согнутая рука, держащая трубку, маскировала этот дефект. И на тысячах тысяч картин Верховный главнокомандующий изображен с вечной своей трубкой в согнутой левой руке. Так что в ту страшную ночь мы с Камо стояли у истока славных произведений нашей живописи…

Наши грабежи назывались «эксами» — экспроприацией в пользу Революции. Через наши руки проходили сотни тысяч, но мы жили трудно, порой впроголодь. Все деньги и драгоценности Коба отсылал в Швейцарию Ленину. Вот почему мы с Кобой участвовали во всех съездах.

Именно тогда мы начали использовать наше сходство. Мы придумали обязательно разделяться во время терактов. Точнее, это придумал Камо. Если участвовал в деле Коба, я должен был пить и дебоширить в каком-нибудь дорогом ресторане. Или наоборот. И если Кобу или меня арестовывали, хозяин того заведения чистосердечно подтверждал: «Этот господин до утра был у меня». И на вопрос обвинителя: «Отвечаете ли вы за свои слова?» — хозяин только вздыхал и начинал перечислять убытки от дебоша. В результате ни Кобу, ни меня ни разу не арестовали за «эксы». Потому в дальнейшем Коба легко засекретит свою удалую жизнь. И после Революции он никогда не упоминал о наших подвигах. Он будто чувствовал, что в будущем они могут ему помешать.

Рассказывая о своей поврежденной руке, Коба придумал рождественскую сказочку о бедном маленьком мальчике, искалеченном в детстве колесами богатого экипажа… Но зато он не скупясь повествовал о геройствах Камо. Эти истории о беспримерной храбрости, дьявольской изворотливости, революционной жестокости нашего друга Камо стали романтической легендой нашей партии.

Камо

Как и я, Камо совершенно терялся в присутствии Кобы.

Знаменитая партийная кличка Камо всего лишь издевательская шутка Кобы.

Однажды Коба поручил Симону отнести «камешки» ювелиру Нодия, скупавшему драгоценности, которые мы экспроприировали. Это были бриллианты, «изъятые» в доме бакинского нефтяного богача. Симон не расслышал фамилию ювелира. Привычно коверкая русский язык, спросил:

— К камо нести, дорогой, повтори, пожалуйста?

— Эх ты — «камо, камо», — засмеялся Коба. — Ты и вправду настоящий Камо! Давай будем тебя так звать — «товарищ Камо»? — И, прыснув в усы, заорал: — Эй, друг наш, товарищ Камо, отнеси эти камешки ювелиру Нодия!

Симон был южный человек, гордый и вспыльчивый. За насмешку над ним другой мог расплатиться жизнью. Но от Кобы он не только снес насмешку, но и согласился, чтобы издевательская шутка стала его партийной кличкой. Как и я согласился стать Фудзи…

Деньги Партии

Во всей партии только Ленин и еще один человек знали о подвигах нашей боевой дружины. Этим человеком был главный террорист партии Леонид Красин, партийная кличка Никитич.

Не забуду нашей первой встречи…

Сначала верный человек передал Кобе записку от Ленина. Нам предлагалось поступить в полное распоряжение некоего «товарища Никитича». Ровно в два часа мы должны были, «шикарно одетые», ждать его на Эриванской площади.

В два мы втроем подошли к месту встречи. Камо был в белой черкеске, я в элегантной тройке. Коба пришел в поношенном пиджаке, в нелепой феске и еще более нелепой ситцевой косоворотке. Усмехаясь, объявил:

— «Шикарно» приодеться не во что, бедный человек.

Кто мало знал Кобу, мог подумать, что так он протестовал. Дескать, гордец Коба не захотел подчиняться, да еще неизвестно кому. Но я-то его знал хорошо. Коба решил сначала выяснить, каково будет наше задание. Или… он уже был в курсе! И решил избежать прямого участия в деле. Он всегда все узнавал раньше других.

Подъехал великолепный экипаж, и оттуда вышел элегантный, с орхидеей в петлице, Красин. Он работал ведущим инженером в знаменитой немецкой фирме «Сименс», но это была его «крыша».

Истинная жизнь Красина проходила в подполье. Им владели две страсти — женщины и бомбы. Я думаю, он и партийцем-то стал, чтобы изобретать новые бомбы. Его бомбами были убиты многие его знакомцы — царские чиновники, встречавшиеся с ним на балах и приемах.

В это время (как я узнал потом) Красин был одержим идеей сделать бомбу величиной с орех, чтобы можно было пронести ее в кармане смокинга. И прямо на балах взрывать «ликующих, праздно болтающих» своих знакомых.

Имелась у него и другая заветная мечта — создать огромную сверхбомбу. Сбросить ее с аэроплана на Александровский дворец. И разом покончить с царем, всей царской семьей и свитой.

На эти великие замыслы требовались великие средства. Он тратил на бомбы все свое большое жалованье, но не хватало… И он жил в постоянных поисках денег. Он попытался делать фальшивые ассигнации. В России не получилось, он перенес проект в Германию. Вышел на человека, который достал ему нужную бумагу с водяными знаками. Красин даже спроектировал станок для фальшивок, но немецкая полиция накрыла дело.

Теперь, когда он мучился безденежьем, Ильич нашел для него неожиданный источник финансирования. Огромные деньги! Но их надо было взять. За этим он и приехал в Тифлис.

Задание Партии

Итак, мы подъехали к самой дорогой гостинице в нашем солнечном Тифлисе.

Номер Никитича был великолепен. Нас буквально ошеломили люстры, мебель, зеркала.

Но задание ошеломило куда больше.

— Вам нужно выехать со мною во Францию, в Канны. Некий богач, близкий к нашей партии, решил покончить с собой. Он достойный человек и потому завещал партии все свои деньги. Но, к сожалению, вестей о его смерти нет… хотя мы их ждали неделю назад.

— Раздумал умирать, дорогой? — улыбнулся Камо.

— Умирать непросто, особенно богачу, — ответил Никитич. — И возможно… придется помочь ему. — Он усмехнулся и добавил: — Почему не помочь хорошему человеку? Ваши заграничные паспорта. — Красин передал нам три паспорта. — Вам заказаны номера в том же «Ройял-отеле», где живет и он. Это очень дорогой отель. И ваш гардероб должен быть соответствующим. Ваши черкески мне не нравятся. Сегодня вам доставят новые. Вы — трое грузинских аристократов, приехавших погулять во Францию…

— Я рядиться шутом не буду… — сказал Коба.

— Это я уже понял, — снова усмехнулся Красин. — Если не хотите рядиться шутом, вам придется стать слугою господ «князей»!

Я ожидал взрыва, но, к моему удивлению, Коба только сверкнул глазами и промолчал…

Вечером нам доставили новые черкески. Утром появился Красин с портфелем. Наш вид ему понравился. Камо в белой черкеске выглядел роскошно. Думаю, и я был неплох… Коба по-прежнему оставался в пиджаке и феске.

— Вы здорово похожи с вашим «слугой», — сказал мне Красин. — Это бросается в глаза, привлекает к вам внимание. Потому наклейте-ка… — И он вынул из своего портфеля… эспаньолку и усы! Оценил мой восхищенный взгляд и добавил: — Да, это чудесный портфель. Обычно ношу в нем бомбы…

Я вышел из вокзального туалета бородатым.

Пропускаю путешествие и первые впечатления от Парижа. Мы с Камо отправились смотреть знаменитые Елисейские Поля — выставку роскошных экипажей и туалетов. Коба преспокойно улегся спать, он так и не вышел из номера.

Убийство мецената

Утренним поездом мы вместе с Красиным выехали в Канны.

В номере каннской гостиницы Красин наконец назвал имя главного действующего лица: Савва Морозов.

Он был известен тогда всей России. Знаменитый богач и столь же знаменитый меценат. Но подлинную историю человека, которого нам предстояло убить, я узнал лишь потом. На свои деньги Савва построил здание Художественного театра. И здесь была не любовь к искусству, но вечное — «ищите женщину!». Савва Морозов, этот очередной Рогожин из Достоевского, влюбился страстно, «на всю жизнь» в актрису Художественного театра, первую красавицу русской сцены Марию Андрееву. Но Андреева играла не только на сцене.

Она играла и в жизни, причем в очень опасную игру. Она являлась членом нашей партии, агентом нашего ЦК. «Товарищ Феномен» — так называл ее Ильич.

Феномен умела заставить Савву раскошелиться и на ее роскошную жизнь, и на нужды нашей партии. На морозовские деньги издавалась ленинская «Искра» плюс две большевистские газеты — «Новая жизнь» в Петербурге и «Борьба» в Москве.

Фантастическими тратами Савва смог сделать невозможное — огромное состояние Морозовых начало таять. Возникли проблемы с кредиторами. Но безумные деньги продолжали утекать, ибо продолжалась любовь. Мать и родственники надумали объявить Савву недееспособным. В довершение катастрофы бедняга узнал, что «любовь всей его жизни» изменяет ему! Причем изменяет с другой «любовью всей его жизни» — самым популярным тогдашним писателем и самым близким его другом Максимом Горьким. Савва впал в тяжелую депрессию. Он решил покончить собой. Именно тогда его хороший знакомец Красин предложил Морозову, умирая, отомстить родичам — оставить все состояние большевикам. В присутствии адвоката был составлен страховой полис. Все свои деньги Савва в случае смерти завещал Марии Андреевой. Она должна была передать их партии.

Покончить с собой Морозов запланировал в Каннах, где был когда-то так счастлив со своей красавицей. Однако в Каннах, вдали от дел, депрессия ослабела. К нему приехала жена, постаравшаяся заменить в постели изменницу. К тому же Савва начал играть в рулетку. Играл по-крупному, но очень успешно. Новая страсть совершенно захватила его, и он… отложил самоубийство! Обо всем этом следившие за Морозовым агенты

партии сообщили Красину. Красин понял: деньги ускользают. И решил действовать. Нужны были исполнители. Ильич посоветовал нас… Но, повторюсь, все это я узнал потом…

Расположились мы в гостинице превосходно. Я занял великолепный номер на этаже Саввы, недалеко от его апартаментов. Камо поселился прямо над комнатами Саввы. Коба, как и положено слуге, занимал маленькую комнатушку в роскошном трехкомнатном номере Камо.

Утром Коба завтракал в номере, а мы с Камо — в ресторане. Недалеко от нас завтракал Савва с женой. Меценат был говорлив и жизнерадостен. В это время в зал вошел Красин. Савва увидел его и отчетливо побледнел. Быстро закончил есть и поспешно, почти бегом, вышел из зала. Сомнений не было: Морозов решил жить.

Вечером Красин в моем номере изложил план. Завтра ближе к ночи у него назначена встреча с Саввой. В это время, как выяснило наблюдение, жены в номере Саввы не бывает. В восьмом часу она обычно отправляется в театр или в кабаре. На самом деле она встречается со своим любовником, который приехал в Канны следом за ней. И возвращается в номер за полночь.

Красин условился с Морозовым о встрече в половине одиннадцатого. В этот час уже темно, в саду рядом с отелем играет джаз-оркестр. Музыка заглушит звук выстрела.

План был такой. Красин придет в номер к Морозову, спросит об обязательстве. В это время Камо и Коба, пользуясь темнотой, бесшумно спустятся из номера Камо на огромный балкон номера Саввы. Там и затаятся. Если Красин уходит ни с чем, он поднимает правую руку. Тогда тотчас после его ухода Камо и Коба входят в номер через балконную дверь. Коба схватит Савву, удержит, пока Камо выстрелит в висок. После чего вложит револьвер в руку Саввы…

Я в это время нахожусь в коридоре, обеспечивая прикрытие. Услышав выстрел, проверяю коридор. И по моему условному знаку «коридор пуст» они выходят из номера Саввы и переходят в мой — на том же этаже.

План мне понравился. Но тут заговорил Коба:

— Не странно ли будет такому солидному господину в богатой черкеске, — указал он на меня, — слоняться по коридору? То ли дело я — слуга! Может, меня послали вычистить сапоги или мой господин в номере даму принимает? — Он прыснул в усы. — Мое святое дело — торчать в коридоре!

Красин подумал, усмехнулся и согласился.

Итак, вместе с Камо я должен был теперь совершить

убийство. А Кобе надлежало ждать выстрела в коридоре. Всего лишь!

Тут я окончательно осознал, зачем Коба придумал эту историю с бедной одеждой. То была его типичная шахматная партия: делая первый ход, он уже просчитал последний. Он с самого начала решил ***не участвовать*** в убийстве. Понимал: если полиции удастся напасть на наш след, убийство такой знаменитости навсегда останется в его биографии. А он уже тогда, клянусь, думал о своем великом будущем!

В тот вечер в своем огромном номере Савва готовился ехать на рулетку. В половине одиннадцатого Красин отправился к нему в номер. Коба занял свое место в коридоре и теперь разгуливал между моим номером и номером Саввы.

Я перешел в номер Камо.

В наступившей темноте по веревке, страхуя друг друга, мы с Камо бесшумно спустились на морозовский балкон. Мы не раз проделывали подобное в Баку во время нападений на дворцы нефтяных королей.

Теперь мы стояли за балконной дверью… И хорошо видели обоих. Савва уже был во фраке. Разговор, видно, проходил нервно, оба много жестикулировали. Вдруг Савва направился к балконной двери и, продолжая говорить, ***открыл ее.*** Мы замерли. Он постоял на пороге, но, к счастью, на балкон не вышел.

— Простите, сударь, мне было немного душно, — сказал Савва, вернувшись к столу.

Теперь в открытую дверь мы слышали разговор.

— Я не могу сейчас. Я вообще сомневаюсь… надо ли это делать.

— Голубчик, ну вы же обещали женщине! — продолжал уговаривать Красин. — В чем же сомнение?

— Это хорошо, если ***там*** ничего нет… А если есть? Ведь грех-то какой — самоубийство. Я все думаю: может, лучше в монастырь? Вы не бойтесь, я вам отдам часть денег.

— Нам части мало, милейший. В России — революция! Бомб сколько нужно! И каждая, поверьте, в большую копеечку обходится! А купцы ваши, повидав Революцию, перепугались, деньги отсылать перестали.

— Я вас очень хорошо понимаю. И сочувствую… Но поймите и меня, сударь… Я не готов!

— Да что ж вы за дрянь-человек! Повторяю: вы обещали, голубчик. Извольте исполнить. Если бы я обещал…

— Вот вы и стреляйтесь. — И Савва положил руку в карман.

«Ба, да у него револьвер», — подумал я и показал Камо на оттопыренный карман.

Камо кивнул, он тоже заметил.

— Вы решительно отказываетесь?

— Не отказываюсь, просто не могу.

Красин пожал плечами и повернулся уходить.

— До встречи ***там,*** сударь, — вдруг насмешливо сказал Савва. — Надеюсь, ***здесь*** вы меня более не потревожите.

— Надеюсь, ***там*** встреча не задержится, — усмехнулся Красин и, ***подняв правую руку,*** вышел из номера — элегантный и фрачный.

Как по команде, в саду громко заиграл оркестр.

В это время Морозов, что-то напевая, повернулся к зеркалу, поправил бабочку. Теперь он стоял на редкость удобно, виском к балкону. Так что хватать его за руки не пришлось. Камо выстрелил. Пуля попала точнехонько в висок. Савва рухнул у зеркала.

Я бросился к нему. Он лежал недвижно, спокойный и даже какой-то усмехающийся, с выражением, которое я часто видел у покойников: «Наконец-то от всех вас отдохну»… Пока я размышлял, Камо заканчивал дело. Он надел перчатку, вынул револьвер из брюк Саввы и вложил в его руку.

И тотчас раздался в дверь тихий стук Кобы, означавший: коридор пуст.

Надо было спешить. Выстрел наверняка был слышен сквозь музыку…

Мы благополучно покинули отель. На следующий день утром все газеты написали о «самоубийстве русского миллионера». Феномен после смерти Саввы получила огромные деньги и передала их партии.

Битва за террор

А потом был Лондон. Здесь проходил очередной съезд Российской социал-демократической партии. Именно здесь мы с Кобой впервые увидели Троцкого.

…Он появился на съезде в ореоле славы. Приехал из России — из гущи Революции. В отличие от Ленина и прочих эмигрантов, страстно споривших в парижских и женевских кафе о Революции, Троцкий ее делал. В последние дни великого Петербургского совета Троцкий был его вождем. Ему внимали тысячные толпы, а не кучка дымящих дешевыми папиросками и плохо слушающих друг друга эмигрантов.

Когда Троцкий поднялся на трибуну, маленький зал взревел от восторга.

Коба, бледный, злой, сверкая желтыми глазами, смотрел на этот неописуемый восторг. И шептал:

— Как они могут… этого жида!

Он не хотел знать никакого другого бога, кроме Ленина, он был ревнив.

Но никого, кроме меня, мнение Кобы не интересовало. Никому не было дела до неизвестного косноязычного провинциала…

Съезд стал триумфом не только Троцкого. На одном из заседаний выступил неизвестный дотоле оратор. Полный молодой человек с одутловатым еврейским лицом и русской партийной кличкой — Зиновьев. Его блестящая речь потрясла делегатов. Помню, Зиновьева почти единогласно избрали в Центральный комитет РСДРП. И в Лондоне он сразу стал знаменитым. Сам Троцкий написал о нем восхищенную статью в партийной газете.

Только я знал, что испытывал мой самолюбивый друг Коба, наблюдая это стремительное возвышение молодого говоруна (опять — еврея!) и видя небывалую славу другого самовлюбленного еврея — Троцкого. При этом осознавая, что о его собственных, воистину великих заслугах партия никогда не узнает. О них был осведомлен лишь один из партийных вождей — Ленин. Но, как потом оказалось, — к счастью для Кобы.

На Лондонском съезде произошло нечто, для нас непоправимое. Один за другим выступили ораторы-меньшевики. Они говорили об очевидном — Революция в России умирает, и наши боевые дружины экспроприаторов все чаще превращаются в банды обычных грабителей. Приводили множество примеров, когда деньги от экспроприаций тратились боевиками на пьянство,

проституток, кокаин. Все это отчаянно компрометировало партию. По предложению фракции меньшевиков съезд проголосовал за резолюцию, запрещающую террор и экспроприации. И принял ее.

Теперь мы становились как бы вне партийного закона.

Я посмотрел на Кобу — он только презрительно улыбнулся. Сразу после заседания исчез.

Перед отъездом я отправился в последний раз погулять по Лондону. Помню, как свернул с шикарной Брук-стрит на тихую улочку. В маленьком парке гувернантки пасли малышей, этаких джентльменов — лилипутов в черных сюртуках и цилиндрах. Они играли в серсо.

Рядом с парком был дорогой ресторан. Бросив рассеянный взгляд сквозь витрину, я увидел… Кобу и Ленина! Ленин в серой щегольской тройке и Коба в своем вечном тогдашнем наряде — русской косоворотке, пиджаке и феске. Они о чем-то беседовали. Точнее, говорил, жестикулируя, Ленин. Я сразу почувствовал: этого мне видеть не надо. И торопливо скрылся.

На следующий день Коба сказал мне:

— Надеюсь, ты забудешь то, что видел.

— Знаешь, я уже забыл.

— Вот и славно, дорогой. Завтра выезжаю в Берлин вместе с Лениным, — (тот жил тогда в Берлине). — Там мы с Ильичем подробно оговорим план дальнейших действий. Намечается работенка.

Он панибратски сказал «мы с Ильичем», чтобы я понял: их связывали теперь какие-то отношения.

— Ты, — продолжил Коба, — завтра возвращаешься в Тифлис. Найдешь Камо, и подберете десятка два удальцов. Это вам на расходы. — И нищий Коба преспокойно передал мне сверток с ассигнациями. Большая была сумма, я бы даже сказал — огромная.

— Постановление съезда к… — Коба привычно выматерился и добавил: — Ильич давно возмущается, что Бог послал ему таких товарищей, как эти мудаки-меньшевики. В самом деле, что за народ все эти Мартовы, Даны, Аксельроды — жиды обрезанные! И на борьбу с ними не пойдешь, и на пиру не повеселишься… Вот отменили боевые дружины… А на что жить будут, кофей попивать и по заграницам ездить, на что? Подпольные квартиры содержать — на что?

— А что мы скажем нашим товарищам? Все-таки постановление партии… — начал я.

— Скажем, что Революция в России провалилась. Интеллигенция от нас отшатнулась, бунт народный испугал

говнюков. Денег от купцов теперь никаких. На морозовские деньги только и живем. Точнее, доживаем. Единственный способ добывать денежки — это по-прежнему эксы и боевые дружины. Ильич учит: «Плюйте на прекраснодушных! Революцию не делают в белых перчатках».

Я понял: все наши действия одобрены Ильичем…

Уже впоследствии я узнал, что тотчас после съезда, запретившего террор, Ленин создал некое тайное образование внутри партии. Это была ***«тройка».*** Ее существование скрывалось не только от полиции, но и от членов партии. Подполье внутри подполья. В «тройку» вошли: Ленин, неизвестный мне тогда большевик Сольц и известный мне Красин… Теперь эти трое руководили террором и экспроприациями.

Но, как и в нашем детстве, рядом с этими тремя «мушкетерами» был четвертый. Они придумывали, а он делал! Роль Д'Артаньяна опять исполнял Коба. И скажу с гордостью: я находился подле него!

С одобрения «тройки» Коба и начал организовывать наш главный подвиг — «тройке» стало известно, что в Государственный банк Тифлиса везут деньги из столицы.

Великое ограбление

Вся наша боевая дружина, согласно постановлению съезда партии, вынуждена была сдать оружие. После чего мы с Камо выехали в Берлин… за новым оружием. Купленные новенькие револьверы хранились у Ильича в его берлинской квартире. Нам нужно было перевезти их через границу. Дело несложное, но с Камо, как говорится, не соскучишься…

Ленин, его жена и мать ждали нас в квартире. Двадцать новеньких револьверов лежали на столе.

Мы приехали вечером и всю ночь до утра обдумывали, как их провезти в Россию. Большие были споры! Ленин оказался в этом деле профаном. Но все придумала… его мать! Мы с Камо были тогда очень худые. И вдова действительного статского советника аккуратно развесила на наших спинах и на груди, на веревочках, по десятку револьверов. На них мы надели рубашки и пиджаки.

На следующий день два упитанных кавказца шли по Берлину.

На вокзал нас провожала жена Ильича Надюша. Надюша Крупская была тогда еще молода, но очень нехороша собой. Жидкие волосы, суховатая, пучеглазая (у нее были отчетливые признаки базедовой болезни). За эти глаза навыкате она получила партийное прозвище Селедка. Сам Ильич нежно звал жену Миногой. У них не было детей, и Надя болезненно любила кошек. И вот по дороге на вокзал, на наше несчастье, она увидела беленького котенка, сидящего в раскрытом окне особняка. Она простодушно восхитилась:

— Какая прелесть этот котик!

Этого говорить не стоило! Рыцарь Камо подпрыгнул тотчас, причем удивительно высоко, в прыжке схватил котика и, вернувшись на нашу грешную землю, гордо протянул его Надюше — несчастного, жалобно мяукающего:

— Возьми, дорогая, если нравится.

К сожалению, хозяева котика были против. Из дома выбежал толстый бюргер с социал-демократической карикатуры. За ним — жена в папильотках. Поднялся крик, обещали вызвать полицию. Этого мне, обвешанному револьверами, совсем не хотелось. Но Камо… Помню, с каким изумлением он смотрел на кричавших. Он сказал бюргеру:

— Почему кричишь? Мне понравился твой котик, я взял. Если нравится что-нибудь у меня — тоже бери. Вот нравится тебе мой пиджак? Бери. Я что — против?

В припадке обычной своей щедрости Камо совсем забыл про пистолеты под пиджаком. Но, к счастью, я успел схватить его за

руку, и мы ограничились извинениями и возвращением котика.

Камо был простодушен до глупости и хитер до мудрости.

Вскоре мы благополучно вернулись в Грузию с оружием для нашего маленького отряда.

Деньги было решено захватить, когда их повезут из почтовой конторы в отделение Государственного банка. Наши люди в банке сообщили: сопровождать деньги будет усиленная охрана — пять казаков, трое городовых, три солдата-стрелка и банковские служащие. Поедут на двух экипажах, повезут двести пятьдесят тысяч рублей в одном мешке.

Это передал нам Коба. Он был в курсе всего, как обычно. Сообщил он и печальное: о готовящемся нападении узнали. Полиция усилила охрану вокруг почтового отделения. Но, к счастью, они не знали главного — где и когда мы нападем…

Нас было всего два десятка. Но у нас имелся филигранно проработанный план Кобы. Правда, в самом начале операция едва не сорвалась. Динамит очень капризен; делая бомбу, надо быть предельно осторожным. Камо же поторопился, и бомба взорвалась. Результат: его помощник убит, у Камо повреждена кисть руки, начал дергаться глаз. Но железный человек сказал:

— Пустяки!

И он наступил — наш главный день, 26 июня 1907 года.

Одиннадцать сорок утра. Полуденный жар привычно плавил город. Коба сидел на площади, в ресторане «Тилипучури» и, как полководец, готовился наблюдать за боем. С ним сидели трое боевиков — резерв.

Я стоял с бомбой на выезде с площади в сторону Солдатского рынка. Как обычно, Коба позаботился об алиби. На этот раз — о моем. За несколько минут до нападения он вызвал хозяина ресторана и шумно и долго скандалил — ругал за плохое вино.

Ближе к полудню Эриванская площадь в Тифлисе всегда полна народа. Пестрая, веселая южная толпа, среди которой разгуливали наши боевики…

Еще в половине одиннадцатого две наши женщины, следившие за почтой, подали условный знак. Это означало, что кассир и счетовод Государственного банка получили на почте деньги и грузят их в фаэтон.

Фаэтон сопровождали два вооруженных стрелка, двое других уселись во втором фаэтоне, который должен был следовать за первым.

Оба фаэтона окружил казачий конвой. После чего сей поезд неторопливо тронулся.

В полдень он проехал вблизи дворца наместника и выехал на Эриванскую площадь. Одновременно на площадь вкатился наш

фаэтон, в котором сидел мужчина в форме офицера полиции (Камо).

Поезд с деньгами уже начал сворачивать с площади, когда сверху, с крыши дома князя Сумбатова, наш товарищ швырнул в него разрушительную бомбу. Взрыв получился страшной силы, вылетели все окна во дворце князя и во всех домах в округе. Одновременно началась пальба с тротуаров, в фаэтоны полетели бомбы. Трое казаков конвоя пали замертво, двое городовых улеглись рядом… По тротуару ползали, стонали раненые прохожие. На площади началась паника. Поезд поневоле остановился. И тогда в огне, в дыму наши боевики ринулись в фаэтон. Вышвырнули оттуда обоих стрелков… Но больше там ничего не было. К счастью, Камо понял: ошиблись! Остановили не тот фаэтон. В это время испуганные кони уже мчали прочь с площади второй фаэтон — с деньгами. Тогда Камо, изображая офицера полиции, матерясь и стреляя, погнал свой экипаж за ним.

Коба не зря поставил меня на выезде с площади. Упряжка с деньгами мчала прямо ко мне. И тогда я бросился наперерез и швырнул бомбу под ноги лошадям. Помню: попадали лошади, попадали прохожие… Меня отбросило на мостовую. В грохоте, в дыму Камо и наши ребята ринулись в остановившийся экипаж. Выкинули на мостовую несопро-тивлявшихся, обезумевших от ужаса счетовода и кассира. Вынесли злосчастный мешок. В нем оказались почти все двести пятьдесят тысяч… Не хватало только девяти тысяч, их должны были везти завтра. Передавая мешок из рук в руки, в считаные секунды мы перебросили его в фаэтон Камо. Туда же швырнули контуженного меня — на мешок с деньгами… И помчались прочь. Никогда не забыть мне зверское лицо Камо и то, как он стрелял в упор в появившегося перед фаэтоном казака…

Падает навзничь казак, оторопело наблюдают городовые…

И в следующий миг все исчезло — и мы и фаэтон. Растворились в жарком воздухе…

Добычу сначала хранили у меня под обивкой дивана. Потом переправили за границу нашим. Эти деньги и стали западнею для многих из них.

Купюры были крупные, по пятьсот рублей, и по наивности (неопытности) мы не предполагали, что номера их переписаны. Номера тотчас были сообщены русским и европейским банкам. И наши товарищи попадались при попытке разменять их за границей.

Попался в Берлине и сам Камо…

Русская полиция потребовала его выдачи. Если бы его

выдали, наверняка — петля. И вот тогда он совершил самый фантастический из своих подвигов. Симулировал безумие. Он сотворил невозможное. Его проверяли берлинские психиатры, тогда — лучшие в мире. Три года он водил их за нос. Три года они верили и лечили его. И наконец, решив, что он безнадежный, выдали его России для… дальнейшего лечения. Он и здесь симулировал безумие столь же успешно. А пока его лечили, он… бежал!

Я увидел Камо в Баку после побега. Он очень изменился — поседел, кожа как-то сморщилась, постарел лет на двадцать. Но смеяться не разучился. Он рассказал мне:

— Они, конечно, свое дело знают, науку свою знают… Но вот кавказцев не знают. Уверяю тебя: им всякий кавказец покажется сумасшедшим! Потому что он свободен. Помнишь, как на меня вылупился тот немец с кошкой. Он не мог понять, что я взял его кота потому, что я свободный в своих желаниях, в своей доброте. — Помолчав, он добавил: — И еще! Есть такое понятие — «революционная ярость». Я не понимал раньше, брат, что оно значит. А вот тогда, стоя перед докторами, понял! Сытые стоят, уверенные в себе! А я все вспоминал, все видел тебя на мешке с деньгами, Эриванскую площадь и убитых, и кричащих раненых! И пришел в ярость, думаю: так вас разэтак! Я вас перехитрю! И перехитрил!..

И я тоже часто вспоминал: уносившийся фаэтон, мертвые казаки, стонущие, изуродованные прохожие… Кровь…

Много крови всюду, где появляется мой друг Коба.

В то время из-за этих проклятых похищенных денег попался и я. Я закупал на них запалы для бомб. После моего провала было решено оставшиеся купюры — почти сто пятьдесят тысяч — уничтожить. Не принесли нам пользы эти деньги в крови…

Из тюрьмы я бежал. Приехав в Грузию, узнал: Коба влюбился.

Любовь и смерть

Это случилось на дне рождения Алеши Сванидзе. Алеша, красавец сван с голубыми глазами, был теперь большевик, подпольщик, наш товарищ по партии.

В тот вечер рядом с ним стоял узкоплечий, тщедушный, какой-то ущербный Коба. Как же нелепо и жалко он выглядел в сравнении с Алешей. Да и с другими джигитами, пришедшими тогда на праздник… Все мы были в щегольских черкесках, а Коба — по-прежнему в косоворотке, пиджаке явно с чужого плеча. На голове — вся та же нелепая турецкая феска.

Присутствие стольких щеголей объяснялось просто. Красота — семейная черта Сванидзе. И сейчас все взгляды были обращены в угол комнаты. Коба глядел туда же — горящими глазами.

Там на стуле сидела она — Като. Екатерина Сванидзе, сестра Алеши. Сидела чинно, скромно, как и полагается хорошей грузинской девушке.

— Я хочу жениться на ней! Она мне будет настоящей женой, Фудзи… — Все это он шептал мне, догадываясь, конечно, что и я был влюблен в нее. Но ему, как всегда, это было безразлично. — Как же она хороша! — продолжал шептать Коба. — И, слава богу, не похожа на наших блядей-товарищей. — Это он о свободомыслящих революционерках, скитавшихся по нелегальным квартирам и заодно по постелям революционеров. — Она настоящая! Женюсь! Иди, знакомь меня с нею…

Я хотел возразить, но… Но повел его к ней!

…Он подчинил ее сразу, как всех нас. Впоследствии Папулия Орджоникидзе кому-то объяснял: «Да, маленький, да, рябой. Но зато в нем есть эти чары… любимого у нас, кавказцев, романтического разбойника, грабящего богатых во имя бедных. Наш национальный герой — это всегда Робин Гуд».

Думаю, он не прав. Екатерина была набожная девушка, и рассказы о делах Кобы могли ее только напугать. Коба подчинил ее не делами, а глазами. В его взгляде, клянусь, таился некий, если определить упрощенно, «магнетизм, пока неизвестный науке». Во всяком случае, уже через неделю бедная красавица смотрела на него такими же собачьими, преданными глазами, как все мы, давно ставшие его верными псами…

Когда он предложил ей стать его женой, она тотчас, без колебаний, счастливо согласилась, но… Она была так же религиозна, как его мать. И мучилась, не смея попросить его. Но он сам предложил: «Будем венчаться».

Представляю ее счастье, когда он сказал ей это.

Думаю, это было последним ее счастьем…

Мне он объявил кратко: «Венчаемся завтра. Ты придешь, но об этом никому ни слова. Никто не должен знать. Будешь только ты и Алеша».

Еще бы! Церковный брак считался позором для революционера. Я не помню другого случая, чтобы революционер-интеллигент не только женился на верующей, но еще и венчался с ней.

Но, убивая и влача безбытное существование подпольщика, мой друг Коба мечтал о настоящей семье. О семье, которой был лишен в детстве. Создать такую семью могла только невинная, религиозная девушка. И он нашел ее… на ее беду.

Коба хотел, чтобы все было, «как у людей». Он решил быть нарядным на венчании. Мы с ним одного роста и одного сложения. Я предложил ему свою весьма элегантную «тройку», но он предпочел пиджак куда великолепнее. Этот пиджак был у третьего «мушкетера» — у нашего друга детства огромного Пети. (Петя в это время стал известным борцом и сильно разбогател.)

В маленькой церквушке они стояли перед старым священником: высокая красавица со счастливыми глазами и маленький рябой Коба в роскошном пиджаке, который был ему уморительно велик.

После церемонии я передал священнику деньги от Кобы — для бедных.

Священник взял деньги, вздохнул и вдруг сказал:

— Несчастная девушка. Передайте ей, что я буду молиться… — Он помолчал и добавил: — ***За него…***

Теперь они жили в Баку. Она работала швеей. Коба по заданию Ильича продолжил наши подвиги на нефтяных промыслах. Он обложил хозяев нефти налогом — и в случае невыполнения мы немедленно поджигали нефть или организовывали забастовки.

Помню, как однажды Коба не получил обещанных денег.

— Ничего, — сказал он. — Утром заплатят вдвое.

И уже вечером багровое зарево встало над промыслами.

Мне он приказал:

— Поезжай в контору, передай: если денег не будет к утру, сожжем все хозяйство.

Передавать ничего не пришлось. Как только я вошел в здание администрации, ко мне бросился приятнейший господин — сама услужливость:

— Вас ждут!

В кабинете мне молча передали портфель с деньгами.

Из всей огромной суммы Коба оставил себе жалкие копейки, он по-прежнему вел полунищую, бродячую жизнь. Только теперь в этой жизни появилась еще одна несчастная — его жена. Боже, как же я ее жалел!..

За нами, конечно, должна была охотиться полиция. Должна была, но…

«Воруют» — такое самое краткое определение России дал наш великий историк. Коба щедро платил бакинской полиции из тех средств, которые мы получали от хозяев промыслов. Полиция была у него на содержании! Она как бы тоже стала участником революционного движения.

Но береженого и Бог бережет. Как правило, Коба ночевал на нелегальных квартирах. Как и положено, все время меняя жилища. Бедную жену он посещал внезапно и только глубокой ночью, чтобы исчезнуть на рассвете. Иногда опасался приходить в свой дом неделями.

В те нечастые дни, когда он появлялся дома, его сопровождал я. Я должен был отстреливаться, если нагрянет полиция, чтобы он мог уйти. Он говорил:

— Мне нельзя попадаться, Ильич и партия останутся без денег. Ты отсидишь за меня.

До смерти буду помнить их маленький глинобитный домик на промыслах. Так похожий на дом его детства. Но нищее их жилище, в отличие от того дома, сверкало чистотой. Екатерина работала швеей, и все было покрыто ее вышивками и белым кружевом.

Я спал в крохотной прихожей за дверью, точнее, за простыней, повешенной вместо двери. И слышал их голоса:

— Как же я по тебе скучаю… Когда ты еще придешь?

— Приду.

— Вдова… при живом муже.

— У товарища Кобы две жены: ты и Революция. И он должен избегать ареста. Так велит ему вторая жена. — Он уже тогда начал говорить о себе в третьем лице.

— Первая жена. Так вернее, — заметила она.

— Ты права. Она первая. Она — главнее.

И я должен был все это слушать. Я, любивший ее! Да, я любил ее! Однажды мне даже показалось…

В тот день она смотрела на меня с невыразимой нежностью. И когда я уходил, сказала:

— Приходи почаще. Я так люблю на тебя смотреть… Ты так похож на него… Иногда мне кажется, что он тебя поэтому посылает ко мне… чтоб его не забывала.

Она родила ему мальчика. Сына назвали Яковом.

Как-то он не приходил целый месяц и, наконец, послал к ней меня с жалкими деньгами. Она мне сказала, краснея:

— Я теперь с грудным младенцем. Мы уже не сводим концы с концами. Может, пришлет… немного побольше?

Я передал Кобе.

— Ты знаешь, я презираю деньги, — ответил он мне. — Они всего лишь часть проклятого мира, который мы пришли уничтожить. Мы построим мир, где не будет жалких денег. Скажи ей это, и пусть она потерпит. Я ведь все отсылаю на нужды партии. Ленин требует. Пусть сидят побольше в библиотеках. Марксизм — это компас. Без него как им вести наш корабль? Да и полиции надо платить…

Потом она заболела… У нее оказался туберкулез, и она стремительно угасала. Мальчика перевезли в семью ее родителей. Вскоре я отвез к ним и ее.

Екатерина всю дорогу молчала, только кашляла. Она стала прозрачная, и кожа будто светилась. И только когда я уходил, попросила:

— Пусть он придет… побыстрее… хоть на минутку. Ты передай.

Но в дом ее родителей Коба не приехал.

И тогда она вернулась в их жалкий домик — умирать.

Когда Коба понял, что она умирает, он стал безумный.

— Не уходи, — шептал он. — Голубка моя, только не уходи… Подожди.

Он схватил меня за пуговицы и закричал:

— Беги за врачом! Вези его!

— На какие шиши?

Он оттолкнул меня и выбежал из дома. А я сидел и смотрел, как она угасает.

Она вдруг открыла глаза и сказала:

— Спасибо вам, милый Фудзи… за все.

И я понял — она все знала.

Она добавила:

— Позаботьтесь о нем… ради меня.

Я не успел ответить. Раскрылась дверь… Он привез самого лучшего, самого дорогого доктора в Баку. Как потом выяснилось, он ворвался к нему в дом, угрожая ножом, посадил в экипаж.

Первым вошел врач. Коба шел за ним и долбил одно и то же:

— Слушай, вылечи ее, друг. Лечи, лечи ее, дорогой… Я заплачу. Много. Очень много. Сколько ни скажешь, все достану. Я клянусь!

Доктор велел нам выйти из комнаты.

Мы стояли за занавеской, а он осматривал Екатерину.

Коба сказал мне:

— Постереги его, я быстро, — и опять исчез в ночи.

Наконец доктор поднял занавеску:

— Где ваш друг?

— Он просил подождать. Он очень скоро вернется.

Доктор печально усмехнулся и сел у стола.

Коба и вправду вернулся почти тотчас. Молча выложил на стол перед врачом гору ассигнаций. Убил он кого-нибудь, ограбил или где-то поблизости был партийный тайник — я не знаю.

— Возьми все, дорогой, только лечи.

— Заберите ваши деньги, — сказал доктор. До сих пор слышу, как брезгливо он это произнес. — Я уже не нужен вашей жене, ей нужен священник. Туберкулез… И крайнее истощение… Мне — поздно.

Коба окаменел. Потом начал что-то шептать. Затем сел у кровати прямо на пол, уткнул голову в ее руку. Она гладила его другой рукой по волосам, а он в голос заунывно плакал. Тогда только я узнал, что он умеет плакать. А доктор стоял у двери-занавески и смотрел на них.

— Какая же она красавица, — сказал он. И ушел…

Она отошла тихо, ночью. Как она была красива в гробу!

У меня сохранилась фотография: Коба с всклокоченными волосами стоит над ее гробом, испуганный, несчастный, потерянный. Рядом — ее родители.

Меня на фотографии нет, потому что я снимал.

В следующий раз мы встретились с Кобой через несколько лет — в ссылке в Туруханске. Я не пишу ни о своих революционных делах, ни о своей жизни в это время. Потому что рассказ мой о нем — о Кобе.

Тайна Кобы

Кажется, это случилось в 1913 году. Кобу арестовали в Петербурге на благотворительном вечере. Это был обычный благотворительный вечер в пользу неимущих студентов. На самом же деле там Коба собирал деньги для партии.

Он жил в это время в подполье, на нелегальной квартире в узенькой комнатушке для прислуги. И оттуда должен был руководить фракцией большевиков в Думе. Впрочем, руководить — это слишком сильное слово. Его задача была передавать думцам указания Ленина, которые Ильич регулярно присылал из-за границы. (Точно так же, как я руководил в свое время грузинскими большевиками — передавал им указания Ленина.)

В этой комнатушке он ютился не один. Здесь же скрывался другой большевистский руководитель — некто Арон Сольц, задыхающийся от астмы крохотного роста еврей-фанатик, помешанный на идеях Маркса. О чем бы с ним ни говорили, он вспоминал цитату из Маркса. И вступал с собеседником в яростный спор.

Кобе и Сольцу вдвоем приходилось ночевать на одной узкой кровати. Сольц был глуховат и сильно храпел. Коба подолгу не мог заснуть.

Здесь я позволю себе небольшое отступление. Отношение Кобы к этому Сольцу казалось мне всегда загадочным. И не только мне…

В начале тридцатых Сольц получил квартиру в знаменитом Доме на набережной, где жили известнейшие старые большевики и многие руководители партии и государства. Жил там тогда и я.

В тридцатые годы Сольц занимал видное место в Комиссии партийного контроля и в Верховном суде. За бессребреничество и принципиальность его именовали «совестью партии».

Помню, в 1936 году, в годовщину Октябрьской революции, в дни начавшегося террора, когда в нашем доме арестовывали каждый день, Сольца пригласили сделать доклад в Музее революции. Он вышел на трибуну и после града цитат из Маркса перешел к событиям Революции. Вместо того чтобы называть ее, как было тогда положено, «Великая Октябрьская социалистическая», он именовал ее, к большому испугу слушателей, «Октябрьским переворотом». То есть так же, как и мы все в 1918 году.

Его тотчас поправил председательствующий. Сольц немедля затеял с ним спор. Председательствующий, совершенно потерявшись, сослался на Сталина:

— Великий товарищ Сталин, который вместе с великим Лениным был отцом Великой Октябрьской революции, называет ее именно так!

В ответ непреклонный Сольц немедленно сообщил:

— Товарищ Сталин никакого отношения к Октябрьскому перевороту не имеет, в дни переворота мы о товарище Сталине ничего не слышали.

Возмущенные, точнее, насмерть перепуганные слушатели попросту стащили его с трибуны. Все это при мне рассказал Кобе тогдашний глава ОГПУ Ежов.

— Негодяя Сольца, думаю, мы сегодня же арестуем, — закончил Ежов.

— А ты не думай, — вдруг мрачно осадил его Коба, — думать буду я. Сольца оставь в покое, а вот мерзавцев-провокаторов, пригласивших этого сумасшедшего, отправь туда, где им и надлежит быть.

Организаторы вечера отправились «туда, где им надлежит быть». Сольца же поместили на неделю в психушку. Потом вернули в наш злосчастный дом. Правда, все свои должности он потерял, но в партии остался…

В 1938 году, когда Коба заботливо добивал ленинскую гвардию, Сольц написал ему гневное письмо, где последними словами клеймил главного прокурора на всех процессах Андрея Вышинского. Коба в бешенстве разорвал письмо и велел Сольца отправить… снова в психушку. Ко всеобщему изумлению! Ибо всех отправляли в это время совсем в другие места. Сольц вновь вернулся из психушки живой и невредимый. Я встретил его, спокойно гуляющего во дворе нашего Дома на набережной.

Коба его загадочно щадил. Более того, Сольц получал персональную пенсию старого большевика. И пожалуй, только я знал почему.

Это и была одна из тайн Кобы.

Уже в 1907 году распространился упорный слух, что Коба, барс Революции, бесстрашный боевик-провокатор. Особенно неистовствовал один из самых влиятельных наших кавказских большевиков — Шаумян. Помню, как он приехал ко мне ночью. Размахивая руками, тряся черной гривой, сильно плюясь, он кричал со всем нашим южным темпераментом:

— Ты его друг! Объясни, дорогой, как это ему удается так легко бежать из ссылок… И не один раз, и не два. Полиция у нас злая и умная. На собственной шкуре знаю, и ты знаешь. А вот с ним — добрая и глупая. Почему, дорогой? Объясни нам, пожалуйста, как ему удается, убежав из ссылки, с его рябой грузинской харей и с русским паспортом проехать за границу

через всю Россию? Хотя он в розыске, его фото лежит во всех жандармских отделениях, на всех крупных станциях?.. Молчишь? И правильно! И еще… После побегов из ссылки, как все знают, опасно появляться в тех местах, где ты жил до ареста. Он же преспокойно, как говорят по-русски, «живет-поживает и добра наживает» в тех же местах… К примеру, в Тифлисе. И еще! Год назад меня арестовали на конспиративной квартире, о ней знали только я и он. Вчера полиция совершила набег на нашу типографию, о которой опять же знали я и он. Мы его спрашиваем: «Как могло случиться такое?» Он с усмешкой: «Я выдал. Если хочешь так думать — думай. Мне это не мешает». И ушел…

— Но Коба устраивает забастовки, пожары на промыслах, добывает большие деньги для партии! — жалко возразил я.

— Про промыслы лучше не говори! Ты все понимаешь сам! После каждой такой забастовки, после каждого вашего поджога цены на нефть скачут вверх, и хозяева только потирают руки. Они с удовольствием платят не за то, чтобы вы не устраивали забастовки, а за то, чтобы их устраивали! И за пожары платят… А рабочие после таких забастовок как получали гроши, так и получают!

Он замолчал. Молчал и я. Потом Шаумян вынул из пальто браунинг, положил на стол:

— Есть постановление Бакинского комитета РСДРП о борьбе с провокаторами. Ты его друг.

Ты — кавказец. И тебе смывать наш общий кавказский позор. — Он протянул мне бумагу. — Мы тут составили прокламацию. Положишь на поганое тело. Даем тебе два дня.

Я взял браунинг, бумагу отдал ему. И сказал:

— Мы все очень горячие парни. Нельзя такое решать без Ильича. Поезжай к Ильичу. Расскажи ему все, и, если он решит, клянусь: я его убью. В тот же день убью.

Ночью я отправился на промыслы к Кобе. Екатерина тогда еще была жива. И он решил, что я от нее.

— Нету денег, — сразу начал он.

Я грубо прервал его и передал все. В заключение сказал:

— Тебе надо бежать.

Помню, наступила тишина. Если бы он согласился бежать, я, пожалуй, тотчас убил бы его. Но его глаза, бешеные, желтые, уперлись в меня.

— Ай, ай, ты тоже поверил? Еще другом называешься! К Ильичу ты правильно отправил. За это спасибо. Может, за это я тебя прощу…

Уже через день Кобу арестовали! Это часто делала полиция,

спасая от нас раскрытых провокаторов. В тот день я пожалел, что не убил его.

Вскоре из Женевы (Ленин был тогда там) вернулся Шаумян. Я понимал: узнав о поспешном аресте Кобы, он устроит мне веселую жизнь!

И вот мы встретились с ним. Но вместо того чтобы начать кричать, к полному моему изумлению, Шаумян благостно сообщил:

— Нашего бедного Кобу ссылают на север. Я слышал, у него ни денег, ни теплой одежды. Давайте соберем ему деньги…

Я понял, что это и есть удивительный результат его поездки к Ильичу. И попросил его рассказать о разговоре с Лениным. Вместо рассказа он молча показал мне бумагу. Несколько строчек, написанных Лениным. Причем, подчеркивая их важность, Ленин написал их на бланке ЦК РСДРП: «Всякий, кто будет продолжать клеветать на товарища Кобу, будет немедленно исключен из рядов партии. ***Ульянов».***

— Но что же все-таки сказал тебе Ильич?

Шаумян только усмехнулся и… промолчал. В нашей партии все было тайной, к этому я уже тогда привык.

Арестованного Кобу отправили в очередную ссылку на север. Из ссылки он снова сбежал с обычной легкостью. Потом было знаменитое, уже описанное мною нападение на Эриванской площади.

После чего мы с Кобой долго не виделись. Мне пришлось покинуть Россию, я жил в эмиграции за границей. До меня доходили слухи, что Коба еще раз арестован и опять все так же странно легко бежал из ссылки. В это время его избрали в ЦК — по личной протекции Ленина.

Причем после очередного побега Коба умудрился проехать в Вену. Хотя на всех железных дорогах лежала очередная жандармская телеграмма с приказом о его поимке, с описанием примет и фотографиями. Узнал я также, что он совсем отошел от эксов и боевой наш отряд распущен…

Теперь Коба жил в Петербурге на подпольных квартирах. В это время и случился тот самый благотворительный вечер, где его арестовали в шестой или седьмой раз (не помню точно).

Но на этот раз его отправили в гибельный край — в Туруханск. Я был уверен, что оттуда, как обычно, он легко сбежит. И ждал его в Питере. Но, к моему изумлению, в Питере он не появился. Вместо этого из Туруханска начали приходить жалобные письма. Несколько человек, близких к Ильичу, — Крестинский, семья большевика Аллилуева, с которыми Коба дружил, и я — все мы получили похожие послания. Коба

жаловался на голод, холод, нищету. У меня сохранилось такое письмо ко мне, написанное по-грузински:

«Кажется, никогда еще не переживал такого ужасного положения. Деньги все вышли, у меня подозрительный кашель в связи с усиливающимся морозом. Здесь нет овощей. Мне нужно запастись на зиму хлебом и сахаром, нужно молоко — согреть легкие, нужны дрова… но нет денег, здесь все дорого. От губительного климата, однообразия пейзажа — тупой снежной равнины, низкого стального неба, тьмы полярной ночи — нам, привыкшим с детства к горам, буйным рекам, зелени, солнцу и голубой лазури, легко сойти с ума…»

Но вместо того чтобы, как обычно, бежать из этого ужаса, он почему-то покорно продолжал жить в нем.

Я не смог ему помочь. Меня самого арестовали в начале 1913 года… Но через год началась Первая мировая война, и арест спас меня от призыва на фронт.

Меня отправили в село Монастырское, в тот же Туруханский край следом за моим другом.

Это было ужасное путешествие. Арестантский вагон показался мне адом (хотя он был раем в сравнении с арестантскими вагонами Кобы, которые мне придется увидеть впоследствии). Длинный, бесконечный путь. Через зарешеченное окошечко — облака, леса, уральские горы… А потом — печаль и раздолье сибирской равнины… Пересадка на телеги в лютый мороз. На телегах въехали в Красноярский край. Потом лошадей сменили на оленей… Затем оленей поменяли на собак с нартами. По замерзшему Енисею приехали на край света в село Монастырское.

Село считалось культурным центром в этом диком и пустынном краю. Здесь были школа, церковь, полицейские власти. Жил здесь и сам полицейский пристав. Сюда ссылали важных политических заключенных.

Но Кобы в Монастырском я не нашел. Оказалось, его отправили жить в Курейку, где жили революционеры как бы второго разряда…

Курейка — крохотный поселок, затерявшийся за Полярным кругом в беспредельной снежной пустыне. Две сотни километров севернее нашего Монастырского — за краем света. Коба был прав: в Туруханском крае не произрастали ни хлеба, ни овощи. Но насчет голода он поэтически преувеличил: бескрайний Енисей был полон рыбы. Попадались такие гигантские осетры — человек не дотащит! И хлеб был дешев — жители пекли его сами и вдоволь. Но для нас, детей солнечного юга (здесь он опять прав), это были гибельные места. Свирепая зима с лютыми морозами и

бесконечной ночью. Черная мгла тянется круглые сутки. Изо дня в день! Наконец проклятая полярная ночь сменяется холодом и сыростью, пробирающими до костей, — наступает полярное «лето». Под стальным, ножевым небом, закрывая его, поднимаются беспощадные тучи мошкары. И вокруг — однообразие, мучающее наш грузинский взор. Наверху — унылое небо без конца и края и столь же унылый, ровный простор без конца и края — внизу… В этом треклятом месте остановилось время. Здесь овладевает безнадежность. Наши товарищи порой не выдерживали — кончали с собой.

Тогда по всей стране шли непрерывные торжества — трехсотлетие Дома Романовых. Иногда до нас доходили газеты, и мы с отчаянием читали описания празднеств в Петербурге и Москве и невиданного прежде народного энтузиазма. Захлебываясь от восторга, газеты повествовали о путешествии царской семьи в Кострому — в Ипатьевский монастырь. В Смутное время здесь спасался отрок Михаил Романов, здесь началась династия Романовых. Царская флотилия «под грохот салюта, звон колоколов и под громовое „ура“ причалила к „царской“ пристани у Ипатьевского монастыря…». И фотографии: восторженные, тысячные толпы, заполнившие берега Волги!

Каково было нам, ссыльным, в забытом Богом краю читать все это! Строй казался вечным, как египетские пирамиды. Но когда мы читали про всенародные славословия в Ипатьевском монастыре, История уже готовила Романовым подвал Ипатьевского дома! Однако этого никто из наших лидеров не предвидел. Ленин с печалью признавался в письме к своему другу, одному из вождей нашей партии, редактору «Правды» Льву Каменеву: «Нет, не увидеть нам революции при жизни». Действительно, какая революция, если десятки тысяч человек гигантским хором поют «Боже, царя храни!».

Потом началась мировая война. К нам в Монастырское привезли арестованных большевиков, членов Государственной думы. Среди них знаменитости — тот же Каменев и рабочий Муралов, думский депутат, блестящий оратор, фото которого в царской арестантской одежде часто висело в домах большевиков. (Его фото в советской арестантской одежде хранится у нас на Лубянке. Как и фото Каменева. Коба расстреляет обоих.)

Как-то я решил навестить в забытой Богом Курейке своего горемычного друга Кобу. Это значило: двести километров на собаках, в открытых санях, в лютый мороз.

Мне рассказали, что в Курейке «наших» (большевиков) нет.

Правда, прежде в одной избе с Кобой жил уральский большевик Яков Свердлов. Но Свердлов сделал все, чтобы

переехать в Монастырское.

Прежде чем отправиться в Курейку, я решил переговорить с ним.

Яков Свердлов — малорослый, узкоплечий очкарик с копной черных волос. Этот сын еврейского купца из Екатеринбурга сделался революционером после жестоких еврейских погромов, прокатившихся по России. Он был типичным революционером второго разряда. Но когда началась война, все наши главные вожди оказались в эмиграции или в тюрьмах. Людей не хватало. Те, кто знал Свердлова, сообщили Ильичу, что он «человек бешеной энергии». И Ленин, тогда даже не знакомый с ним, сделал его членом большевистского ЦК. Вот так Свердлов появился в Петрограде. Но вместе с Кобой его тотчас арестовали. (Его и Кобу выдал один из тогдашних большевистских вождей. Но об этом позже.)

Свердлов рассказал мне: «Жить с Кобой было невозможно. Ляжет к стенке лицом и молчит. Спрашиваешь: „В чем дело?“ Не отвечает. И так порой целую неделю. Это у тебя, Фудзи, отец богатый, ты служанку можешь нанять. А мой мне не помогает, нам здесь все надо самим: стряпать, мыть посуду, убирать комнату. Коба никогда ничего этого не делал. Скажешь ему: „Твоя очередь мыть посуду, почему не моешь?“ Молчит. Готовить еду придумал так невкусно, что мне пришлось готовить за двоих. Но мою уху он очень любил… Тяжелый человек! Я не знал, как унести от него ноги, буквально убежал оттуда…»

Пристав взял немалую взятку. Поездку в Курейку разрешил и назначил стражника сопровождать меня.

Был обычный зимний день: то есть мороз сорок пять градусов, черная полярная ночь. Я сел в нарты, со мной рядом — стражник, он же управлял ими. Полетели нарты!..

Замерзший Енисей — ледяная пустыня. Вышла луна, все засверкало: заискрились ледяные торосы, снег стал призрачно-голубой. Безмолвие, торжественный покой, только яростный скрип под полозьями. Но вдруг резко задул ветер, скрылись звезды, завьюжило. Началась пурга! Ресницы вмиг покрылись льдом, лицо — ледяная корка, трудно дышать…

И вдруг… затих ледяной вихрь. Затих внезапно, как и начался. Все вокруг осветилась каким-то тайным небесным светом. Я смотрел на небо — Боже, какая неземная красота! Я шептал забытые детские молитвы… Вот так, на пути к Кобе, я впервые увидел северное сияние и вспомнил о Боге…

Поселок Курейка — это всего несколько разбросанных деревянных домишек.

В том месте, где маленькая быстрая речушка Курейка впадает

в бурный полноводный Енисей, на небольшом холме стояла деревянная изба. Это и был дом Кобы. Но сейчас, когда обе замерзшие реки слились с землей в одно снежное пространство, он находился посреди бескрайнего белого поля.

Я вошел в избу в облаке пара. Нас со стражником встретила в сенях хозяйка — сухенькая женщина лет пятидесяти. Поздоровались.

— Постоялец твой где?

— Лежит на койке. Где ж ему быть!

Я дал ей деньги, попросил отогреть и накормить моего полицейского, который с удовольствием оставил нас с Кобой наедине.

Когда я вошел в комнату, Коба лежал лицом к стене на лежанке, он даже не повернулся.

— Здравствуй, Коба.

Молчание.

Я огляделся. В центре маленькой комнаты стоял круглый стол с керосиновой лампой. У стола — венский стул с гнутыми ножками, странновато смотрящийся в этой избе. У стены — продавленный диван. На стене, над диваном, висел капкан, в углу на полу валялись сети. Наконец он произнес, по-прежнему не оборачиваясь:

— Садись, дорогой… — И закашлялся.

— Ты болен?

— Я здесь всегда болен. Скоро заболеешь и ты. Мороз сорок градусов у них называется «оттепель». Мне нужно молоко, много дров, запас сахара и хлеба. Здесь все дорого. У меня нет богатых родственников, мне положительно не к кому обратиться. Точнее, я уже обращался… ко всем.

— Но есть фонд репрессированных.

— Видимо, не для меня. Я теперь на вторых ролях. Сдохнем мы все здесь… сгнием.

Чтобы как-то развеселить его, я сказал:

— Свердлов рассказывал, как он уху тебе варил, а ты ее уплетал за милую душу.

— Себе варил. Даст тебе жиденыш, как же! Сварит и сам жрет. Я все думал, как отнять ее у него.

И опять — молчание.

— Придумал?

— Он сварит, начинает жрать. Я дам ему съесть полпорции, потом подойду, спрошу: «Не хочешь ли и мне дать пожрать?» Молчит. Тогда я плюю в его тарелку! Он уже есть не может, мне отдает, — Коба прыснул в усы. — Мы с ним по очереди посуду должны были мыть. Он вымоет, потом моя очередь. Он пошел

пройтись, приходит — тарелки блестят. Наливает себе ушицу, меня нахваливает: «Хорошо ты вымыл!» Я говорю: «Нет, я не мыл». — Здесь Коба оживился. — Не понял, Фудзи? — Он опять прыснул в усы. — Возьми на столе… — На столике у лампы стояла грязная тарелка с остатками еды. — Теперь поставь ее на пол…

Я поставил. Коба крикнул:

— Тишка! — И присвистнул.

Тотчас из-под кровати пулей вылетела маленькая дворняга. Все породы мира соединились в хитрой бестии — там была лайка, немецкая овчарка, по-моему, даже такса. Она приветственно вильнула хвостом и с ужасной скоростью загремела оловянной тарелкой. Вмиг зализала ее до блеска. И… уползла под кровать. Оттуда раздалось урчание.

— Я ему рассказал про собачку, и опять он есть не может. Снова я ем его ушицу. После этого он сам мыл тарелки каждый день. Да, с ним было неплохо. Теперь без него не каждый день приходится есть. В наше издательство «Просвещение» написал: «Нет ни гроша, запасы вышли, мои жалкие деньги ушли на теплую одежду…» Молчат. Ильичу написал, просил прислать «сапоги», — (новый паспорт для побега). — Долго не отвечал, оказалось, фамилию мою забыл… Я ему как раб служил, а он забыл. Потом, видать, напомнили ему мое имя, письмо прислал, обещал выслать «сапоги», помочь устроить побег. И… опять молчание! Я ему статью о национальном вопросе отослал. Товарищ Ленин раньше ценил, когда инородец Коба переписывал в своих статьях его мудрые интернациональные мысли. А теперь ни слова в ответ. Забыли Кобу…

Замолчал.

Я сказал:

— Я привез тебе деньги, Коба. Родитель сжалился, помогает.

Он ответил равнодушно:

— Положи под лампу. — И, как обычно, даже не поблагодарил.

Помолчали. Сидеть с ним, молчащим, ох как трудно! Будто копится что-то тяжеленное на плечах твоих. Чтобы не молчать, решил прочесть ему любимые мои стихи из «Витязя в тигровой шкуре». Божественные стихи! Но в разгар моего восторженного чтения он… захрапел!

Я был в ярости! Заорал:

— Я уезжаю!

Тотчас проснулся. И равнодушно:

— Катись.

Уже в дверях я сказал ему:

— Но все равно надо жить. Давай вместе убежим. Здесь есть одна норвежская торговая компания, у нее свои суда. Хозяин социал-демократ, у меня рекомендательное письмо к нему.

— Убежишь отсюда, как же! У меня стражник — зверь, два раза на день проверяет. Однажды ночью проверять придумал, разбудил! Хотел его выставить, выталкиваю из комнаты, едри его мать, так он мне шашкой руки изрезал! Да и зачем бежать? Чего хорошего нас ждет на свободе? — Он наконец повернулся ко мне. И только сейчас я увидел заросшее бородой, обожженное морозом красное, постаревшее лицо. — Ты хоть понимаешь, кто мы с тобой? Жалкие неудачники! В тридцать восемь лет все кричим: «Революцию сделаем, богачей уничтожим». А что уничтожили? Свою жизнь. Нам ведь под сорок… Жизнь, как говорится, уже «с ярмарки». Что у нас с тобою есть? Семья? Нету! Жена? Нету! Мы с тобой в партии, половина которой сидит по тюрьмам и ссылкам, остальные — по заграницам, в Парижах про Карлу Марлу спорят… Вот и все, чего я добился. В завершение моей «успешной» карьеры — ***сдать ему меня разрешили.*** Чего с Кобой церемониться!

Я изумился:

— Кто разрешил? Кому?!

Он посмотрел на меня больными глазами.

Не ответил, перевел разговор:

— Все вытерпеть можно — и мороз, и голод, и цепного пса-стражника. Но в этом проклятом краю природа скудна до безобразия, а я до смешного, до глупости тоскую по нашей родине…

Сколько я думал потом над этой странной, в гневе вырвавшейся у него фразой: ***«Сдать ЕМУ разрешили…Чего с Кобой церемониться!»***

Кто это — он, которому разрешили «сдать» Кобу, я узнал после Революции. ***Он*** — некто Малиновский. Блестящий оратор, глава фракции большевиков в Государственной думе, знаменитый профсоюзный деятель, «русский Бебель», как его называл Ильич. Слух о том, что великолепный Малиновский — провокатор, появился задолго до вечера, где был арестован Коба. Но после того вечера окреп. Ведь никто, кроме Малиновского, не знал, что Коба придет туда.

И тогда Ленин на таком же бланке ЦК написал о Малиновском точно такую же отповедь, как в случае с Кобой: «Всякий, кто будет продолжать клеветать на Малиновского, будет немедленно исключен из партии…» Было объявлено, что слухи про Малиновского сеет полиция.

Однако после Февральской революции в Департаменте

полиции обнаружились документы, неопровержимо доказавшие, что «русский Бебель» — обычный провокатор. Ильичу пришлось капитулировать.

Понял я загадку Малиновского много позже. Это было в ноябре 1946 года (когда я во второй раз вернулся из лагерей). В то утро слушал радио — была очередная годовщина Октября. Кто-то рассказывал, как партия накануне Революции боролась с провокаторами и как разоблачили Малиновского…

На следующий день я встретил в нашем Доме на набережной все того же Сольца. Несчастный в мое отсутствие, видно, стал совсем безумным, все время что-то писал на листочках. За ним неотрывно ходил наш «товарищ», который эти листочки у него аккуратно отбирал. Сольц отдавал их ему с равнодушной улыбкой, как ребенок, наигравшийся игрушкой.

Я как раз вышел из лифта, когда в подъезд вошел Сольц, возвращавшийся с прогулки. Я поздоровался.

— Слышали это безобразие по радио? — спросил он и добавил безумно: — Разошлите немедленно радиограммы: «Всем! Всем! Военная, вне очереди». Диктую текст: «Малиновский не провокатор…» Кстати, ***ваш друг — тоже…***

— Товарищ Сольц, зайдите в лифт. — За ним тотчас вырос его постоянный спутник. Открыл кабину спустившегося лифта и попытался втолкнуть в него Сольца. Но тот яростно упирался.

— Я прошу вас, — крикнул он мне, и глаза его стали совсем сумасшедшими, — сообщите Обвинителю на Страшном суде: это было наше задание. Мы, ***«тройка»,*** им ***разрешили — Ильич, Красин и я… мы это придумали!..***

Наконец его спутник молча и грубо затолкал старика в лифт. Уже оттуда Сольц как-то весело подмигнул мне. Я до сих пор думаю: был ли он и вправду безумный. Или это игра, как у принца Гамлета…

Но именно в тот миг я окончательно понял тайну Кобы.

Да, Малиновский и Коба были одной из многих секретных, великих ленинских игр. В то время полиция засылала провокаторов в наши ряды. Ильич вместе с «тройкой» придумал ответ. Отправить «наших» в их ряды. Коба и Малиновский были нашими «двойными агентами». И ситуацию с тайной полицией Коба использовал на сто процентов. Отсюда легкость, с которой он убегал из ссылок. Отсюда и успех многих наших эксов. Я уверен, Коба сообщил полиции, что мы нападем на экипаж с деньгами. Но главного не сообщил — ***когда и где.***

С Малиновским — похожая история. Будучи тайным осведомителем, он получал от полиции свободу. И спокойно громил царизм в своих речах в Думе и статьях в «Правде». За это

приходилось ему порой жертвовать типографиями и революционерами второго разряда. Но постепенно полиция начала понимать, что пользы от Малиновского куда меньше, чем вреда.

То же в случае с Кобой. Охранка окончательно разуверилась в нем, и ему пришлось перейти на ***истинно*** нелегальное положение. Прекратить эксы. Ильич подыскал ему новое занятие — организовывать выборы в Думу… В это же время разочаровалась полиция и в Малиновском. Но он и его «Правда» были очень нужны Ильичу. Малиновскому велели любыми средствами вернуть доверие полиции. Нужна была крупная жертва. Видимо, тогда решили отдать кого-то значительного, но более не нужного.

Коба идеально подходил для этого — член ЦК, руководитель дерзких эксов, живший на нелегальном положении. Да, Коба был незаменим, пока совершал экспроприации — источник вольготной жизни Ленина и эмигрантов за границей. Но теперь он руководил рутинным делом — работой фракции. То есть выполнял полученные из-за границы указания Ленина. Это могли делать и другие. Малиновскому позволили выдать его полиции.

Все это конечно же понял и сам Коба, когда его арестовали. В тридцать семь лет его посчитали революционером второго разряда. Его, отдавшего партии жизнь! ***«Разрешили… Чего с Кобой церемониться…»*** Но он уже не мог так легко бежать из ссылки, полиция теперь была его врагом. Все эти обстоятельства перевернули окончательно душу моего несчастного друга. Когда-то он потерял веру в Бога. Теперь он потерял веру в другого бога — Ленина.

Я думаю, поэтому впоследствии Коба не трогал Сольца. Сольц единственный из членов «тройки» остался в живых. Только он мог подтвердить, что связи Кобы с полицией — ленинское задание. Сольцу верили. Старые большевики по-прежнему считали его совестью партии.

Что же касается Малиновского, то ему Коба отплатил. После Февральской революции Малиновский спасался за границей. Но каково же было общее изумление, когда после нашего Октябрьского переворота провокатор Малиновский… открыто вернулся в Петроград. Он, видимо, приехал за наградами, но его немедленно арестовали. Малиновский конечно же потребовал вызвать Ленина. Он не мог понять, что его история не красит новую власть. Короче, его поспешно перевезли в тюрьму в Москву.

В те дни я и Коба находились при Ильиче (об этом я еще расскажу подробнее).

Мы оба были в кабинете Ленина, когда пришел Дзержинский.

— Этот негодяй Малиновский требует, чтобы мы привезли его к вам, Владимир Ильич. Он упорно твердит: «Ленин все объяснит».

Ильич побледнел, и тогда Коба предложил:

— Владимир Ильич, позвольте мне разобраться с мерзавцем.

Ленин долго молчал, потом сказал:

— Разберитесь…

Коба вернулся при мне. Доложил Ильичу:

— Опоздал. Трибунал приговорил его к расстрелу и уже… Жаль. С удовольствием повесил бы его за яйца!

Мне рассказывали, будто на самом деле Коба успел. Он вошел в камеру Малиновского… А резолюцию о расстреле Малиновского революционный трибунал принял позже.

Это конечно легенда. Но я никогда не заговаривал с Кобой ни о туруханской ссылке, ни о Малиновском. Я был умный.

Новый Коба

В Монастырском я прожил совсем недолго. Вскоре со мной связался тот самый капитан-швед, работавший в Заполярье на судне норвежско-русской пароходной компании. Он был социал-демократ и имел задание помогать бежать русским ссыльным революционерам. Он предложил мне свои услуги. Я договорился, что со мной, возможно, будет мой друг.

Я опять заплатил приставу и отправился в Курейку со стражником.

Приехали поздним вечером, в одиннадцатом часу. Комната Кобы оказалась закрытой.

Хозяйка сказала:

— Ваш гуляет! Известно где! У Перепрыгиных, — фамилию могу перепутать. — Он теперь там пропадает. У них там каждый божий день гулянка и праздник. Потому они и нищие. — И объяснила: — Это на самом краю деревни. Изба у них ветхая, чай, не пропустите…

На краю деревни стояла приземистая, вросшая в землю изба. Оттуда неслись звуки гармоники. Я входить сразу не стал, подошел к окну.

В окно я увидел Кобу. С яростным лицом, слипшимися волосами, он отплясывал какой-то невероятный танец… Потом отошел к стене и по-хозяйски обнял толстенькую, беленькую совсем девочку. Он что-то шептал ей на ухо, она смеялась, потом они пошли прочь из комнаты… Я понимал — входить в избу сейчас не надо. Но я проехал двести километров! Поколебавшись, все-таки решился войти в темные сени. Призрачный свет бил через оконце. Согнувшись, она громко стонала в темноте… Сзади над ней навис Коба… И его бешеный шепот:

— Уйди, уйди, говорю!

Я вышел на улицу.

Но все же счел нужным его дождаться. Вернулся в его комнату.

Пришел он после полуночи, хмельной, веселый. Бежать со мной опять отказался:

— Буду ждать.

— Чего?

— У моря погоды! Отчего-то чую, она изменится. Стражник у меня уже поменялся. Хороший мужик, предупредительный, может, тоже… чует. Теперь могу делать, едри их мать, что хочу, — рыбачить, охотится. На днях он меня к вам в Монастырское повезет. Книжек наберу, соскучился по книгам.

Я понял: лежащий лицом к стене, обреченный Коба — это было представление. Он просто хотел, чтоб я давал ему деньги.

Но новый Коба, ненавидящий обманувший его мир, был правдой…

Уже после моего побега Коба переехал к Перепрыгиным — в пристройку…

Потом я слышал, что в Курейке у него родился сын от той девицы… Нищая изба Перепрыгиных не дожила — развалилась. А вот та, первая изба на самом берегу реки, в которой я его навещал, сохранилась. Через тридцать с небольшим лет над ней был воздвигнут великолепный павильон. Рядом с ним бронзовый молодой Коба смотрел на свое жалкое прошлое.

Его дьявольская интуиция! Уже в мое отсутствие ситуация начала стремительно меняться. Жестокие поражения русской армии вызывали ужас, отчаяние по всей стране. Но у нас, ссыльных только счастливые улыбки. Это было наше, партийное: «Чем хуже в стране, тем лучше для дела Революции». Вскоре даже здесь, на краю света появились калеки, мрачные, усталые, привыкшие убивать и отвыкшие работать. Но Молох требовал новых жертв. Началась мобилизация в армию среди ссыльных. Каменеву, Муралову и прочим большевикам службу в армии не доверили, но Кобу призвали. Думаю, здесь, на его беду, сыграли роль его былые отношения с полицией.

Везли его через Монастырское. Вышли встречать все сидевшие большевики. Он сказал, прощаясь, Каменеву:

— Не поминайте лихом. Чую, с фронта не вернусь!

Повезли моего друга по реке, потом по бесконечной тундре. Как он потом сам рассказывал, везли полтора месяца. В самом конце 1916 года, измученного, полузамерзшего, привезли в Красноярск на медицинскую комиссию. Но его спасла от армии высохшая рука.

Будущего генералиссимуса и Верховного главнокомандующего самой могущественной в мире армии признали негодным к военной службе.

Толстяк посылает апостолов

В это время я прибыл в Европу. Мой побег и путешествие по России с фальшивыми паспортами — длинная эпопея, ее пропускаю.

Я очутился в тихой Швеции, в мирном, уютном Стокгольме.

Здесь меня встретили. Оказалось, помогали не только мне. В это же время из множества ссылок было организовано бегство членов русских революционных партий. За всеми этими удачными побегами, как оказалось, стоял один человек…

Два дня я отдыхал в крохотной гостинице рядом с чудесным парком. На третий день меня привезли в Старый город. На Торговой площади, где когда-то казнили, стояли два здания XVII века. В одном из них располагалось маленькое кафе.

В этом набитом до отказа кафе было тесно и шумно. Нас собралось человек тридцать. Я с изумлением понял, что все собравшиеся говорят по-русски!..

Вошла огромная, потная, жирная глыба, переваливавшаяся на коротких ножках. Толстый, трудно дышащий человек с висящим подбородком тяжело плюхнулся на стул. И тотчас впился глазками-буравчиками в аудиторию… Я запомнил его лицо, обрамленное черными волосами и бородой, крохотный нос, придававший ему какое-то детское выражение. На вид мужчине было лет пятьдесят…

Все затихло. Он заговорил по-русски:

— Вы не знакомы друг с другом. Но у вас одна судьба. Вам всем помогли бежать из ссылок и русских тюрем. Вас посадили в тюрьму или отправили в ссылку в мире, охваченном жаждой людей убивать друг друга. Сегодня вы освободились в совсем ином мире. За два года войны и крови в вашей стране и в Европе накопились страшная усталость, апатия и ненависть к войне. Все утомилось, обветшало. Вы увидите когда-то образцовые немецкие санитарные поезда. По грязи и ужасу они теперь сравнялись с русскими. Идет кровавый поток раненых с человеческой бойни, называемой фронтами. Под эти поезда отдаются теперь товарные вагоны, где стонущие, умирающие люди лежат на нарах с соломой. Между нарами обычно бегают одинокий врач и священник. Все пропитано запахом человеческих испражнений и йодоформа. Великие княгини и эрцгерцогини, навещавшие прежде раненых, остались на фотографиях. Вы увидите лагеря военнопленных, охраняемые старыми солдатами. Все молодые посланы умирать на фронт. Из этих лагерей легко бежать военнопленным. Но мало кто бежит, люди не хотят вновь попасть

на фронт… Газеты продолжают славить войну и пишут о подвигах в обеих армиях. На самом деле войну ненавидят и тут и там… Однако это уже не прежняя ненависть к врагу, но новая — к тем, кто послал воевать. Ваша задача — подогревать эту ненависть. Запрещенными книгами, личными беседами. Нынешний мир готов к огню великой и очистительной Революции. Ваше дело — изо дня в день разжигать костер! Призывайте солдат повернуть штыки против своих угнетателей!..

Выступавшего звали Парвус.

Был такой анекдот. Человек приехал в Палестину, но так сложилось, что пробыл он там всего один день. Его спрашивают о впечатлениях. Он говорит: «Их очень много. Я встретился с евреем, сумевшим сделать огромные деньги, и я видел еврея, мечтавшего разрушить мир денег, я видел еврея, готового погибнуть за счастье трудового народа, и я видел еврея, беспощадно эксплуатировавшего трудовой народ…» — «И ты сумел их всех повидать за один день?» — «Это оказалось нетрудно, потому что это был один человек».

Таков был и Парвус. Еврей, родившийся в России в еврейском местечке в черте оседлости, притом ненавидевший свою родину. Урод и… Дон Жуан, помешанный на женщинах. Миллионер, мечтавший… обрушить мир богатых, раздуть мировой пожар Революций! В десятые годы мы все зачитывались его статьями в «Русской газете». Он писал их вместе с Троцким — я уж не помню, кто из них сказал об этом союзе: «Мы были тогда, как две струны на арфе Революции». В 1905 году, пока я прозябал в эмиграции, Парвус делал нашу Революцию. Вместе с Троцким руководил легендарным первым Советом рабочих депутатов. Арестован, сидел в Петропавловской крепости, отправился в ссылку, по дороге бежал, потом очутился в Германии… Приехал к немцам революционной знаменитостью. Но в Германии с ним случилась какая-то темная история. (Впоследствии я узнал подробности. Наш знаменитый пролетарский писатель (Горький), живший тогда в эмиграции, поручил ему собирать деньги, причитающиеся за постановку его пьесы «На дне». Пьеса шла тогда во множестве европейских театров. Сам Горький согласился только на пятую часть от доходов. Остальные средства Певец Пролетариата благородно отдавал немецкой социал-демократии. Но никто ничего не получил. Как издевательски невозмутимо объяснил потом Парвус: «Все протратил на путешествие в Италию с одной барышней». Думаю, солгал, попросту говоря нашим революционным языком, «экспроприировал», забрал деньги у богатого писателя. Разбирательство товарищей по партии было тайным… Как он и предполагал, социал-демократы не посмели

сделать гласной историю кражи столь известным революционером-марксистом.) Но тогда я знал о нем лишь то, что знали все: он эмигрировал в Турцию, здесь составил огромное состояние. И теперь тратит его на мировую революцию…

В дальнейшем он вновь возникнет в моем повествовании.

Меня, в совершенстве владеющего немецким, он послал в Австро-Венгрию, в славянские части австрийской армии, призывать их к братанию и бунту. Все это время я курсировал между Стокгольмом и Будапештом, и все это время Парвус присылал мне инструкции.

Про Кобу я тогда забыл. В январе 1917 года я был вновь вызван в Стокгольм. В том же кафе собрались революционеры из радикальных партий — в основном эсеры и анархисты. Были несколько меньшевиков, большевиков представлял я один. И опять перед нами выступил Толстяк (как мы называли между собой Парвуса).

Сначала он прочел нам вслух… секретные донесения Департамента полиции царю! В них Николая предупреждали о наступающей катастрофе: «Озлобление растет… Стихийные выступления народных масс… — угрожающе читал Парвус, — явятся началом самой ужасной из всех анархической революций, бессмысленной и беспощадной…»

Я был потрясен, не знаю, чем больше — текстом или тем, что этот фантастический человек держал в руках сверхсекретный документ русской спецслужбы.

Но далее пришлось изумляться больше. Он сообщил нам о заговорах в самой царской семье и в Думе. Он знал и об этом!

— Они решили сместить «сумасшедшего шофера». Так они теперь называют царя, который везет страну в пропасть… Недавно тифлисский городской голова от имени пятнадцати членов царской семьи предложил великому князю Николаю Николаевичу произвести переворот и провозгласить себя царем. Сменой царя они хотят помешать грядущей Революции. Нашей Революции. К счастью, великий князь отказался, но нам надо спешить. Восстание должно начаться раньше, чем они успеют совершить дворцовый переворот и замирить страну! Поторопимся!..

Я до сих пор не знаю, он ли организовывал волнения в Петрограде. Однако в конце своей речи он нам объявил:

— Вы все выезжаете в Россию к своим партиям. Я посылаю вас, как Христос послал в мир апостолов. Вы апостолы Мировой Революции. Идите в мир, проповедуйте и разожгите мировой пожар!..

Как большевик я был послан в Петроград — связаться с

большевиками. Эсеры и меньшевики получили задание связаться со своими партиями.

Февральскую революцию я встретил в Петрограде. События, изложенные здесь, запомнились мне отрывочно. Советую вам проверять их последовательность.

Революция

Помню точно, что в двадцатых числах февраля я шел по Невскому, не зная, что в последний раз вижу этот исчезнувший нынче мир. Вскоре закроются мои глаза, и уйдет навсегда та картинка…

Февральский снег с дождем. Пробирает до костей ветер с Невы. Ненавистный город императоров. Атлантида несравненной красоты, которую мы мечтали отправить на дно. Чужой, по виду иностранный город: немецкая прямизна проспектов, на Александровой колонне у царского дворца ангел обнимает католический крест… В шинели, небрежно наброшенной на плечи, промчался в коляске кавалергард. В изящном ландо проезжает дама в вуали. Огромная шляпа с цветами, как корабль, плывет над толпой; откинувшись на сиденье, дама в лорнетку осматривает публику. Околоточные появились на улице, дворники вышли за ворота — прежде это значило, что вскоре проедет царь… Но теперь царь на фронте. Скорее всего проедет всесильный министр Протопопов. Вся сила которого исчезнет в эти три дня… вместе с трехсотлетней империей.

Но пока в Летнем саду еще гуляют степенные бонны с детьми. Статуи античных богов заключены в ящики, оберегающие их от зимней непогоды, стоят меж голых деревьев… Спокойный, размеренный, сонный дневной мир столицы великой державы… Будто нет никакой войны, будто не погибают в эти минуты под пулями вопящие «ура» люди…

Мы должны были взорвать трехсотлетний российский мир.

Как только царь уехал в Ставку, в столице начались перебои с хлебом. По чьей-то команде на окраинах стали собираться недовольные толпы. Вскоре они хлынули в центр города. Сперва шли по тротуарам, заунывно выкрикивая: «Хлеба! Хлеба!» Потом вышли на мостовые… Огромные, все растущие толпы. И в них обязательно были мы, посланцы Парвуса, как правило, эсеры или меньшевики. (Большевиков в столице в это время — раз, два и обчелся. Верхушка партии — Ленин и прочие лидеры — в эмиграции в Швейцарии, остальные — по тюрьмам и ссылкам.) Объясняем, призываем «прогнать кровавого царя». К нам присоединяются студенты. И вот уже над толпой поднимаются откуда-то взявшиеся транспаранты: «Долой войну! Долой самодержавие!»

Теперь во всех митингующих толпах обязательные ораторы — студент, курсистка и мы, посланцы Толстяка! На нас — на митингующую толпу — как-то устало, явно нехотя, наезжают

казаки, разгоняют. Люди разбегаются по маленьким улочкам, и казаки… уезжают! Тотчас толпы собираются вновь.

Как я уже говорил, всего год с небольшим назад Ильич заявил: «Нам, нынешнему поколению революционеров, не увидеть Революции в России». И вот в Петроград приехал посланец от Ленина. Передал мне удивительное письмо. Ленин писал, что вскоре ожидается Революция! «Восстанет Петроградский гарнизон. Гарнизон состоит из выздоравливающих раненых и проходящих военное обучение резервистов, то есть сынков влиятельных людей, укрывшихся от фронта. Вся эта публика готова на все, только бы не идти на фронт. Восстание солдат в провинции — это бунт, восстание в столице — Революция. Ваша задача: незамедлительно связаться с нашими петроградскими большевиками. Действуйте и еще раз действуйте! В 1905 году мы проспали Революцию, на этот раз мы этого не допустим».

Но «наших» пришлось искать. Петроградские большевики по-прежнему скрывались в подполье и очень осторожничали. С большим трудом согласились встретиться со мной днем в Александринском театре, где билетером работал весьма редкий в столице большевик.

В те дни в Александринском шли генеральные репетиции пьесы Лермонтова «Маскарад». «Маскарад» — мистическая пьеса. В 1941 году, в день объявления войны, ожидалась ее премьера в Москве… И тогда, в конце февраля 1917 года, в дни гибели Империи, готовилась ее премьера в Петрограде…

«Наш» билетер провел меня в пустое фойе — репетиция уже началась.

Там ждал меня представитель той самой кучки петроградских большевиков. Невысокий, приятный, аккуратненький, в пенсне. Увидев меня, он оторопел и воскликнул:

— Коба?! — Но тут же понял: ошибся. Сказал с усмешкой: — Вы с ним похожи.

Оказалось, они были с Кобой вместе в одной из ссылок.

Так я познакомился с Вячеславом Молотовым. (Молотов — партийная кличка, его настоящую фамилию — Скрябин — я узнал после революции.)

Он повел меня на нелегальную квартиру знакомиться с остальными большевиками.

Перед тем как уйти, я решил хоть глазком поглядеть на спектакль, уж очень много ходило о нем слухов. Попросил «нашего» билетера, он тихонечко приоткрыл дверь в ложу, я встал за портьерой. Ложи и зал были переполнены, шла генеральная репетиция. Декорация ошеломила! Гигантские зеркала, золоченые двери, люстры — водопады хрусталя! Это была

декорация мира, который там, на улице, уходил в небытие…

Я вернулся в фойе. Молотов встретил меня насмешливой улыбкой: такие глупости, как театральный спектакль, его тогда не интересовали.

Мы вышли на Невский. Был разгар дня. Все те же толпы беспорядочно двигались по улицам.

Молотов шел впереди, я — за ним, проверяя, чтоб за нами не было хвоста.

Квартира оказалась на Кронверкском. Как и положено, вход в подпольную квартиру был до предела запутан. С переулка вошли в здание городской биржи труда, потом пробирались через какую-то лавку, затем поднялись по пыльной, сто лет не убиравшейся лестнице. Далее открылась анфилада комнат, почему-то уставленных пустыми столами. В конце анфилады пряталась крохотная дверца — входить, точнее, заползать в нее пришлось пригнувшись.

Здесь в двух комнатушках ютился Петроградский комитет партии большевиков. Шло совещание главных сил нашей недобитой партии. Двое весьма непрезентабельного вида молодых людей сидели за дощатым столом президиума, украшенным всевозможными чернильными кляксами и длинной надписью «Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Лассаль».

Это и были руководители петроградцев — Шляпников и Залуцкий. Аккуратненький Молотов тотчас подсел к ним за стол — в президиум заседания. Главным в тройке явно был Шляпников.

Он уже посидел в тюрьмах, пожил в эмиграции, являлся, кажется, членом Французской социалистической партии. Единственный из тройки он знал европейские языки. Однако по-русски говорил с простонародным волжским акцентом. По виду — типичный рабочий, носил, как Молотов, косоворотку и пышные усы мастерового.

Он важно пригласил меня подсесть к ним. Я сел за стол.

Напротив нас на стульях и подоконнике разместились десятка полтора человек — весь оставшийся на свободе актив партии.

Сразу перешли к обсуждению плана действий. Я прочел письмо Ильича, но обговорить его не успели. Помню, вбежал человек, выкрикнул:

— Товарищи! Павловский полк восстал! — Торопливо начал объяснять: — Гвардейцам приказали разогнать демонстрацию, они отказались!

Но его уже не слушали. Восстали солдаты! Мать родная, да это же она — Революция! Все опрометью бросились на улицу,

орали «ура!».

Мы добежали до Конюшенной площади.

Там, окруженная гвардейцами-преображенцами, стояла толпа гвардейцев-павловцев. В Павловский гвардейский полк по традиции должны были набираться курносые, малорослые, похожие на императора Павла мужчины, в отличие от Преображенского полка, куда со времен Петра брали только рослых и прямоносых. Но все это было прежде.

Теперь резервистов набрали с бору по сосенке, и там и тут встречались курносые и прямоносые, маленькие и высокие. Но дух безумного императора остался в Павловском полку. Волнения начались у них первых.

Офицер-преображенец вяло уговаривал толпу павловцев вернуться в казармы, уныло грозил расправой.

Испуганные, очумелые солдатские лица. Но в казарму не идут. Топчутся, выкрикивают:

— Мы за свободу. Нет у вас, ваше благородие, такого разрешения, чтоб в народ стрелять! Не хотим!

Вокруг уже собралась огромная толпа зевак. Из толпы я услышал:

— За священником послали «к Пушкину»… Чтоб усовестил.

(Совсем рядом была церковь, где отпевали убитого Пушкина.)

Я подумал: сейчас батюшка придет, уговорит разойтись. И потеряем такое!

Но повезло. В этот самый решительный момент подлетел в коляске полковой начальник — полковник. Стал лицом к павловцам. И матерком их! Заорал:

— Я вам покажу, как бунтовать, мерзавцы, так вас разэтак! — И опять матерком.

Я его лица не увидел. Помню только голову в фуражке и шею, толстую, баранью. И голос зычный. Как же он разорялся!..

Вижу, начали колебаться павловцы. Глаза в землю уперли.

Понял: вот он, самый решительный миг. Револьвер (браунинг) рывком из кармана. Из-за спин, не целясь, пальнул в полковничью голову…

Вздох толпы… Исчезла шея.

Восторженное лицо Шляпникова и спокойное, невозмутимое — Молотова…

Могли, конечно, тотчас меня схватить. Я уж приготовился пробивать револьвером дорогу. Ан нет!

Шляпников:

— Беги!

Подхватили, зашептали в толпе:

— Беги, товарищ!

И я дал стрекача оттуда! Бежал и уже не сомневался: теперь они дело продолжат. С испугу продолжат.

Рассказывал Шляпников: когда я сбежал, пришел священник «от Пушкина». Начал уговаривать разойтись. Да поздно. Солдатики знали — убийство полкового теперь на них. Отступать некуда. И продолжили. Вечная сладкая зараза русского бунта…

Вскоре к павловцам присоединились запасные полки — Волынский, Литовский и… Преображенский! Гуляй, резервисты! Куда лучше, чем на фронт — умирать. Уже к вечеру двадцать седьмого весь стотысячный петербургский гарнизон был на стороне Революции. Город оказался в руках восставших. До смерти не забуду: Невский проспект, и по нему — по мостовой — идет толпа в полсотни тысяч человек. Кто и как ее собрал?! Никто не знает. Толпа затопила всю проезжую часть и тротуары, громыхала «Марсельезой». Вмиг стала вся красная — от бантов, флагов и повязок на рукавах.

Какие это были прекрасные, очень солнечные, морозные дни… Никто в Петрограде уже не ходил по тротуарам, ходили революционно — по мостовой. В три дня в столице не осталось ни верной армии, ни могущественной церкви, ни прежнего быта. Трамваи встали, экипажи и извозчики вмиг куда-то исчезли. Магазины закрылись. Только на Невском почему-то работал магазин цветов. Множество солдатиков с ружьями слонялись по улицам. С радостными лицами и без офицеров. Уже начали господа офицерики прятаться!

Я агитировал в казармах. Уходя, слышу, как один солдатик другому:

— Победили царя, так-то! Таперича свобода!

В ответ главный вопрос под общий хохот:

— Это что же, братки, на фронт боле не итить?

Перепуганная, не знающая, что делать, Дума!

Бунтовать при царе было легко, от толпы защищали царские штыки. И вот теперь… В первые дни проснувшейся народной стихии думцы испугались, что их объявят зачинщиками. Эти трусы носились по городу — искали царских министров, чтобы выразить свою верноподданность. Тщетно! Царские министры сбежали.

Но и сам наш восставший народ традиционно жаждал хоть какой-то власти. И петроградский гарнизон — полуграмотные крестьяне в солдатских шинелях — попер к Думе! Только тогда, после бесконечных колебаний, думцы создали некое подобие правительства — Комитет Государственной думы, чтобы управлять этой проснувшейся, пугающей толпой. «Темной стихией», — как говорили они. «Революционной», — как говорили

мы!

Жалкие людишки сидели в Думе!

Помню, как я впервые отправился в пекло — в Таврический дворец, где заседал этот самый Комитет Государственной думы. Я жил тогда на окраине. Пешком пришлось пересекать город… Как же я наслаждался долгожданным воздухом Революции! Ах ты, любушка моя, Семнадцатый год! Как я жалел, что нет со мной моего удалого друга!..

Мимо Петропавловской крепости постарался пройти побыстрее. Крепостные ворота были угрожающе закрыты, да и красного флага над крепостью не подняли. Красными флагами присягали тогда Революции. Зато как перешел Троицкий мост, у Летнего сада увидел все то же радостное безумие красной, кровавой краски! Все та же толпа, увешанная красными бантами, шла по мостовой. Через толпу с трудом пробирались легковые автомобили. Солдаты с винтовками лежали на их крыльях. Везли вождей Думы на заседание. Но я не сомневался — это только начало. Разве этим господам справиться с восставшей стихией! Будто в ответ на мои мысли — целая вереница грузовиков. В кузовах — матросня, мужики — по виду мастеровые, девушки — по виду курсистки. И солдаты. И опять без офицеров. Размахивают руками, что-то кричат. Стрельба по поводу и без повода. От восторга! «Пальнем-ка пулей в Святую Русь!» Дошел до здания охранного отделения и обомлел. Оно горело. Пламя освещало огромную толпу, весело глазевшую на жалкие попытки двух пожарных (остальные давно разбежались) справиться с огнем… Толпа радовалась — горит старая жизнь. Не понимали — горит картотека секретных агентов полиции. Успели поджечь. Но кто? Глупые молодые революционеры? Или некто заинтересованный? Полиция или провокаторы? Или все вместе? «Кто их нынче разберет!»

У самого Таврического дворца — месиво, скопление солдат и грузовиков. Пришли присягать Думе. С красными повязками на рукавах или с красными бантами на серых шинелях. Серое с кровавым солдатское море топчется у колонн дворца… В грузовики грузят какие-то припасы, оружие. По чьему приказу? Куда? Может, нет никакого приказа, попросту грабят?! На мостовой — недалеко от Таврического — брошенная пушка, и рядом ящики со снарядами. Бери, стреляй, воруй. Делай, что хочешь! Наша Революция!

Выбежал из дворца, встал на верхней ступеньке глава Думы, громадный задыхающийся Толстяк Родзянко — так его прозвал царь. Теперь он сам — царь! Зычным командирским голосом прокричал в толпу:

— Служите доблестно свободному Отечеству, солдаты Великой России!

Солдатня пропустила ненавистное «служите», зато радостно восприняла бесконечно повторяемое нынче слово — «свобода». И дружно закричала «ура!».

Родзянка (так его называют солдатики) уже исчез во дворце… И тотчас ожил поток желающих попасть туда. Поток понес и меня вверх по лестнице. Охрипшая охрана у входа молила: «Пропуск, господа! Показывайте пропуска! Где ваш пропуск?» Какой тут пропуск! Человеческой волной пронесло меня внутрь мимо охраны, дальше по коридору. Здесь прямо на полу сидели солдаты — ружья сложены в пирамиды, курят махорку, пьют чай, закусывают хлебом с селедкой или попросту спят, растянувшись на полу. Дворец, превращенный в казарму. Революция! Все-таки я дожил!

Между солдатиками куда-то бегут, спешат депутаты, ухоженные, в отличных визитках. В бесчисленных комнатах заседают бесчисленные комиссии.

Насмешливый голос сзади: «Наполеон глядел на толпу, штурмовавшую дворец короля, и отметил: „Одна батарея вмиг рассеяла бы всю эту сволочь!“ Одну хорошую роту! Клянусь, одной хватило бы!..»

Оборачиваюсь. Офицер — полковник — разговаривает с другим офицером и не боится! Я приготовился схватить негодяя, но его уже унес живой поток. Этот сукин сын не понимал: прелесть Революции в том, что дивизии и батареи, и вправду могущие ее остановить и уничтожить, почему-то не появляются. Должно быть, так же Людовик XVI в Версале, как теперь наш Николашка на фронте, гадал: куда же исчезло его верное дворянство, где она, столь послушная вчера армия?

В тот день я долго толкался в коридорах Думы, пытаясь понять, что делать нам, горстке большевиков. Уже под вечер, выйдя из дворца, увидел частую тогда картину. Опасаясь расправы, в Думу приходили сами сдаваться царские министры, полицейские чины. Но иногда их приводила разъяренная толпа. Помню, как солдатики волокли по ступеням седобородого в великолепной шубе с бобровым воротником. Видно, кто-то из больших сановников. По-революционному волокли — за этот самый бобровый воротник. Седобородый покорно-жалко семенил. Уже кричали снизу из толпы:

— Да что его вести! Кончай мерзавца!

И в этот самый миг на ступени Думы, на этот нынешний народный форум, пулей вылетел из дворца некто во френче — худой, весь дергающийся. Будто заклиная, выкинул руку! И

яростно, страшно, приказным тоном крикнул:

— Оставьте мне этого человека! Его будет судить наш беспощадный революционный суд!

Такое бешенство, такая угроза была в его крике! Толпа в страхе замолкла.

И он увел арестованного в глубь дворца.

Увел в особый павильон внутри, где они преспокойно сидели, защищенные думской охраной от ярости Революции. Этот, во френче, их попросту спасал. Керенский (это был он) — не настоящий революционер. Он боялся крови. Разве могут управлять Революцией те, кто страшится крови! Нет, они обречены.

Как же я презирал их тогда… Газеты славили мирную Революцию, но я знал — дудки! Таковой не бывает! Это пока только репетиция настоящей… Но она — настоящая — уже в пути! Как я ждал, звал ее… Прочел в газете: «Убит тверской губернатор!» В гарнизоне начали постреливать — «их благородий»-офицеров. Она просыпалась, безумная в похоти, наша красавица, кровавая девка, истинная русская Революция! Разве захочет она долго спать с этими приличными господами?!

Однако был ***другой,*** который крови не боялся. Он, как и я тогда, мечтал о ней — о беспощадной Революции. Наш Ильич. Находился он в это время далеко, в Швейцарии, запертый войной, отделенный от России территорией вражеской Германии. Но, зная его бешеную энергию, я не сомневался — приедет… Если нужно, долетит на крыльях!

И был еще один, который понимал кровь. Мой друг Коба.

Рождение новой власти

Наконец-то! Я получил телеграмму от Кобы. Он вместе с ссыльными большевиками выехал на поезде из Туруханска в Петроград. Влиятельный думский депутат меньшевик Чхеидзе был мой дальний родственник. Все жители нашей маленькой Родины, если порыться в родословных, — родственники. Я отправился к нему просить автомобиль для достойной встречи. Все-таки приезжали Каменев и Муралов — депутаты Думы. Да и мой друг Коба был членом ЦК революционной партии. Все они пострадали, как тогда говорили, «при проклятом царском режиме».

Я наткнулся на Чхеидзе в коридоре. Родственник стоял, сверкая лысиной. Рядом — в зеленом френче узколицый, носатый, вечно возбужденный Керенский. В этот миг в коридоре показался шумно дышащий председатель Думы Толстяк Родзянко.

Родзянко, как обычно в те дни, мчался по коридору, но они его перехватили. И я стал свидетелем сцены, изменившей судьбу России.

Керенский зашептал (сорвал голос на митингах), обращаясь к Родзянко:

— Мы тут посовещались… Необходимо немедленно образовать Совет рабочих депутатов.

— Зачем? — изумился Родзянко, уставившись на него глазами, окруженными фиолетовыми (от недосыпания) тенями.

— То есть как зачем? Такой Совет был детищем первой нашей Революции в пятом году. Его разогнал царь. Нам непременно следует указать на преемственность Революций, — шептал Керенский.

— Вы уверены, что это не увеличит… как бы сказать… — Родзянко остановился, стараясь выразиться поделикатнее и не обидеть «революционеров», как наверняка про себя называл эту пару.

— Анархию, — подсказал Чхеидзе и ответил: — Совсем наоборот! Рабочие поймут, что есть защитники их прав. Им не надо будет все время митинговать. Достаточно будет прийти в Совет и поговорить.

— Ну хорошо, господа, если надо — так надо! — неуверенно согласился Родзянко. — Еще раз: как будет называться ваш Комитет?

— Совет! Совет рабочих депутатов! — прохрипел Керенский.

— Ну, хорошо, хорошо, господа, пусть Совет, — успокаивающе сказал Родзянко. — Только без анархии, очень

прошу вас, господа. И будьте ответственны. Я и так не понимаю, что у нас происходит. Телеграмма за телеграммой уходят в Ставку к государю, но «безумный шофер» не отвечает! — Родзянко уже собрался продолжить бег по коридору, но мой рассудительный родственник спросил:

— А где заседать Совету?

— Действительно? — остановился Керенский, который тоже приготовился лететь дальше.

Родзянко задумался.

Тогда кто-то из солдат, куривших, сидя на полу, лениво подсказал с пола:

— Отдай им, барин, нумер двенадцать, там таперича никого. Мы из нее стулья утром повынесли в главный зал, она у тебя пустая.

— Совершенно точно, господа, — оживился Родзянко. — И это не обычная комната, это, можно сказать, целая зала… Там прежде сидела наша бюджетная комиссия… Там есть отдельный кабинет для председателя вашей комиссии…

— Совета, — поправил Керенский.

— Ну, с Богом, господа… Только без излишеств. — И Родзянко весело побежал по коридору. Керенский — вслед за ним.

Так в пару минут они создали главный орган будущей Революции, который уничтожит их всех…

Тотчас несколько человек, дотоле стоявших поодаль, подошли к Чхеидзе. Они были меньшевиками и эсерами, освобожденными утром толпой из петроградской тюрьмы. И выбранными в Совет другой толпой — на площади перед Думой.

Здесь же в коридоре эти бестии вместе с моим родственником, меньшевиком Чхеидзе, быстренько назначили руководство Совета — Временный Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов.

Но, слава богу, рядом оказался я:

— Позвольте, господа, а где же в вашем Исполкоме большевики?

— Это временный комитет… Выборы истинного Исполнительного комитета Совета состоятся завтра утром, — успокоил Чхеидзе.

Клянусь, я сразу понял: вот она — власть восстания! Как в 1905 году! Ну конечно же Совет — не эти перепуганные думские князья и графы. Разве они смогут руководить слоняющейся без дела грозной толпой? Совет заберет себе ее волю! Нам надо захватить Совет.

Уже к вечеру через посланца я вызвал для совещания всю

троицу руководителей петроградских большевиков.

Молотов, в неизменной косоворотке и пиджачке, помалкивал, поблескивая пенсне. Говорили, перебивая друг друга, Залуцкий и Шляпников.

Шляпников, окая, кричал (в эти дни люди разучились говорить спокойно):

— Горит Питер! Фейерверк, восторгу нашего расейского много. Но как устанут от восторга и спросят: «Как без царя жить?» И опять испугаются, как в первую Революцию… Там, глядишь, величество с фронта пожалует, да с войсками…

Залуцкий подхватил:

— Нет, царь так сдастся… На-кась выкуси… Нужны наши действия. Подогревать надо народ! Ежечасно!

— Взорвать, взорвать что-нибудь надо! — кричал Шляпников.

Они что-то еще вопили в восторге и безумии.

Помню, я засмеялся и сказал:

— Ерунда! Монархия кончена! Не поняли? Победная Революция — это идея, мобилизовавшая штыки. В первую Революцию штыков у нас не было. Теперь они с нами. Завтра и мужичок проснется. Он у нас огонь любит. Да как начнет палить господские усадьбы. Как петуха красного запустит!..

Молотов молча слушал. Наконец ему надоело, и он начал говорить. Я впервые услышал, как он сильно заикается. (Вот почему был такой молчаливый. Самое удивительное — это заикание и привычка больше молчать в будущем спасут его. Только молчальники сумеют пережить и Революцию, и времена Кобы. Сам Коба подозрительно относился к ораторам, он не любил много говорить из-за акцента.)

— Все это пустые разговоры, — сказал Молотов. — Надо, во-первых, снова наладить выпуск «Правды!»

(Это была наша главная партийная газета.)

— По-моему, хочешь быть ее редактором? Будь! — щедро распорядился Шляпников.

— Во-вторых, нам нужно достойное помещение для партии, — продолжил Молотов.

— Если монархия и вправду падет, можно будет занять какой-нибудь дворец великих князей, — предложил Залуцкий.

— Это не выйдет, — сказал я. — Великие князья наверняка перейдут на сторону новой власти, все они не любят царя. Новая власть их дворцы вряд ли тронет. Но помещение, и как можно пошикарнее, нам нужно немедля, здесь товарищ прав. Вот его и получим.

Все уставились на меня.

— Прогоним царскую блядь. Особняк Кшесинской —

воистину дворец и стоит в хорошем месте.

— Мысль здравая, — согласился Шляпников. — У нас есть свои люди в броневом дивизионе. Они помогут.

— Дивизион не беспокойте. Дворец она освободит сама, — заверил я.

Уставились:

— Как это?

— Объясню потом. Нынче важно другое. Завтра начнется дележ власти в Совете. Нам надо потребовать участия большевиков в его руководстве…

На следующий день с утра мы были в Таврическом дворце. У дворца та же картина — тысячи у входа… В Екатерининском зале — плотная толпа, через нее мы вчетвером протиснулись в помещение Совета, в комнату номер двенадцать.

Во всю величину комнаты — бескрайний, крытый сукном стол.

В зале человек двести: сидят, стоят, ходят, переговариваются. Шум, гам. Идут выборы. Как и положено подпольщикам, вся троица кроме имен имела партийные клички: Залуцкий — Петров, Скрябин — Молотов, Шляпников — Беленин… Оказалось очень удобно. Предлагают в бюро Молотова, а за Молотова среди прочих голосует весь аккуратненький с аккуратненьким носиком аккуратно постриженный Скрябин… Шляпников и Залуцкий выкрикивают: «Беленин!» И зал, жаждущий поорать, кричит: «Беленин!»

Под псевдонимом Беленин избран Шляпников… Далее все то же — троица выкрикнула: «Петров!» — и избрали Залуцкого. А потом всю троицу избрали уже под собственными фамилиями. И меня тоже дважды. Так что в Совете оказалось восемь большевиков. Мы много тогда смеялись.

Веселившихся, счастливых Залуцкого-Петрова и Шляпникова-Беленина через двадцать лет расстреляет мой друг Коба, который ехал в это время в поезде из Туруханска в Петроград. И вместе с Кобой подпишет расстрельный список их нынешний самый близкий дружок, аккуратненький Молотов-Скрябин.

Помню, как в дверях вдруг появились солдаты. Серые шинели, тесня собравшихся у стола президиума, грозно орали. Сначала за столом президиума испугались. Но выяснилось: солдатики не угрожают. Просто хотят участвовать в Совете.

— Мы тоже желаем советоваться! Почему обижаете?

И тогда мы вчетвером хором прокричали:

— Солдат в Совет! Солдат принять!

В тот день он родился — Совет рабочих и солдатских депутатов.

Помню восхищенное лицо Керенского за столом президиума. Он сразу оценил: теперь под началом Совета есть самая грозная сила в столице — солдатня. Та, слонявшаяся по улицам без офицеров, серая бритоголовая вооруженная толпа.

Так что начинал Совет заседание говорунами, но закончил — силой.

После выборов Совета состоялись выборы Исполкома. Молотов, по предложению все тех же Залуцкого-Петрова, Шляпникова-Беленина, Скрябина и Фудзи-меня, был избран в его состав.

Про меня, мобилизовавшего всю троицу участвовать в выборах, троица как-то забыла. Забыл и мой родственник Чхеидзе, ставший председателем Исполкома, той самой грозной новой власти. И так будет всегда. Я никогда не буду на вершинах. Возможно, потому я и остался в живых.

Уцелеет и Молотов. Но если по роду дальнейшей деятельности я всегда находился за занавесом, он оказывался перед ним. В свете юпитеров, на страницах учебников. Однако старательно заботился при этом не играть самой главной роли. Он в чем-то — мой двойник. Ибо мы оба с ним были прислужники: я — тайный, он — явный. Но если на Страшном суде нас спросят: «Чем вы занимались?» — думаю, оба ответим Всевышнему одинаково: ***«Выживали, Господи…»***

Уже на следующий день Исполком Совета начал контролировать все действия Думы. Совет тотчас стал второй властью. Точнее, главной властью.

Действовать жестоко и грубо под защитой власти Молотов умел. Он быстро организовал постановление Исполкома Совета, в котором предписывалось: освободить огромное здание на Мойке, принадлежавшее какой-то монархической организации, для большевистской газеты «Правда». Молотов стал ее редактором. У дверей редакции появилась вооруженная охрана — восемь солдат, согласно постановлению Исполкома.

Пора было действовать и мне.

Большевистский дворец блудницы

Днем я пришел к особняку Кшесинской. Через ограду был виден безупречный английский газон. На этом стриженом лужку гуляла маленькая козочка. Эту козочку выводили на сцену, когда Кшесинская танцевала Эсмеральду. В саду резвился сынок балерины — мальчик в кудряшках. Незаконный сын кого-то из великих князей. Он играл с фокстерьером и козочкой. За ним наблюдала весьма нужная мне молодая девица.

Эта была любимая служанка балерины. Неделю назад я сумел с ней познакомиться и вступить в самые близкие отношения. От нее я и узнал, что больше всего на свете она ненавидит свою госпожу! Это бывает с любимыми слугами.

Теперь я был в курсе всего, что происходило во дворце. Балерина последние дни очень нервничала, боялась нападения толпы на дворец.

Я передал служанке записку, которую она будто бы нашла на лужайке. В ней я написал: «Скоро наступит твой Судный день. Берегись, царская блудница!»

На следующий день очередная гигантская толпа вышла на улицу. Покрытая красным кумачом, она, как обычно, двинулась к Думе мимо дворца Кшесинской.

Из редакции «Правды» я позвонил во дворец и попросил хозяйку.

Испуганный женский голос:

— Алло.

— Добрый день, госпожа Кшесинская. Хотя сегодня он не очень добрый для всех нас. Я звоню вам из кабинета Александра Павловича… — (градоначальника Петрограда Балка), — по просьбе его превосходительства. Не сочтите за труд, Матильда Феликсовна, подойти к окну. Вы их видите? Эту бесконечную толпу?

Она (совсем испуганно):

— И что?

— У нас есть сведения: чернь нападет на ваш дворец… С часу на час.

— Но как же так?! Немедленно пришлите охрану.

— Боюсь, сударыня, вы не понимаете нынешней ситуации. Командующий гарнизоном генерал Хабалов и военный министр Беляев, к сожалению, исчезли в неизвестном направлении… Обстановка слишком опасна для вас. Я ваш верный поклонник, сударыня. Мне горько говорить вам, я прошу прощения… но злые люди именуют вас «госпожой Дюбарри»… Я хочу надеяться, что

вас не постигнет ее участь.

— Что мне делать?

— Собрать самое ценное… Надеть на себя все самое простое… И прочь из опасного дворца. Спасайтесь, дорогая Матильда Феликсовна!

— Нет, нет! Тысячу раз нет. Я не брошу мой дом! Соедините меня с градоначальником.

— Непременно, как только он появится. Ибо он тоже исчез, и, думаю, надолго. Власть в городе… точнее, ее нет… она у толпы. Простите, мадам, но мне тоже пора уносить ноги… У нас уже стреляют.

Я повесил трубку. После чего по моему знаку по дворцу балерины выстрелили с улицы. Я представил ее лицо, когда в ее зимнем саду, обращенном к Петропавловскому собору, с хрустальным звоном разлетелось огромное стекло. Как рассказала потом «моя» служанка, после выстрела Матильда тотчас убежала в спальню. Вернулась с фокстерьером в одной руке и ридикюлем в другой. Там были сложены ее драгоценности. К восторгу служанки, она надела ее пальто! Взамен отдала ей восхитительную шубку из горностая.

Далее состоялось представление, которое наблюдал дежуривший у дворца Шляпников. Кшесинская, в жалком пальто, в белом пуховом платке, надвинутом на глаза, торопливо вышла из дома. В одной руке у нее были крохотный фокстерьер и небольшой ридикюль. (Там лежала жалкая часть того, что осталось у нее от всех несметных богатств… Прочие вещи, как я сообразил, наверняка брошены во дворце.) Другой рукой она держала маленького сына. Он хныкал, упирался, не хотел идти, требовал взять с собой козочку. Но она его тащила по улице, умоляя:

— Тише… тише… только тише!

Броневой отряд — это, пожалуй, единственная часть в столице, которая тогда подчинялась большевикам. После ухода балерины я вызвал его, и солдаты заняли весь первый этаж. Изысканный винный погреб хозяйки был конечно же сразу опустошен, и на лужку на костре жарилась на закуску бедная козочка Эсмеральды.

Помню, как мы ходили по дворцу. Красная ковровая дорожка на лестнице, лепные украшения, бронза… В зимнем саду — камин каррарского мрамора, ослепительно-белая мебель и великолепный белый рояль. Я сразу понял, что в этом зимнем саду удобно устраивать конференции. Так что рояль мы вынесли… В подвальном этаже я обнаружил две гигантские гардеробные. Открыл первую. Боже мой! Никогда не видел

столько горностаевых палантинов, шуб, платьев, огромных шляп, украшенных цветами, кокетливых маленьких парижских шляпок. В другой гардеробной висели ее костюмы из постановок и несколько мужских мундиров с орденами и аксельбантами. Как зло объяснила служанка, «все мундиры — романовские». Ее последнего любовника, великого князя Владимира, предыдущего — Сергея Михайловича и даже первого — царя… Все сохранила! В спальне — невиданного размера кровать, тоже, можно сказать, романовская. На нее после царя она впускала только великих князей.

Помню, как торжествующий Шляпников вышел на балкон. Нескончаемая толпа подошла к особняку и теперь текла мимо него. Опьяненный успехом, Шляпников решил перейти в большевистское наступление. Он прокричал с балкона:

— Граждане! Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков!

Толпа тотчас остановилась. Обрадовалась, что можно кого-то приветствовать и, главное, кричать. И задрожали стекла от рева: «Ура!»

Подперли задние, запрудили улицу, толпа росла, становилась огромной.

— Конец ненавистному царскому режиму! — продолжал Шляпников.

— Ура!

— Ура, товарищи! Ура! Ура!

Они готовы были кричать «ура» бесконечно, требовалось только прибавлять про свободу и «ненавистный царский режим».

Потом Шляпников обратился к толпе с любимыми ленинскими мыслями:

— Товарищи! Капиталисты и помещики хотят продолжать кровавую бойню. Они велят нам: «Защищайте Россию!» Но не о России они радеют, а о своем богатстве. Вон у Родзянки сколько земли в Екатеринославской губернии… В Новгородской едешь лесом, спросишь: «Чей лес?» — отвечают: «Родзянковский»… Товарищи, давайте подумаем — не променяли ли мы шило на мыло? Нужны ли нам все эти графы, князья и прочие, мать их, родзянки?

Восторженный рев толпы.

— И еще, — совсем разошелся окающий Шляпников. — Почему на Петропавловской крепости до сих пор нет красного флага? Может быть, в ледяных казематах по-прежнему томятся наши братья? Не пойти ли нам всем миром в эту самую, мать их так и разэтак, крепость?

— Ура! — поддержала толпа и уже начала разворачиваться

идти в крепость, как откуда-то выскочил молоденький офицерик. И неожиданно басовито закричал:

— Что ж ты такое несешь, сукин ты сын! Гражданин Родзянко сына своего единственного на фронт послал. Он и с царем за нас воевал, пока ты этому царю поклоны в церкви отбивал. «Отдам последнюю рубашку, жизнь сына и свою отдам, только была бы жива Россия…» — это Родзянко при мне сказал. Я офицер из Петропавловки и говорю вам: мы за вас! Никаких заключенных у нас давно нет, сволочь ты штатская. Стрелять по нам захотел?! Может, на фронт пойдешь вместо того, чтобы в тылу жировать? Вообще, граждане, не немецкий ли шпион этот сукин сын?

— Правильно! — охотно завопила толпа. — Тащить его в Думу! Ура!

Я понял: пора действовать. Броневой отряд в толпу стрелять не будет. Еще мгновение — толпа ворвется арестовывать Шляпникова и заодно разгромит особняк.

Я выскочил на балкон и заорал на Шляпникова:

— Ишь, гнида вонючая! С Петропавловкой воевать! Откуда ты здесь такой взялся?! — И грозно кому-то в комнату: — Арестовать его! И в Думу его, мерзавца!

Вытолкнул его с балкона в комнату. Все сделал, как научил Керенский. И закончил, как закончил бы он. Не давая опомниться толпе, заорал:

— Ура, товарищи! Ура — нашим братьям, доблестному воинству Петропавловской крепости! Ура — нашей великой Революции! Ура — гражданину Родзянко, председателю Комитета нашей Думы!

Счастливый вопль толпы:

— Ура!

Я запел «Марсельезу», толпа подхватила.

Я вернулся с балкона в залу. Молотов, посмеиваясь… преспокойно пил чай! Железные нервы! Сколько раз в будущем, глядя на него, я подумаю о том же. Бледный Шляпников расхаживал по комнате и яростно грыз ногти. Он был очень самолюбив. И сейчас здорово меня ненавидел.

После этого я решил увеличить охрану дворца. Неожиданным оплотом оказался Кронштадт, где сразу захватил власть удалой большевик мичман Раскольников. Я телефонировал ему, и он прислал отряд матросов. Они встали на постах вокруг дворца. Столь понятная для улицы революционная сила — матросы. «Клешники» — как звала их улица (матросы носили брюки клеш, удало расширявшиеся от бедра книзу)…

Уже через несколько дней дворец было не узнать. В верхних комнатах все прокурено махоркой. По заплеванным и

засыпанным окурками лестницам сновали матросы и немногочисленные члены нашей партии. Белая мебель стала замысловато пятнистой.

Чхеидзе наконец-то вспомнил обо мне, и я стал членом исполкома Петроградского Совета. Помню, как в Совет пришло великое известие: революционные железнодорожники заперли царский поезд у Пскова и царь оказался мышью в мышеловке.

В тот же день я предложил от имени большевиков выслать грузовики с солдатами в Псков, захватить Николая Кровавого и привезти его в Совет. Предложение приняли. Но пока мы голосовали да грузовички снаряжали, посланцы от Думы тайно рванули к царю на поезде. Наши грузовики остановил на пути к Пскову командующий фронтом генерал Рузский.

Следующей ночью пополз слух — царь в Пскове отрекся. Неужто свершилось! То, о чем год назад нельзя было даже помыслить: победила революция!

И покатилась она, как колобок из сказки, из столицы по всей стране. С какой быстротой сдавалась повсюду царская власть. Почти везде губернаторы, полицейские чины, начальники гарнизонов торопливо присягали Думе. Но и это не спасало — арестовывали и кое-где постреливали.

В городских думах прилюдно топтали, кромсали царские портреты, заодно досталось и портретам прежних самодержцев. Но одно было непонятно: если такое общее остервенение против власти, почему эта власть не пала раньше? Впервые за жизнь я испытывал удивительное ощущение — отсутствие страха. С рождения мне внушали страх. Если слишком веселился в детских забавах, отец объяснял мне, какой это грех — ***веселиться,*** не выучив уроки. В семинарии мне объясняли, как я виноват перед Богом, потому что люблю грешный мир и его удовольствия. Страх, беспокойство, осознание «виновности» самого твоего существования было в самом воздухе Империи… И когда я стал революционером, появился еще один — животный страх при виде любого полицейского… Теперь же будто что-то спало, ушло тяжеленное бремя страха. Впервые за тридцать семь лет жизни я никого не боялся!..

Но уже на следующее утро страх вернулся. Прибежал надежный человек и сообщил, что царь и вправду отрекся, но отрекся в пользу брата. Двое думцев, добывших отречение, — октябрист Гучков и монархист Шульгин — только что вернулись в Питер. Откушав в привокзальном ресторане, сейчас отправились в железнодорожные мастерские, благо, расположены они совсем рядом с вокзалом. Там уже собрали людей на митинг, и они провозгласят царем брата Николашки Михаила… Значит, прав

был Шляпников? Ничего не случилось: матушка Расея на мгновение проснулась и… повернулась на другой бок — продолжать спать! Вот и вся Революция! Опять слякотная власть и толстожопый полицейский?!

Времени не было. Мы с Молотовым (он из этой петроградской тройки всегда казался мне самым толковым) помчались в мастерские. Приехали вовремя.

Помню, солнечное мартовское утро через стеклянную крышу освещало помещение, черную толпу рабочих, заполнивших огромный ангар. Люди толпились внизу у помоста, иные залезли на стоявший здесь же в ангаре паровоз. Гучков, знаменитый думский оратор, очень бледный, по лицу видно — нервничавший, влез на помост — говорить. Но я — тут как тут… Залез туда же, встал за ним. Молотов остался в толпе — заводить народ.

Гучков начал рассказывать о царском отречении. Какая это народная победа и какой он сам герой, ибо всегда был в оппозиции к царю, и какая это радость — смена монархов. В конце, как дьякон в церкви, заливисто провозгласил:

— Да здравствует государь всея Руси Михаил Второй!

Тотчас, не теряя времени, я закричал в черную толпу:

— Товарищи! Зачем нам новый Романов? От одного избавились, теперь другого сажают на шею? Измена, братцы! — изо всех сил выкрикнул. Голос у меня слабый, так что сразу охрип! Но все равно попал в яблочко! Народ зашумел:

— Не нужен нам царь! Нам Романовы не нужны!

Я, счастливый, хрипло, но грозно добавил:

— Не закрыть ли нам двери, чтоб разобраться с этими господами в бобровых шубейках?

Снова получилось!

— Закрыть! Закрыть! Измена! — с одобрением заревела толпа.

— Отречение в пользу царского отродья Михаила Романова отобрать! — продолжал хрипеть я.

Я видел, как радостно, с готовностью начали закрывать двери ангара, как растерялся, стал жалким такой грозный в Думе Гучков…

Но тут опять знакомая беда. Некто совсем молоденький вскочил на платформу. Закричал возмущенно во весь голос (голос молодой, сильный!):

— Это что же такое творится, друзья! Гражданин к царской власти ездил, и они его не тронули! Хотя заарестовать могли! Даже пострелять! А мы с вами, рабочие люди… Гражданин Гучков к нам пришел, чтоб с нами поделиться, а мы его… За что?!

И тотчас другой думец — лысый усатый монархист Шульгин

— протиснулся к трибуне, забасил оглушительным, начальственным, барским голосом:

— Граждане, сейчас идет экстренное заседание правительства совместно с представителями Совета. На нем обязан присутствовать ваш гость Василий Иванович Гучков. Попрошу его более не задерживать!

Веселый рев толпы:

— Открыть им двери! Пущай заседают!

Они пошли к выходу. Выдержали, шли неторопливо. Вот так, в зависимости от силы крика, жалкое стадо, наш знаменитый «глас народа — глас Божий» принимал свои решения. Это и есть Революция! Сколько раз я еще увижу подобное в этом треклятом веке.

Впрочем, все эти размышления нынешние. Размышления старика. Тогда яростный, сильный, я только прохрипел:

— Выпустили манифест из рук, проклятые глупцы!..

Шли обратно вместе с Молотовым. Я молчал. Заговорил он сам:

— С нашими голосами на такие митинги не ходят. С такими голосами можно не то что голос — голову потерять.

А ведь он был прав. Мне бы понять уже тогда простую истину: если голос у тебя тихий, лучше молчи!

Конец царской армии

Я уж не помню точно, но, кажется, это было сразу после отречения царя. Я пришел в Совет, чтобы до конца обговорить торжественный церемониал встречи наших туруханских большевиков. Однако даже начать не успел — вбежал какой-то солдатик:

— Царь в Думу приехал сдаваться, вот те крест! На ступенях стоит! Пошли смотреть, ребята!

Все мигом побежали на крыльцо, я — за ними.

Перед дворцом гремела музыка и разворачивалось очередное представление. Под звуки оркестра в безукоризненном строю молодец к молодцу выстроился знаменитый царский Морской экипаж. Тот, кого солдатик принял за царя, — высокий, в мундире с аксельбантами, в золотых погонах великий князь Кирилл Владимирович. С потерянным лицом он взбежал по ступеням. Наверху важно стоял толстый Родзянко. Великий князь, вытянувшись перед Толстяком, о чем-то рапортовал. Солдатики вокруг кричали «Ура!».

Но сзади я услышал:

— И чего кричат! Ежели у нас Революция, нужно этого Романова к стенке. Ежели ее нет, к чему весь сыр-бор?

Я обернулся. Стоит серая шинелька, рука на грязноватой перевязи, глаза — хмельные, беспощадные. Я еще раз понял: у нас пока не пожар, у нас пока дымок. Настоящий пожар впереди… Прав Бакунин: мужик наш любит огонь! У нас еще не настоящая Революция, а только ее обманное, благостное начало…

В тот день я так и не успел поговорить о прибывавших туруханцах.

Когда вернулся в комнату Совета, внутрь уже было не протолкнуться. Вся комната забита солдатиками. За столом — вальяжный меньшевик Соколов, вчерашний успешный присяжный поверенный, любимец дам. В революцию пришел за властью… Настоящей власти он так и не обретет, зато во времена Кобы получит пулю… Но в начале Революции было его время — время говорунов! Сей златоуст являлся тогда влиятельным человеком в Совете.

Сейчас он важно восседал за столом. Стол облепили серые шинели. А он приятнейшим баритоном читал вслух изумивший (точнее, восхитивший) всех текст:

— В армии отныне ***избираются*** ротные, батальонные комитеты, каковых выбирают ***сами*** солдаты. Они и есть теперь ***власть*** в воинских частях.

Рев восторга:

— Ишь как загнул!.. Дальше читай!

— Дума имеет право издавать приказы по армии, только если они не противоречат постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов.

Счастливый вопль солдат. Голоса:

— И чтобы солдатам более не тыкали… На «вы» нас пусть называют… И чтоб оружие у офицерья забрать!

— Добавим, — кивнул Соколов и продекламировал: — «Все оружие изымается у командного состава и ***передается в распоряжение ротных и батальонных комитетов».***

Общий рев:

— Любо! Режь дальше!

Серые шинели окончательно закрыли Соколова. Уже не он читает, а они диктуют ему… Принял участие и я. И как-то неожиданно оказавшийся здесь же Молотов. Он тоже подавал реплики из-за солдатских спин. Тихим, тонким, заикающимся голосом, а толпа враз подхватывала хриплыми глотками:

— Отменяется отдача чести вне строя и титулование командного состава «благородиями» и «превосходительствами»…

Восторженный рев. Чей-то выкрик:

— Мы теперь сами баре!

Хохот:

— Правильно! Голосуем!

Лес серых рукавов…

Это и был текст приказа Совета под номером один, после которого царская армия перестала существовать.

Бриллианты балерины

Во дворце Кшесинской события развивались! Мы уже тогда решили создавать нашу Красную гвардию из рабочих и верных солдат. Требовалось закупать и перекупать оружие, которое теперь было у солдатских комитетов. Нужны были деньги.

Я понимал: балерина не могла унести все в маленьком ридикюле. Драгоценности лежат где-то во дворце. Я обыскал все, но ничего не нашел!..

Обычно я ночевал с подругой-служанкой на огромном ложе балерины. Ей очень хотелось побыть госпожою. Она надевала ночью пеньюар Кшесинской. Мысль, что на этой кровати забавлялись Романовы и сам царь, очень возбуждала ее, а меня здорово злила. Когда же она попросила меня примерить мундир отца ребенка балерины великого князя Владимира, я ее возненавидел… Но терпел. Потому что чувствовал: сучка знает, где камешки. Она отрицала. Однако во всех комнатах я поставил круглосуточную охрану, чтобы она не вынесла ничего. Наконец она поняла: без моего ведома их не получит.

И вот однажды ночью она зажгла свечу и уселась на огромной кровати.

— Зря ищешь, без меня не найдете. Дашь треть — покажу, где она спрятала.

Я согласился.

Изголовье кровати карельской березы было украшено резьбой: райское дерево и возле него Адам и Ева с яблоком.

Она встала на кровати и с силой надавила на это самое грешное яблоко. Изголовье тотчас раздвинулось, за ним оказалась стена, оклеенная обоями.

— Здесь, — сказала она.

Я соскоблил ножом обои. Под ними был обычный сейф. Я участвовал во множестве эксов, открыть подобный сейф не составляло большого труда. Требовались только инструменты…

Утром пришли петроградские товарищи — Шляпников и Залуцкий. Я велел отыскать воровскую фомку и газовую горелку.

Принесли довольно быстро, видно, партия хорошо усвоила завет Нечаева — «соединиться с разбойничьим миром». Орудуя фомкой и горелкой, я открыл сейф мгновенно. Как сверкнуло в темноте! Он был набит драгоценностями. Помню великолепную диадему с крупными бриллиантами и причудливые украшения из золотых пластин: нагрудники, витые золотые спирали…

Моя подруга пояснила со злой усмешкой:

— Это золото она надевала пятнадцать лет назад, когда

изображала Клеопатру… Едва прикрытая этими золотыми пластинами — одеянием Клеопатры, полуголая, верховодила она особым представлением. Она называла его «живые картины». Происходили «живые картины» в Стрельне, у нее там огромный дом. Точнее назвать — дворец. Еще точнее — бордель. Она собирала в нем нас, совсем молоденьких начинающих балеринок. — Я уставился на нее, она засмеялась. — Да, я была тогда начинающей балериной… но недолго… Собирала нас в танцевальной зале. Слуги гасили свечи, уходили, а мы ждали. В темноте открывались двери залы, и целая толпа молоденьких великих князей врывалась в комнату. Хватали нас на руки или просто волокли… И с нами исчезали в комнатах дворца… Мы не успевали разглядеть их в темноте, прежде чем начать раздвигать ноги… Это называлось «Похищение сабинянок»… И если некоторые дуры вроде меня влюблялись в своего похитителя, она быстро приводила нас в чувство. Мне сказала: «Посмотри на ноги… С такими короткими ногами больше одного раза с тобою…» Кстати, у нее самой толстые короткие ноги, но Матильда всегда была уверена, что неотразима. Это действует на вас, баранов…

Она еще что-то рассказывала про свою хозяйку, с такой же «любовью». Но я уже плохо слушал. Я смотрел на все эти сокровища и подсчитывал. Можно было выручить состояние! По моему лицу она почувствовала неладное. Испуганно посмотрела на меня. Я сказал ей правду:

— Ты должна быть сознательной. Все это пойдет на оружие для новой Революции. К власти придут такие же, как ты… Потерпи! Завоюем власть и тогда с тобой расплатимся щедро.

Нельзя сказать, что я вел себя честно, но Революция требовала. Как же она меня честила, несознательная, бедная барышня. Даже бросилась драться. Пришлось матросикам выставить ее из дворца. Теперь ночи мои стали безрадостными, но зато я смог перестать ночевать на проклятом ложе, измазанном романовской спермой. Историческую кровать я велел сжечь, спальню превратили в канцелярию партии.

Возвращение Кобы

Скорости Революции… За день она проживает столетие. Так что зря старались Шульгин и Гучков. Даже жалкому Временному правительству, назначенному Думой, стало ясно: нового царя быть не может. Да и старого, так покорно согласившегося отречься, нельзя было оставить на свободе. Я точно знаю, они клятвенно обещали Романову отправить его с семьей в Англию. Но пришлось им отправлять их под домашний арест в Царское Село. И вчерашних своих знакомцев, царских министров, таких же господ, как они, поселить в казематы Петропавловки.

Сделать все это заставили правительство Совет и господа меньшевики и эсеры, бывшие там в комфортном большинстве. Они не понимали, что ускоряли, разгоняли Революцию на свою голову!

Как ярко светило в те дни мартовское солнце! Но уже где-то зарождался шторм, невиданная буря. Все старое должно было быть низвергнуто. На вершины готовились подняться новые гиганты, которые при падении окажутся жалкими карликами и погибнут в крови истинной русской Революции.

Освободив место для ***одного.***

Я ехал на вокзал. По весеннему Петрограду, залитому столь редким здесь ослепительным морозным солнцем. Встречать друга Кобу. В воздухе стоял запах гари. Догорали, дымились, тлели остовы полицейских участков, охранных отделений…

После моих настойчивых просьб Чхеидзе выделил для встречи два автомобиля. Вот и все. Никакой официальной делегации от Совета не было. Пришли встречать поезд немногочисленные петроградские большевики, к счастью, тотчас обросшие толпою зевак.

Поезд с туруханцами подходил к станции. Толпа не знала, кого мы встречаем, и не понимала, кому мы приветственно кричим. Но тогдашней петроградской толпе хотелось одного — митинговать. Услышав знакомое — про «жертвы проклятого царского режима и героев великой Революции», народ дружно орал: «Да здравствует!»

Вот так приветственным ревом встретил Петроград вчерашних политических заключенных и среди них — моего друга, безвестного неудачника Кобу…

Я и сейчас вижу, как он первым сходит с поезда — в валенках, в черном пальто и круглой фетровой шляпе с жалким узелком в руках. Темное лицо его стало еще старше. Первый раз за тридцать восемь лет Коба был награжден столь шумными

аплодисментами. Он испуганно, как-то затравленно озирался.

Вслед за ним под ликование зевак из поезда появились остальные туруханские ссыльные и главная знаменитость — Каменев. Помню, как Каменев, импозантный, с бородкой, о чем-то говорит с Кобой…

Тут Коба спохватывается и начинает рыться в узелке. Потом торжественно передает Каменеву… носки!

— Не надо, — улыбается Каменев. — В Петрограде не холодно. — И великодушно возвращает носки Кобе.

(В это время повсюду перестали топить — и в поездах тоже. В вагоне было пронизывающе холодно. Бедный мой друг, так и не привыкший в ссылке к холоду, мучился, мерз. Тогда Каменев отдал ему свои единственные теплые носки.)

— Спас ты меня, друг, спасибо. — Коба целует Каменева влажными губами…

Кто бы мог представить, что вот этот полузамерзший, несчастный Коба расстреляет почти всех встречавших его на перроне. И самого Каменева, с которым целовался, и его двух сыновей и жену. Она была тут же, на вокзале, эта барственная дама. Сестра Троцкого…

Сколько раз потом мне придется вспоминать историю Революций и столько же раз — вопль на гильотине несчастного французского революционера: «Революция — бог Сатурн, пожирающий своих детей. Берегитесь! Боги жаждут!» Но про это «Берегитесь!» мы забыли. Мы почему-то были уверены: история, как смерть, нас не касается. Она про других. Впоследствии мы будем говорить об этом с Бухариным в камере. Два старых революционера, отправленных третьим — Кобой в революционную тюрьму.

…Уже давно нет Бухарина, давно нет Кобы. А я все живу, не переставая страдать и надеяться…

А тогда жена Каменева строго взглянула на мужа, прервав благодарности Кобы:

— Нам пора.

Но тот сказал:

— У нас с Кобой есть одно важное дельце… А ты, киска, — смешно: он называл киской эту львицу, злую, яростную, волевую деспотку, — бери извозчика и жди меня дома. — И весьма повелительно обратился к Молотову: — Давайте-ка, батенька, садитесь с нами. И указывайте путь. Мы с товарищем Кобой едем к вам в редакцию…

На крыльях автомобилей, выделенных для встречи туруханцев, лежали солдаты с винтовками, исполняя роль новой почетной охраны.

Я, Коба и Молотов теснились на заднем сиденье, сам же Каменев сел рядом с шофером.

— Откуда автомобиль? — любознательно спросил он у шофера.

— Из царского гаража забрали. На ем Николашка ездил. Его француз-шофер обслуживал, нынче он в бегах. Таперича я.

— А где царь? — поинтересовался Коба.

— В Царском под охраной. И вся семейка с ним.

— Надо же… — прыснул в усы Коба. — Трудно привыкнуть после Курейки — ездить царем…

Несмотря на морозец, на улице было множество людей. Из многих кафе прямо на тротуар были вынесены столики, за ними сидели солдаты с красными повязками, пили чай с калачами, хрустели сахаром вприкусу. «Спасителей Революции» было положено бесплатно поить чаем. Несмотря на утро, по улицам уже брели толпы вооруженных и безоружных людей. И эти толпы все время пели. Революция очень музыкальна. Революционные песни сменялись криками «ура!», крики — революционными песнями. У этих горланящих, еще вчера слоняющихся без дела толп теперь появилась внятная, счастливая цель — искать «народных палачей — полицейских и жандармов» и «окопавшихся контрреволюционеров». По всей столице шли теперь устроенные нашим Советом обыски и аресты представителей прежней власти.

Помню, я возглавлял один из таких обысков. Это была квартира князя Г., директора одного из хозяйственных департаментов. Старик-князь величественно восседал в кабинете за столом и, не обращая на нас внимания, читал книгу в роскошном переплете. Я оставался с ним, пока мои солдатики, как-то робея, пошли обыскивать комнаты. Потом вернулись. И тогда князь, не глядя на них, спросил:

— Закончили, господа?

— Закончили, точно так, — сказал солдатик.

— Тогда часы мои, те, что лежали на камине в гостиной, не изволите ли положить на место?

Я понял: мерзавец нарочно их оставил на камине, точно зная, что его золотые часы солдатики непременно сопрут.

— Отчего же не положить… положим, — смущенно ответил один из солдат и вынул их из кармана, потом, вздохнув, прибавил: —Хоть за труды дайте на чай, барин?

Князь насмешливо посмотрел на меня:

— Если ваш начальник не возражает…

Я готов был провалиться сквозь землю, но… промолчал. Уж очень хотели денег солдатики. И он положил деньги на стол…

Да, уважение к барам еще не прошло у одних. Зато в других

уже полыхала революционная ярость.

По дороге Каменев попросил остановить автомобиль у сгоревшего охранного отделения, хотел насладиться… Коба с усмешкой, молча смотрел на обугленные, все еще дымящиеся развалины. В это время из дома напротив выскочил некто очень высокий, дородный, в дорогой шубе, понесся по тротуару вдоль шагавшей по проезжей части толпы.

— Лови! Уйдет, паскуда! — кричал выбежавший за ним маленький матросик.

Тотчас кто-то вырвался из толпы и умело подставил ножку бежавшему. Тот плюхнулся в грязь в своей роскошной шубе.

Матрос подоспел, поднял его за воротник и теперь крепко держал за шиворот. Толпа окружила их. Тот, в шубе, был очень высок и, должно быть, силен. Но почему-то покорно стоял. Лицо, измазанное грязью, торчало над толпою.

— Этого сукина сына, граждане, я знаю, — громко крикнул матрос в толпу, — я долго его искал. Он лично меня допрашивал. В зубы мне тыкал. А таперича вот я его. — И, подпрыгнув, ударил высокого кулаком по зубам. Тот молча сплюнул зубы кровавыми губами.

— Большой ты был начальник, ваше благородие? — закричал матрос. — Плохо тебе сейчас? Отвечать будешь?

Высокий молчал, и матрос, снова подпрыгнув, еще раз ударил кулаком.

— Плохо, — прошептал тот, опять сплевывая.

В этот момент он заметил нас. Глаза его с мольбой уставились… на Кобу! Коба отвернулся, но было поздно. Высокий вырвался из рук матросика и бросился к нему. Я слышал его шепот:

— Спасите! Вы можете!

Коба оттолкнул его и как-то удало, весело крикнул в толпу:

— Бей гниду, братцы, — и мне торопливо: — Что стоишь? Бей гада!

Я, как всегда, исполнил. Бросился на шубу, столкнул его в грязь, но тотчас отскочил, и вовремя. Жадная до расправы толпа набросилась, добила.

Высокий лежал в грязи в своей шубе. Кто-то, мгновенье назад бивший его, наконец поинтересовался:

— За что его?

Из толпы ответили:

— Кто ж его знает… Он таперь неживой, не ответит.

Матрос объяснил:

— В сыскном — бо-ольшой чин! Ишь шуба какая. Да что ж добру пропадать, православные. — И он деловито начал снимать

с мертвеца шубу.

Именно тогда я впервые начал догадываться о тайне Кобы.

Мы приехали на Мойку. В кабинете Молотова состоялся разговор…

Коба снял черное пальто. Под ним оказался поношенный пиджак, косоворотка, брюки, заправленные в валенки. Каменев тоже повесил пальто, оставшись в отличной тройке (такую впоследствии я увидел на Ильиче.) Не хотел быть похожим на народ. Был прав. Главное свойство нашего народа — «своих» не уважать.

Молотов с Кобой были знакомы по общей ссылке, но это никак тогда не проявилось. Встретились, будто чужие.

Каменев начал изысканно, вежливо:

— Итак, давайте уточним, голубчик, кто редактирует главную газету партии.

— Я, — ответил Молотов.

— Я хотел бы внести некоторое изменение, молодой человек. Главную газету партии с сегодняшнего дня редактируют новые товарищи — член ЦК нашей партии товарищ Коба Сталин и товарищ Каменев, бывший ее редактор, член Государственной думы, глава большевистской фракции. Прошу нас любить и очень жаловать. Я надеюсь, голубчик, у вас возражений нет?

Молотов задумался. Потом обвел глазами приезжих. И сказал:

— Возражений нет. Мне уходить?

— Ни в коем случае. Вы будете нам помогать, — улыбнулся Каменев и затем попросил всех нас оставить его наедине с Кобой.

Мы с Молотовым вышли в коридор. Здесь на стуле сидел приехавший следом Шляпников. Не стесняясь моего присутствия, он набросился с матерком на Молотова — зачем уступил (подслушивал под дверью).

Молотов усмехнулся и, как обычно, ответил очень спокойно:

— Скоро приедет Ильич, у него всегда особое мнение. Что бы ни написала в газете эта компетентная парочка, они ошиблись… Ильич уничтожит этих самодовольных глупцов. Так что пусть за газету отвечают они.

Шляпников задумался. Он знал, как и все мы, что Ильичу приехать в Россию из Швейцарии невозможно. Но он знал, как и все мы, что Ильич тем не менее обязательно приедет. Так что Шляпников, поразмыслив, больше ничего не произнес.

Каменева завезли домой и поехали к друзьям Кобы — Аллилуевым. Он в письме договорился поселиться у них. По дороге я спросил Кобу:

— Мы давно не виделись. Как тебя теперь называть?

Я знал: уже с 1914 года он стал подписываться Сталин.

— Товарищ Сталин, но для тебя — Коба… Для старых друзей до смерти — Коба.

— Почему Сталин?

— Потому что сталь все выдержит… Мне кажется, мой старый знакомый Молотов хорошо усвоил, что стали молот не страшен. И освободил место. А вот тот, в коридоре — не понял, потому, как болван. — У Кобы всегда был очень хороший слух.

— Почему Каменев?

— Товарищ Фудзи забыл Евангелие. А вот товарищ Каменев помнит, хотя в семинарии не учился… «На этом камне я построю церковь…» «На этом камне я построю партию», — будто бы сказал про него Ильич. Вряд ли сказал, если только не был в очень хорошем настроении. Самодовольный человек — Каменев.

— А почему не Сталинов? Ведь Каменев и Молотов…

Коба засмеялся:

— Дурак! Потому что Сталин — как Ленин…

Великие всегда слышат тайный голос Провидения.

Он будто услышал тогда это имя, которое легко кричать и славить.

«За родину, за Сталинова!» — нет музыки! «За родину, за Сталина!» — лихо!

Последняя любовь Кобы

Аллилуевы жили в обычном петербургском доходном доме. Квартира находилась под самой крышей на последнем этаже. Родители отправились покупать угощение для гостя, нас встречало новое поколение.

Я запомнил хорошенькие лица двух гимназисточек, выглядывающих из-за плеча брата Федора…

Я вошел первым, и одна из них, черноглазая, тоненькая, бросилась мне на шею. Потом смешно отпрянула. Коба, вошедший за мной, прыснул в усы.

— Боже мой! Вы очень похожи, — сказала она. (Мы давно не виделись с Кобой, и я успел подзабыть этот частый рефрен.)

— Это Фудзи, мой брат, — пояснил Коба.

— Настоящий брат? — спросил Федор.

— Больше, чем настоящий. Он — друг…

Пили чай. Помню, провожая меня к дверям, Коба шептал:

— Хороша?

Помимо черноглазой Нади за столом сидела ее сестра, но я не спрашивал, о ком он шепчет. Я знал этот взгляд, когда буквально пылали его желтые глаза. Я хорошо видел, на кого он так смотрел.

— Похожа на грузинку…

(Прабабка Нади была цыганка. Опасная цыганская кровь!)

— Смугленькая… И рыженькая, как мама, — продолжал Коба. — Я женюсь на ней, — он засмеялся. Счастливо засмеялся.

Немолодой грузин (под сорок) решил жениться на девочке-гимназистке. На нашей маленькой родине такие браки — в порядке вещей.

Семью Аллилуевых я знал по рассказам Кобы. Не раз, бежав из ссылки, он прятался у них в квартире.

Отец Нади, столяр, был в нашей партии со дня основания. Ее мать — маленькая зеленоглазая красавица с пепельными волосами. В молодости столяр Аллилуев, плечистый черноволосый, красивый парень, много раз изгнанный с работы за революционную деятельность, снимал угол в их доме. Ей было четырнадцать, когда она смертельно влюбилась в будущего мужа. И объявила матери, что выходит за него замуж. Мать заперла ее в комнате, выдать дочь за бездомного столяра-революционера ей не улыбалось. Девушка не сомневалась в ответе матери и обо всем позаботилась заранее. Возлюбленный ждал ее у дома. Она выбросила узелочек и спустилась по веревке со второго этажа. Веревка оборвалась, она упала, сломала ногу. Но влюбленный

Аллилуев унес ее на руках… Страстная была женщина. Будучи замужем, ничего не могла поделать с тем же «огненным темпераментом». Когда новая страсть беспощадно завладевала ею, она не обманывала несчастного Сергея. Попросту уходила из дома. Но каждый новый роман заканчивался возвращением к доброму мужу…

Впоследствии я услышал опаснейшую историю. Будто появление в доме Робин Гуда Кобы не оставило равнодушной пылкую женщину. И рождение младшей дочери Аллилуевой Нади имело отношение к этому роману. Надеюсь, это легенда. Во всяком случае, в тот же вечер Коба рассказал мне, что познакомился с Аллилуевым, когда Надя уже появилась на свет… Он дважды мне это рассказывал — видно, знал о легенде. Даже добавил новую подробность о том, как в детстве спас маленькую Надю. Она купалась в реке и начала тонуть, он в одежде бросился в реку. Но, насколько помню, он так и не научился плавать — стеснялся шести пальцев на ноге.

Отелло и Дездемона

Я навестил у Аллилуевых Кобу через несколько дней. Он попросил меня привезти Камо. Я привез.

Мы пили чай. Родителей опять не было. За столом сидели сестры Надя и Анна и брат их Федя. Я и сейчас вижу ***ту*** Надю. У нее смуглая кожа прабабки-цыганки. Темные волосы расчесаны на прямой пробор, ровно падают на плечи, и такой же безупречно ровный прямой нос и тонкие губы. Все это создает ощущение чего-то твердого, непреклонного. Женственны только невысокая точеная фигурка и, конечно, глаза — огромные, карие, нежные и… печальные.

Напротив Аллилуевых сидим мы — Коба, Камо и я. Младшие Аллилуевы завороженно смотрят на Камо. Еще бы — герой партии. Так ловко умел убивать! Сам герой партии рабски преданными глазами глядит на Кобу. Коба же… весь вечер весело подтрунивает над Камо, а тот добродушно сносит. И Надя чувствовала: легендарный Камо боготворит Кобу! Неразговорчивый Камо вдруг начал рассказывать о наших подвигах, о том, как был бесстрашен Коба… Хотя Коба строго запретил упоминать о его участии в эксах. Но я понимал — на этот раз он разрешил. Да, он был влюблен. Второй и последний раз я видел его влюбленным.

Наконец Камо замолчал, и теперь уже заговорил Коба. Говорил не умолкая. Надо заметить, он был в ударе. Все время поглядывая на Надю, смешно рассказывал, как на каждой остановке поезда господа буржуи с красными бантами приветствовали их — «жертв проклятого царского режима». Как в привокзальных ресторанах испуганные хозяева кормили голодных «жертв» бесплатно. Она хохотала. После смешной истории тотчас последовала трогательная. О собаке Тишке, с которой одинокий Коба разговаривал в бесконечные полярные ночи.

— Я часто рассказывал ей о вас всех, — признался Коба. — Причем так часто, что при слове «Аллилуевы» она радостно, долго лаяла.

И опять хохотала Надя.

Польщенный, он завершил повествование совсем героически. Как в полярную ночь в чудовищный мороз, в пятьдесят градусов он отправился добывать рыбу, чтобы не умереть с голоду. И дошел… Через все дошел. С каким восторгом Надя, не читавшая рассказов Джека Лондона (которые читал Коба), смотрела на него! Боже мой, как она на него смотрела! Как горели ее обычно печальные глаза!

Я и сейчас вижу: они сидят за столом в начале века, пьют чай вприкуску и весело смеются… Камо, Надя, сестра ее Аня и брат Федя. Я смотрю на них из самого конца века. Я уже все знаю: Коба убьет Камо, посадит в тюрьму сестру Нади, погибнет и сама Надя, сойдет с ума ее брат… Опасный у нее жених! Но все это впереди.

Сейчас Надя смотрит на него хмельными, влюбленными глазами.

Его первая шахматная партия

Вначале я ничего не мог понять. Помню, с каким изумлением я читал «Правду», которую выпускали теперь Каменев и мой друг. Очень странно писал в ней Коба. Славил Российскую социал-демократическую партию, будто забыл, что единой Российской социал-демократической партии для нас, соратников Ленина, не существует: есть два непримиримых врага — большевики и меньшевики. Чего стоили призывы Кобы к завоеванию Босфора и Дарданелл, его требования непременно сохранить территории бывшей империи! Коба открыто топтал ленинские лозунги.

На моих глазах произошла яростная сцена. Я пришел к нему в редакцию и буквально столкнулся с ворвавшимся туда Шляпниковым. Оттеснив меня, он бросился в кабинет Кобы. Я услышал крик:

— Мы, большевики, призываем к ленинским лозунгам — братанию на фронте, немедленному прекращению войны! А ты что пишешь в нашей партийной газете? «Лозунг „Долой войну!“ совершенно не пригоден!» — вот что ты пишешь! Твой товарищ Каменев призывает солдат «отвечать пулей на немецкую пулю». А эта твоя империалистическая околесица — «завоевать проливы и сделать Черное море внутренним русским морем»?..

И тут я услышал ответный бешеный вопль Кобы:

— Вон отсюда! Убью, сволочь!

Раздался страшный грохот. Бедный Шляпников пулей вылетел из кабинета.

Когда я вошел, Коба преспокойно сидел за столом и писал. В углу валялся брошенный в Шляпникова стул. Он поднял голову и усмехнулся:

— Товарищ Наполеон учит нас: у настоящего политика гнев не поднимается выше жопы… Учимся, понемногу учимся, — и прыснул в усы.

…Шляпникова расстреляют в дни террора одним из первых. Коба ни про кого никогда не забывал…

Бедный Шляпников был прав: то, что писал Коба, было повторением того, что писали и говорили министры Временного правительства и меньшевистское руководство Совета. Так что и правительство, и вожди Совета сразу заметили Кобу, влиятельного функционера радикальной партии большевиков с такими удобными нерадикальными взглядами. «Коба Сталин» — так по-новому подписывал он свои статьи. По-новому подписывал он их не зря. В Петроград приехал совсем новый Коба. Прежний остался за Полярным кругом — преданный, жалкий глупец,

которого использовали и так легко забыли. Новый Коба Сталин больше не служил богу Ленину. Коба Сталин служил себе. Точнее, себе и Революции — постольку-поскольку она могла служить ему.

Все сильнее становится Совет. Безвластное Временное правительство ищет у него поддержки. В состав правительства введен один из лидеров Совета — эсер Александр Керенский… Во главе Совета по-прежнему стоял наш соплеменник меньшевик Николай Чхеидзе. Другой соплеменник меньшевик Ираклий Церетели — еще один вождь Совета. Вечное братство маленького народа… Конечно же оба захотели, чтобы большевики делегировали в руководство Совета грузина Кобу с такими полезными взглядами. Вчерашний всеми забытый туруханский ссыльный — теперь член Исполнительного комитета Совета, истинного властителя Петрограда. Свершилось! ***Приближаясь к сорокалетию, мой друг впервые соединился с властью.***

Шахматная партия проходила блистательно, но конец ее был впереди.

Унижение последнего царя

В это время нам опять понадобились деньги. Драгоценности Кшесинской не принесли большой прибыли. Рынок в те дни был буквально забит драгоценностями. Их щедро продавали обнищавшие хозяева прежней жизни и воры, по ночам грабившие их дворцы и квартиры. При этом жизнь ужасно подорожала. Так что расходы на создание Красной гвардии все возрастали. Деньги требовались и Кобе на партийную газету. Он сказал мне кратко:

— Надо достать.

Как же загорелись мои глаза — неужто вернулась наша молодость? Опять эксы!

— Говорят, плохо охраняются дворцы великих князей… — начал я.

— Где плохо охранялось, все уже взяли воры.

— Остается Царское Село, дворец с Семьей охраняют надежно. — Я усмехнулся.

— А ты узнай, дорогой, как его охраняют. Завтра туда поедет инспекция от Совета. Слух прошел, будто Семья сбежала.

— Как это сбежала, если охрана ее видит каждый день?

— Совет пустил этот слух, чтобы иметь повод показать свою власть. Я включу тебя в депутацию.

Вас будет двое: левый эсер Мстиславский — от эсэров и ты — от большевиков. Он старший, ты будешь не так заметен.

Автомобиль опять же с солдатами, лежащими на крыльях, повез нас в Царское Село. В автомобиле эсер Мстиславский (революционная кличка) глянул на меня насмешливо:

— А ты, погляжу, разоделся на царский прием.

Я был в обычном теплом пальто с меховым воротником и в шляпе.

— А ты нет, — сказал я, посмотрев на его поношенный полушубок с полковничьими погонами, надетый на матросскую блузу.

— Я тоже разоделся, но правильно. Именно так должны являться революционеры во дворцы тиранов. Весь мир теперь наш. И мы в нем устраиваемся как хотим и навсегда…

Мстиславский тоже погибнет в лагерях Кобы…

Подъехали к решетке Царского Села. Вокруг ограды парка охраны не было. Но за ней — саженные лейб-гвардейцы.

У Екатерининского дворца нас встретил молоденький поручик, начальник караула.

— По постановлению Петроградского Совета просим предъявить нашей депутации гражданина Романова, — объявил

Мстиславский и протянул предписание Совета.

— Смею узнать зачем? — спросил офицер.

— Смею ответить: слух нехороший, будто Кровавый царь убежал вместе с семьей.

— А мы что же, по-вашему, охраняем пустое место?

— Это нам и поручил узнать Совет рабочих и солдатских депутатов, — с упором на «солдатских» произнес Мстиславский. — Предъявите нам гражданина Романова.

Я помалкивал, стоя в стороне.

— Вот люди! — сказал в сердцах поручик. — Ладно, подождите… Он будет после обеда гулять в саду с наследником.

— Вы не поняли. Мы, эмиссары революционных рабочих и солдат, не собираемся ждать тирана. При проверках в царских тюрьмах мы, арестованные революционеры, представали перед царскими палачами по первому их требованию. И сейчас именем Революции мы требуем: пусть предстанет перед нами арестованный Кровавый царь.

— Нам велели сторожить полковника Романова. Но унижать его нам не поручали, — мрачно отрезал офицер.

— По-моему, вы хотите, чтоб мы ушли? Мы уйдем. Но тогда вместо нас сюда прибудут революционные солдаты. И увезут Романова в Совет.

Думаю, начальник охраны наконец-то понял, что все делается, чтобы Совет получил право захватить дворец и царя.

— Ну и люди! Дрянь люди! — сказал он в сердцах и позвал: — Арчиль!

Тотчас вырос двухметровый гвардеец — грузин.

— Проводи господ в Александровский дворец. Введешь их во внутренние покои и поставишь на перекрестке двух коридоров по пути в библиотеку. Я попрошу полковника Романова пройти мимо них…

Как же запело мое сердце. Грузин в охране! Зацепка была найдена сразу.

По дороге в Александровский дворец Арчиль Г. рассказывал нам:

— У Семьи все по расписанию. Романов обычно в это время идет из библиотеки навестить царицу. Она строгая, высокая, представительная женщина, царь — маленький, плюгавый, на царя-то не похож…

Подошли к жилищу царской семьи. Александровский дворец смотрел на небольшой пруд. После роскоши Екатерининского дворца он казался маленьким, жалким, каким-то заштатным. Но именно здесь, в доме последнего царя, должны были находиться семейные сокровища Романовых.

Вошли во дворец и тотчас попали в фантастический мир — в царскую жизнь из детских сказок. У дверей залы застыли арапы в чалмах и расшитых золотом малиновых куртках. Прошел мимо нас в шапочке с пером скороход, за ним — два лакея в ливреях и некто в треуголке.

Посреди этого маскарада стояли мы — «новый мир»: Мстиславский в засаленном полушубке и с браунингом за поясом и я в своем черном, видавшем виды пальто.

Арчиль как-то тихонько, почтительно постучал в дверь залы. Дверь отворилась, и на пороге между арапами появился Николай в гусарском мундире. Он теребил ус, равнодушно взглянул на меня, потом на Мстиславского. Но в следующий миг я увидел, как полыхнули глаза царя. Он только начинал привыкать к унижениям, этот человек, двадцать два года правивший Россией. Если бы он знал, что ему предстоит, и скоро!

Могила Распутина

Я начал встречаться с Арчилем Г.

(Пропускаю, как случилось наше сближение, как я сперва безуспешно подкупал его, как потом давил на его совесть — рассказывал о царских бесчинствах в Грузии. Как, наконец, он решился помогать нам.)

В тот день мы сидели в ресторане, он нарисовал схему караулов вокруг и внутри дворца. Окончательно убедив меня в том, что успешно напасть на дворец нереально. Тогда он предложил мне совсем другое.

Оказалось, здесь, на самой окраине парка, был тайно похоронен Распутин.

— На этом месте, — объяснял Арчиль, — Вырубова решила построить часовню. Когда убили Распутина, я как раз определился на службу — в конвой.

— Ты был в царском конвое?

— Я много где был. — Разговор явно не нравился ему. — Через день после нахождения тела старца, рано утром, все посты охраны внутри парка вдруг были сняты. У нас пошел слух, что в то утро в парке захоронили Распутина. Вскоре я узнал от грузина-священника, что в гробу лежали бесценные золотые кресты, иконки в драгоценных окладах и много подношений от царской семьи… Понять, где похоронили старца, мне было нетрудно. После Гришкиной смерти меня часто ставили в караул у этой самой недостроенной вырубовской часовни. Хотя охранять, кроме стропил и кирпичей, там вроде и нечего. Но днем, как правило, меня с караула снимали, чтобы через пару часов возвращать обратно. Я выследил: когда меня снимают, именно в это время царица и Вырубова приходят к недостроенной часовне и входят в нее! ***Я понял: могила там…***

— Когда пойдем? — прервал я рассказ.

— Да хоть сегодня ночью… Если не боишься.

— А чего мне бояться? — удивился я.

— Страшный был человек.

Я засмеялся:

— И я тоже страшный. Ты пойдешь со мной или нет?

— Как же я тебя одного оставлю? Надеюсь, не все для партии заберешь. — И добавил: — В парке есть вторая калитка, по прозвищу Царская. Александр II через нее любовницу свою проводил. Я ее тебе открою. — Он улыбнулся: — Лопаты я уже принес. Они в часовне.

Арчиль нарисовал, как мне найти калитку и часовню…

Была ночь, полнолуние. Ударил морозец. Деревья Царскосельского парка — в лунном сиянии. Изморозь мерцала на голых ветвях… Темный силуэт в лунной ночи — недостроенная часовня. Когда подошли поближе, я увидел: она вся в лесах. И вход старательно заколочен…

— Надо было принести с собой топор.

— Не надо. — Арчиль показал наверх. Там в свете луны зияло отверстие.

По стропилам мы добрались до отверстия и сквозь него проникли в часовню. Пол настелить не успели, внизу была земля. Помню, как мы разожгли лучины и начали рыть под иконостасом. Гроб оказался глубоко в земле. Но мы копали споро. И наконец лопата стукнула о крышку. Подняли гроб. Сбили крышку и в тусклом свете лучин увидели бороду и сложенные крест-накрест руки… Боже, чего там только не было! Золотые кресты, иконы в золотых окладах с драгоценными камнями, пасхальные яйца Фаберже… Мне почему-то стало не по себе. Я старался не глядеть на труп, Арчиль же развеселился и даже начал острить:

— Ну что, Григорий, не жалко с таким добром расставаться?

И принялся споро очищать гроб.

Наконец я взглянул на лицо трупа. Клянусь, оно было страшно… В свете луны — призрачное, безглазое.

Мы все забрали. Оставили только небольшой деревянный образок.

Впоследствии начальник Арчиля капитан Климов отыщет гроб. Откроет и ничего не найдет, кроме этого образка. Об этом будет много написано потом. Климов организует сожжение трупа. Старца вывезут из Царского и сожгут по дороге. Но Григорий отомстит ему. Был слух, что Климова вскоре убили на войне, причем он, как и Григорий, сгорел, но только в танке. Хотя точно не знаю…

Про Климова я узнал позднее. А вот с Арчилем беда случилась на моих глазах.

Когда мы спускались по стропилам, он все хохотал, веселился и… оступился. Его последний вопль описать не смогу… Арчиль напоролся на оставленный строителями огромный острый брус. Брус пропорол ему грудную клетку и разорвал сердце…

Мешок с драгоценными вещами лежал рядом. Я все-таки решился — взял его…

Принес все это Кобе, рассказал про Арчиля, спросил:

— Может, не надо? Может, лучше на место положить?

— Надо, — ухмыльнулся Коба, — ох как надо…

Долго мне все это снилось, долго я просыпался ночью от крика, долго не решался отнести эти вещи перекупщикам.

Наконец отнес. Но пока раздумывал, ситуация вдруг чудесно изменилась. У нас появились деньги. Очень большие деньги.

Продолжение шахматной партии: красотка Коллонтай

С конца марта с Кобой начали происходить странные вещи. Как я уже писал, он стал властью. Первое время он был очень активен в Совете — много выступал, славил наступление на фронте, требовал захватить у Турции проливы — старую мечту русских царей. Но с конца марта Коба загадочно переменился. Теперь — никаких выступлений. Этакий постоянный молчун, просиживающий штаны. Помню, меньшевик Суханов спросил меня: «Зачем вы вообще послали в Совет это тусклое, серое пятно? Не подыскать ли вам кого-нибудь другого?»

Но я научился понимать моего друга Кобу. Я не сомневался: его шахматная партия продолжалась, и мой великий друг сделал новый ход.

…Меньшевика Суханова Коба тоже расстреляет…

В это время в Петрограде появилась главная красотка партии — Сонечка Коллонтай. В партии были две главные чаровницы — Инесса Арманд и она, Сонечка. Но если Инесса хранила верность одному любовнику — Ильичу, то Сонечка была верна любви вообще. Оттого предметы ее любви часто менялись, если не в сердце ее, то в постели. Не скрою, обе дамы пленили меня (пленить меня не составляло труда, в те годы я постоянно пребывал в чьем-нибудь плену). Я упоминаю о моей страсти к этим двум женщинам только потому, что обе они мне отказали. О партийных дамах, павших жертвой моего южного темперамента, умолчу. Истинный мужчина обязан заботиться о чести дам, пусть даже дам былых времен…

Инесса отвергла мои ухаживания с брезгливой гримасой, означавшей: «Ведь вы наверняка знаете… И смеете думать!..»

Коллонтай сделала это очаровательнее — кокетничала, оставляла надежду. Но я был не в ее вкусе. Она любила высоких мужчин с шершавыми рабочими руками, желательно безмозглых. Я называю это «английский вкус». Очень родовитые и очень умные английские аристократки обожали спать со своими кучерами. Так что мне предпочли тогда рабочие руки глупца Шляпникова. Шляпникова сменит матрос Дыбенко с телом гиганта и разумом ребенка…

Но все это впоследствии. Тогда же, в марте 1917 года, Коллонтай только появилась в Петрограде и тотчас посетила дворец Кшесинской. Вручив мне письмо Ильича, адресованное петроградским большевикам, велела немедленно передать его

Кобе. После чего попросила проводить ее в гардеробную бывшей хозяйки. Предвкушая представление, я с готовностью повел ее туда. Помню, как торопливо она распахнула дверцу шкафа и… ахнула. Там стояли ружья, купленные на драгоценности из распутинской могилы. Я не стал ее долго мучить, привел в темную кладовку, где были свалены в огромную кучу туалеты балерины. Она буквально улеглась на эту гору и застонала от восторга.

— Для достижения настоящего удовольствия вам надо добраться до норковых шуб, погребенных под платьями, — сказал я.

Когда я уходил, она уже начала раскопки — платья балерины летели в разные стороны. Я оставил ее на счастливом пути к мехам.

Вышла она нескоро, но в великолепной горностаевой шубке. После чего осведомилась о драгоценностях. Я отдал ей жалкие непроданные остатки — серьги и три кольца. Объяснил, что остальное ушло на нужды партии. Она попросила список покупателей. Я понял, что она хочет что-то выкупить.

И тогда впервые подумал: она привезла с собой не только ленинское письмо, но и деньги.

Немецкие деньги

Ленинское письмо я отвез в редакцию «Правды» Кобе.

Коба прочел мне вслух отдельные фразы. В письме Ильич исступленно поносил и Кобу и Каменева и обещал ***по приезде*** хорошенько отлупить обоих и объяснить, что такое линия партии и истинный марксизм.

— Он приедет, — сказал Коба.

— Но каким путем? Германия не может их пропустить. Они граждане страны-врага.

Коба повторил:

— Он приедет, — и добавил одно имя, мне хорошо знакомое: — Парвус.

После чего молча выдвинул ящик стола. Я не поверил своим глазам. Ящик был буквально набит валютой — шведскими кронами.

— Она привезла на нужды партии. Очень много шведских крон, ***полученных в немецком банке.***

Я уставился на Кобу в недоумении.

Только впоследствии я узнал… Все тот же загадочный Толстяк Парвус. Он написал меморандум для вермахта и генерала Людендорфа. Эти документы после войны нашли в архиве немецкого МИД, а немцы не успели их уничтожить… Думаю, не хотели. Это был «подарок» погибавшего Гитлера победителю Кобе. В меморандуме Парвус объяснял генералам, что большевики — самая боеспособная партия, всецело подчиненная человеку со стальной волей, Ленину. Это единственная партия, которая сможет разложить армию, устроить Революцию и вывести Россию из войны.

Он договорился — немцы пропустят Ленина и несколько десятков социал-демократов для его прикрытия.

Ленин вернется в Россию не с пустыми руками. Судя по найденным распискам, Парвус получал от немцев десятки миллионов на русскую Революцию… Генералы торжествовали, ожидая гибель противника. Не понимали генералы, что это было только началом исполнения мечты столь угодливого с ними еврея, решившего соединить Маркса с прусскими штыками.

Россия была выбрана им как самое слабое звено в мировой цепи воюющих стран. Но Россия всего лишь трамплин. Из России Революция должна была перепрыгнуть в Германию — страну с мощным пролетариатом. И уже оттуда рабочим батальонам надлежало разнести ее по всему миру. Всемирная «перманентная Революция» — вот что задумал Толстяк, таинственный толкач

Революции, о котором я мало знаю до сих пор. Хотя мне суждено было… но об этом позже.

Все это грязное закулисье событий откроется мне потом. Знал ли о нем Коба?

Он всегда обо всем узнавал первым… или догадывался первым. Во всяком случае, мне он тогда сказал:

— Чему удивляешься, дорогой? Из всей мировой социал-демократии только у Ильича оказались общие цели с кайзером. Кто агитирует за поражение царской России? Кто призывает к превращению мировой войны с Германией в гражданскую войну внутри России? Кто требует, чтобы крестьяне и рабочие, одетые в солдатские шинели, повернули ружья против собственной буржуазии? Чего ж удивляться, если немецкие ослы наконец это усвоили и платят. Проблем с Красной гвардией больше не будет.

— Но ведь это… измена? — прошептал я.

— Это говорит большевик? Грабивший и убивавший во имя Революции?! Неужто ты забыл завет: дружи хоть с дьяволом, если это нужно для Революции. Разве не этому учил великий Нечаев? Запомни: у нас может быть только одна измена — делу Революции.

— Но Революция, если меня не подводит память, у нас свершилась, — сказал я зло.

— Свершилась Революция для ***них.*** Теперь нужна революция ***для нас…*** Мы с тобой были идиоты, когда писали в «Правде» все эти глупости. — Он так и сказал: «Мы с тобой». — Одно нас оправдывает: мы создавали Красную гвардию. И если и писали все это, то лишь чтобы прикрыть ***это великое дело.***

Я в изумлении смотрел на него.

— Ты понял меня, Фудзи? — спросил он, и глаза его стали желтыми.

Я ответил:

— Понял.

Коба продолжил:

— Когда эта вертихвостка сказала мне, что Ильич требует создать Красную гвардию по всей России, я рассмеялся и объяснил, что нами это давно делается, только тайно, — помолчав, добавил: — Как же он вовремя приезжает… Вокруг разруха, спекуляция и воровство. Армия не желает воевать, а его величество народ желает грабить… И он в этих письмах предлагает народу то и другое: заканчивай войну и грабь награбленное прежними хозяевами… На пороге у нас новая и настоящая Революция. Ох, разгуляется Русь! Я наслушался этих жалких говорунов в Совете и во Временном правительстве. Время речей, Фудзи, кончается, наступает время маузера. Наше время…

Он должен был сказать «мое время». Это был в очередной раз переменившийся Коба, вновь обретший прежнего бога — Ленина.

Но служить ему он собирался по-другому.

Его шахматная партия продолжится, и опять самым неожиданным ходом.

Окончание шахматной партии: встреча Ленина

В последних числах марта он мне сообщил:

— Свершилось! Они выезжают из Цюриха. Ленин и с ним еще тридцать два человека. Германия согласилась пропустить их в закрытом пломбированном вагоне… Ты представляешь, что начнется в газетах? — Коба походил по комнате. — Я получил очередное письмо от Ильича. Благодарит за Красную гвардию, продолжает крыть за «Правду». Однако всего в трех строчках. Все остальное — тревожится… очень боится, что его попросту арестуют на перроне. Просит организовать его моментальный отъезд с вокзала под нашим прикрытием. Он не забыл, Фудзи, что мы с тобой отважные грузинские парни. Не забыл товарищ Ленин также, что Шляпников и Залуцкий — болваны. Он так и пишет: «Наверняка не сумеют найти извозчика, ведь все извозчики будут заняты в идиотские пасхальные дни». Не забывает крыть религию товарищ Ленин… Вот что я думаю: мы с тобой устроим ему сюрприз — вместо извозчика организуем товарищу Ленину экипаж понадежнее. Какой? Неужели не понял? Броневик. — Коба прыснул в усы. — Мы должны вытребовать у Совета броневик, почетный караул и гарантию безопасности для Ильича. Имеем ли мы право требовать это? Излишне говорить, что имеем. Приезжает вождь партии, много страдавший при «проклятом царском режиме». Давай потрясем наших братьев-грузин. — И добавил очень тихо: — Он все простит, все забудет за такую встречу…

Я с изумлением его слушал. В нем что-то сильно изменилось внешне. Раньше он был юркий и быстрый. Теперь стал важный, медлительный. Расхаживал по комнате, посасывая трубку, часто сам себе задавал вопросы. И сам же важно на них отвечал. Я тотчас вспомнил, где я это видел. У нас с Кобой в Гори был учитель. Мы все его смертельно боялись. Перед началом урока он всегда требовал положить руки на столы, после чего обходил с розгой и больно бил по рукам. И сам себя спрашивал вслух:

— Зачем я это делаю? — И отвечал: — Чтобы у вас, маленьких негодяев, не было тени сомнений: учитель все о вас знает. — И опять следовал его вопрос себе: — Почему я могу высечь любого из вас? Потому что каждый знает, за что!

Он всегда говорил вопросами и ответами, этот учитель. Единственный учитель, которого панически боялся маленький Сосо.

Вскоре в Петрограде стало известно то, что уже было известно нам: воюющая Германия согласилась пропустить вагон с Лениным и прочими большевиками. Приезжали Крупская, Инесса Арманд, Зиновьев, Радек, остальных не помню. (Пикантность ситуации: красотка Инесса была признанной возлюбленной, Крупская — женой… Притом что Ильич был большой моралист…) Пассажиры не имели права покидать вагон, пока поезд ехал по территории Германии. Что началось в газетах! «Немцы благоволят большевикам! Приезжают немецкие шпионы!..»

Помню, как я и Коба в два голоса уговаривали Чхеидзе.

Коба:

— Злобный вой в газетах! Спрашивается, что задумала контрреволюция? — Поучительно выставив пальчик (еще один жест нашего учителя): — Использовать приезд Ленина для травли Совета! Что в этих условиях должен сделать наш Совет?

— Защитить Ильича! — выкрикнул я.

— Я тоже хочу защитить, — вздыхал Чхеидзе.

Коба:

— Но что нужно для этого? Организовать официальную, торжественную встречу…

Так мы с ним на два голоса спели эту песню о встрече Ленина.

— Ну хорошо, попробуем, попробуем, — продолжал вздыхать Чхеидзе, — теперь это очень нелегко, но попробуем…

27 марта 1917 года пришла телеграмма — вагон с большевиками отправился из Цюриха… Новая телеграмма: вагон проехал через всю Германию… И третья: Ленин и компания прибыли в Стокгольм. Фотография в социал-демократической газете: в Стокгольме Ильич с Зиновьевым, Крупской и шведскими социал-демократами идет по улице. Ленин в модном котелке. Как потом рассказали, фотограф снял их, когда они выходили из магазина, в котором Ильич купил пальто и… историческую кепку. В Петрограде он сменит буржуазный котелок на эту пролетарскую кепку, которую издавна носили немецкие рабочие.

Наконец, четвертая телеграмма: поезд выехал в Питер.

Все это время мы с Кобой неутомимо готовили торжественную встречу.

По прибытии на Финляндский вокзал Ильич должен будет пройти в Царский павильон — здесь прежде встречали царя. Мы сумели уговорить Чхеидзе. Решением Совета подогнали к Царскому павильону целых два броневика. С одного из них, по замыслу Кобы, Ленин обратится к встречающим с поздравлением по поводу победы Революции.

Мы со Шляпниковым организовали шествие на вокзал «представителей рабочих окраин». Распевая «Интернационал», колонна рабочих подойдет к особняку Кшесинской. В это же время мичман Раскольников приведет из Кронштадта отряд матросов.

Обе колонны соединятся у особняка, получится внушительное зрелище: впереди грозные матросы, за ними рабочий люд.

С пением «Интернационала» колонна двинется к вокзалу.

И наступил памятный день! «Встреча Ильича» началась во время остановки поезда на финской границе. В вагон вошла целая делегация — Каменев, Раскольников, Шляпников, Залуцкий и я. (Коба оставался на вокзале — организовывать главное зрелище.)

Ильич сидел в купе один. Купе было заставлено чемоданами, нам невозможно было пройти. Сгрудились в коридоре. Я должен был рассказать Ильичу, как мы создавали Красную гвардию. Но ни я, ни делегация не сумели и рта раскрыть. Мы забыли про его темперамент…

Ленин в рубашке, жилетке, палец заложен за жилетку, грозно встал посреди чемоданов. И яростно набросился на Каменева:

— Что это у вас пишется в «Правде»? Мы здорово вас ругали! — Он вошел в раж. Лобастое лицо покраснело, узкие глазки совсем сузились, метали молнии. — А вы тоже хороши, Коба!

— Я Фудзи, Владимир Ильич.

Он остановился. Все засмеялись. Засмеялся заливисто и Ленин.

— Простите, товарищ Фудзи, вы на него похожи. Я давно не видел этого путаника.

В этот момент в коридоре появилась Крупская. Усталая, с глазами навыкате, она показалась мне старухой. Втиснулась в купе между чемоданами, озабоченно спросила:

— Володя, они позаботились об извозчике?

Ленин опомнился, и яростный поток слов замер. Вернулся в действительность. Вот тут-то я и вступил в разговор:

— Все в порядке, Владимир Ильич. Об извозчике позаботился товарищ Коба. Он будет встречать вас на перроне.

Ильич улыбнулся и… продолжил яростно уничтожать Каменева.

Впоследствии мой друг исправит историю. На сотнях полотен будет изображена радостная встреча в поезде двух великих Вождей — Ленина и Кобы.

Историческая ночь на самом деле

Около одиннадцати вечера поезд подъехал к Финляндскому вокзалу. Состав остановился.

Первыми из вагона вышли мы, встречавшие Ильича.

На перроне уже выстроился почетный караул, солдатский военный оркестр. Выглядело великолепно. Коба здорово потрудился. И сейчас он стоял впереди цепи почетного караула. Мы все присоединились к нему.

Через некоторое время из поезда начали выходить приехавшие.

Первой появилась прелестная возлюбленная Ильича Инесса Арманд, в кокетливой парижской шляпке и в мехах. За нею — толстый Зиновьев с поросячьим круглым лицом. И наконец, они — Крупская, как-то испуганно взглянувшая на почетный караул, и Ильич в элегантном темном пальто и котелке. (Пролетарская кепка пока лежала в багаже, хотя впоследствии на тысячах картин он будет изображен с этой самой кепкой в руках.)

Офицер из цепи караула тотчас шагнул навстречу и вытянулся перед Ильичем. Ильич испуганно отпрянул назад, но офицер, взяв под козырек, произнес приветственную речь. В ответ Ленин почему-то тоже взял под козырек.

Грянул «Интернационал». И снова Ильич испуганно вздрогнул.

Коба подскочил и тронул его за руку. Ленин растерянно улыбнулся.

— У нас большой багаж, нам нужен носильщик, — попыталась перекричать «Интернационал» Крупская.

— Все организовано, ни о чем не заботьтесь, — ответил Коба.

Под революционные звуки он торжественно повел Ленина и Крупскую в одноэтажный белокаменный (модная смесь древнерусского со стилем модерн) Царский павильон. Здесь Ильича уже ждал Чхеидзе. И церемония продолжилась…

Я наблюдал забавнейшую картину. Горел камин, у камина стоял Ильич. Напротив него Чхеидзе читал приветствие от имени Совета. В приветствии выражалась надежда «на участие гражданина Ленина в развитии революционной демократии». От большевиков с краткими приветствиями выступили Шляпников и Коллонтай.

Все это время Ленин вел себя вызывающе. Демонстративно зевал, показывал, как ему скучно слушать все эти речи. Наконец, наступила его очередь. Начал он зло и сухо:

— Пора кончать разговоры о Революции, пришла пора ее

делать.

Чхеидзе с изумлением уставился на него, громко ответил:

— По-моему, Революция уже произошла, и именно поэтому гражданин Ленин стоит сейчас в Царском павильоне!

— От Революции буржуазной, — будто не слыша, продолжал Ленин все громче, все злее, — пришла пора перейти к Революции социалистической. Впереди борьба! Не на жизнь, а на смерть. Борьба пролетариата с буржуазией. И в этой борьбе нет места социал-предателям. — И он прокричал толпившимся у входа матросам караула: — Нам не по пути с прислужниками капитала!

Чхеидзе возмущенно посмотрел на меня и на Кобу, молча повернулся и пошел прочь.

Ленин успел крикнуть ему вслед:

— Долой прислужников буржуазии! Да здравствует социалистическая революция!

Потом Коба говорил мне с восторгом:

— Что такое настоящий Вождь? Они ему протянули руку, а он в нее сунул камень. Тот ему морду для поцелуя подставил, а он в нее харкнул. Учимся, понемногу учимся!

Теперь он все чаще повторял эту присказку…

Итак, один грузин ушел в ярости, а двое — я и Коба — поспешили вместе с Ильичем на площадь…

Коба поставил великолепный спектакль. Мрак прорезал прожектор, прибывший на площадь вместе с броневиком. Осветил площадь, забитую рабочими и матросами. И фигурку маленького лысого, лобастого человечка (буржуазную шляпу он догадался снять, мял ее в руке).

Всего год назад это было бы бредом, фантазией сумасшедшего. И вот оно, свершилось: тысячная толпа, прожектора, броневик… И руками матросов караула он уже вознесен на башню грозного броневика. На пик Истории. Говоривший до этого разве что перед десятками эмигрантов, Ленин впервые в жизни увидел вожделенные толпы. Думаю, в этот миг он и стал Вождем. Как власть имеющий, с броневика, грозящего войной, Ильич призвал к будущей крови:

— Да здравствует победа социалистической Революции!

В ответ — рев толпы и привычное в эти дни «ура!». Они не очень понимали, что говорил Ильич и что они славили, эти матросы и рабочие, приведенные на площадь моим другом Кобой. Они жаждали митинговать и, только митингуя, то есть крича «Ура!», чувствовали себя уверенными и счастливыми…

По замыслу великого режиссера Кобы броневик со стоящим на башне Вождем должен был медленно двигаться по Петрограду. На улицах было полно народу — город теперь мало спал. И когда

потом я читал воспоминания очевидцев о том, как, стоя на башне двигавшегося броневика, Ильич кричал в толпу: «Да здравствует социалистическая Революция!», всегда вспоминал пословицу «Врет, как очевидец!». Двигаться, стоя на башне, по булыжной мостовой впору было только циркачу. На самом деле Ильич через несколько метров спустился с башни и уселся рядом с водителем броневика.

Жена Надюша вместе с чемоданами ехала впереди, на извозчике…

Только когда машина остановилась у особняка Кшесинской, Ильич с помощью водителя вновь взобрался на башню. Маленькую фигурку лысого лобастого человечка выхватили прожектора — на этот раз с Петропавловской крепости. Ослепленный, счастливый Ильич вновь выкрикнул в собравшуюся толпу:

— Да здравствует социалистическая Революция!

И толпа охотно ответила: «Ура!»…

Во дворец Ленина внесли на руках. На втором этаже был накрыт стол.

Ильич подозвал Кобу, чуть приобняв, что-то шепнул.

— Товарищ Ленин будет говорить в зимнем саду, — объявил Коба.

Перешли в зимний сад — в эту сказку в античном стиле: мрамор, хрустальные люстры, огромные зеркала, экзотические, увы, увядшие растения вдоль стен… Разместились на все тех же обитых белым шелком, нынче основательно запачканных стульях. Для президиума поставили стол у окна. Место за столом занял Каменев.

Он торжественно предоставил слово Ленину. Ленин встал и… вновь набросился на Каменева, на его статьи в «Правде». Бедный Каменев пытался возражать, ссылался на Маркса. Ильич тут же обозвал его «штрейкбрехером» и после долго и беспощадно ругал. В заключение он еще раз объявил:

— Нынешняя Революция в России — это всего лишь приход буржуазии к власти и результат ошибки пролетариата! — И как заклинание: — Да здравствует грядущая победоносная социалистическая Революция!

После ужина Ленин и Крупская отказались переночевать в особняке.

— Мы с Надюшей договорились с сестрой. Туда и багаж отвезли. — Обратился к Кобе и ко мне: — Провожать нас поедут храбрые грузины. Кто знает, что придумали Керенские и Чхеидзе.

Коба был прав: Ильич не забыл наше удалое прошлое…

По рассветной улице мы ехали на автомобиле к его сестре.

— Надо же, а мы с Володей боялись, что в пасхальные дни нам не найти извозчика, — смеялась Крупская.

— Вместо извозчика подали броневик!

«Динь-динь», — заливался Ильич.

— А Володенька уверял, что с вокзала его повезут в Петропавловскую крепость, — продолжала веселиться Крупская.

— Когда этот офицер шагнул ко мне, я, батенька, подумал: крышка. — И опять «динь-динь». Добавил, обращаясь к Кобе: — За встречу спасибо. Но если снова напишете прежние глупости — уничтожу.

Именно в этот день Коба стал для Ильича очень близким человеком.

Великий ход Кобы

Через пару дней я увидел блистательный ход моего друга Кобы, завершивший всю шахматную партию.

В зимнем саду особняка Кшесинской собралась апрельская партийная конференция большевиков. В высоком зеркале над каминной доской — наши тогдашние лица, счастливые, полные надежды. И лицо Кобы, который через двадцать лет уничтожит почти всех делегатов, любовавшихся сейчас на свои отражения…

Пока рассаживались, прибежал матрос, сообщил:

— Явилась хозяйка дворца!

Накануне мы, действительно, получили грозное постановление суда. Оказалось, балерина и не думала уезжать из Петербурга. Когда первый страх прошел и власть порядка начала возвращаться в столицу, она подала на нас в суд. Сперва мы не обратили на это внимания. Но примадоннами просто так не становятся. У нее был стальной характер. После двух судов она дожала: добилась решения о возвращении особняка. Короче, нас выселяли.

Я отправился переговорить с мадам…

Навстречу поплыл аромат восхитительнейших духов. Она стояла в холле в очередной прелестной шубке и причитала, почти плача:

— Была знаменитая мраморная лестница, где она?

— Вот она, — сказал я, подходя. И не без удовольствия показал на заплеванные, все в окурках, ступени. Представился: — Комендант.

— Моего особняка?

— Бывшего вашего особняка.

— Этот ковер я привезла из Парижа… Он залит чернилами, а мои кресла и стулья…

Я сочувственно кивал. Она вскипела:

— Вы смеете издеваться! Вы за все заплатите! Я передам в суд весь перечень. Изуродовали «модный» шкаф. Вырвали дверцы, украли платья! Где мои шубы?! Тоже украли! Где рояль фирмы «Бехштейн»? Разве вы знаете, что это такое! — Наконец она сумела заплакать. — Зачем перенесли его в оранжерею и… и испортили крышку?! — И тут же, забыв про слезы, бешено сверкнула глазами: — Вы смеете молчать? Что это все значит? Я вас спрашиваю!

— Это значит одно: произошла Революция, гражданка Кшесинская.

— Это воровство! Вот что это значит! Сейчас я увидела

даму… Она поднималась по лестнице в моем горностае и с моим ожерельем на шее…

— Вы ошиблись, — прервал я. — Это поднималась не дама, но все та же Революция. «У кого нож, у того и хлеб». Таков ее закон.

Огромные глаза сверкнули, она сказала сухо и повелительно:

— Надеюсь, вы получили постановление о возвращении моего особняка? Вы обязаны его освободить к завтрашнему дню. У вас двадцать четыре часа на сборы.

— Вы, видно, не поняли. ***Только*** те, у кого есть ***нож,*** имеют ***хлеб.*** У вас — постановление, а у нас — нож. Если вы собираетесь узнать, что это такое, приходите с постановлением. Но вы придете с ним одна. Поверьте, с вами сюда никто не пойдет. Как наверняка не пошли и сегодня. Я хочу вам дать совет, очень добрый, в благодарность за ваш дворец… Ничего, что я называю ваш особняк дворцом? Это действительно настоящий дворец! Итак, постарайтесь понять. Самое хорошее из всего, что с вами случилось, — вы остались живы. Вспомните про судьбу графини Дюбарри и постарайтесь не исполнить ее роль. Уезжайте из Петрограда! Как справедливо предсказывают в эти минуты в вашем особняке… Революция только начинается.

Она выбежала в бешенстве, но у нее хватило ума прислушаться к моему совету.

Я вернулся в зал, когда выступал Коба. Говорил он очень спокойно, даже рассудительно. Но каков был текст!

— Я хорошо знаком с мнением товарища Каменева о невозможности новой социалистической Революции! Кто может поддерживать такое мнение? Ответ, думается, один: только безмозглые оппортунисты, соглашатели!

— Подожди, Коба. Но ты ведь сам… — начал с места изумленный Каменев.

— Сила не в том, чтобы не делать ошибок, — прервал Коба. — Сила в том, чтобы их вовремя исправить. И благородство в том, чтобы не тыкать ими в харю. Впереди у нас новая Революция, как учит Ильич. Все революции в конце концов обманывали народ. Наша будет первой, где народ обманет своих угнетателей. Буржуазия — это мавр, который сделал свое дело, и ему пора удалиться. Не уйдет добровольно — погоним пинками в жопу!

Смех в зале, аплодисменты.

— Да здравствует социалистическая Революция! Да здравствует диктатура пролетариата, — негромко и как-то душевно сказал (именно сказал, а не провозгласил) Коба.

Ильич захлопал первым. За ним — я. И все остальные…

Каменев растерянно произнес с места:

— Но Ильич подменяет Маркса. И ты — с ним! Маркс говорил иное…

— Кому говорил? — грубо перебил Коба. — Тебе, что ли? Если Маркс говорит с кем-то, то только с Ильичем.

Захохотали, захлопали. Ильич погрозил пальцем Кобе. И добавил ласково:

— Азиат…

На ночной улице Коба сказал мне:

— Все дозволено Вождю, Фудзи. Даже исправить Маркса. Учимся понемногу, учимся…

Излишне говорить, что с этих пор он стал вновь рабским толкователем мыслей Ленина. Он понял: хозяин вернулся. Он теперь все понимал вовремя…

Но вернулся не просто хозяин, а очень богатый хозяин.

В начале мая в Петрограде появился Лев Троцкий. Его приезд буквально наэлектризовал город и совершенно затмил возвращение Ленина…

Сам Троцкий был необычайно эффектен. Его почему-то описывают жгуче-черным брюнетом. На самом деле он был шатен с гривой густых вьющихся волос. Он очень нравился женщинам… Постоянно перевозбужденный, горящие голубые глаза сквозь пенсне, могучий голос — громовой и притом никогда не устающий. И сама речь: яркие образы, жгучая ирония и столь любимый тогда пафос. Однако в его таланте таилась опасная западня. Он был прекрасный актер, блестящий оратор, великолепный журналист, но отнюдь не великий политик. Успех у зала, восторги читателей были для него куда важнее власти!

Вскоре состоялось невозможное — объединение двух прирожденных лидеров, двух вчерашних беспощадных врагов, Троцкого и Ильича.

За кулисами союза стоял Парвус. Он верно оценил железную волю Ленина, его диктаторское властолюбие. И он знал, что Революция — это театр. И ей потребуется великий оратор. Шаман! Таким был Троцкий. И Парвус задумал казавшееся тогда невозможным — уговорил обоих пойти на союз.

Но Коба видел, что этот союз мало что изменил. Ильич втайне болезненно переживал и всегда будет переживать невиданную популярность Троцкого. Он ревновал его к партии.

Коба сразу это понял. Он навсегда — непримиримый враг Троцкого. Несмотря на уговоры Ильича и… к восторгу Ильича. И за это в том числе Ильич ценил Кобу.

Теперь у партии было два великих Вождя. Но в это время все упорнее распространялись слухи о том, что благодетель Парвус

— банальный немецкий шпион, прикрывающийся великими целями, а на самом деле забирающий себе львиную долю гигантских средств, отпущенных немецкими генералами на русскую Революцию. Действительно, Толстяк невозможно богател. Покупал замки, дома, целый островок в Берлине на озере Ванзее. На вилле, на острове, устраивались фантастические оргии, туда съезжались знаменитые кокотки со всей Европы. Все это печаталось в газетах. Парвуса начали брезгливо сторониться немецкие социал-демократы…

Теперь и Троцкий и Ленин тщательно скрывали свои связи с Парвусом. Толстяк все больше становился грязной революционной девкой, связь с которой следует скрывать… не переставая, впрочем, ею пользоваться.

Задание, о котором не узнает история

Октябрь, восстание и большевистский переворот… Мне часто снится этот сон… Промозглый петроградский ветер, дождь со снегом, свинцовая Нева, грязные первые льдины вплывают в город. И коридор под сводами Смольного. Лобастый человек в разбойной кепке, Троцкий в небрежно наброшенной на плечи шинели и друг Коба, прыскающий в густые, тогда очень густые, усы…

В дни октябрьского большевистского переворота все лидеры большевиков собрались в Смольном — в штабе восстания. Но моего друга Кобы там не было. В величайший момент истории он… исчез для истории. Впоследствии наши историки придумают, будто Коба входил в какое-то Бюро при Петроградском Совете, секретно руководившее восстанием. Все мы, большевики, работавшие тогда в Совете, знали, что это — глупая выдумка. Оттого родилась версия, будто Коба попросту струсил и где-то пережидал в безопасности — чья возьмет.

Но запомните: Коба мог быть ужасным. Но ужасным трусом — никогда. Просто в ту промозглую судьбоносную ночь, в тот дождь со снегом, струившийся в свете фонарей, мы выполняли секретное задание партии. Однако наше задание показалось впоследствии Кобе недостойным его величия. Он никогда о нем не вспоминал.

Начало этому таинственному заданию было положено значительно раньше — в июле 1917 года, когда в Петербурге разразился ***политический скандал.***

Я по-прежнему жил в особняке Кшесинской, когда ко мне явился Коба. Закрыл дверь, походил по комнате. Потом заговорил, как прежде, то есть отрывисто и быстро:

— То, что услышишь, забудь. Арестовали агента, который перевозил нам немецкие деньги. Трус испугался и показал, что завербован немцами вести через нас агитацию в пользу мира с Германией и подрывать доверие к Временному правительству. Сообщил, что ***будто бы…*** — Он усмехнулся и повторил: — ***Будто бы*** такое задание дано немцами Ильичу, и немецкий генштаб ***будто бы*** регулярно платит нам деньги. После такого признания, о котором мы и не догадывались, военная контрразведка начала следить за нашей партией и все это время успешно читала телеграммы о поступлении к нам денежных сумм из-за границы… Следствие постановило арестовать руководство нашей партии по обвинению в шпионаже. К сожалению, это уже не ***будто бы.*** Ильич в панике…

Я так и не спросил, откуда Коба все это знает. Думаю, Керенский. Эсер Керенский конечно же понимал: доказательства вины вождя большевиков будут тотчас использованы монархистами и реакционерами против левых сил. Он сделал утечку информации члену Исполкома Кобе.

— А почему «будто бы», Коба?

— Ну разве объяснишь жалкому обывателю: на благо Революции — все дозволено! Поэтому и на Страшном суде я заявлю: ***будто бы.***

— Деньги ***будто бы*** от немцев?

— Не только от немцев. Парвус научил нас зарабатывать. Он создал для нас подставные фирмы. Участвуя в благотворительной акции Красного Креста (на самом деле по секретному распоряжению правительства Германии) мы получали бесплатно презервативы, лекарства от сифилиса и термометры. И продавали их в Россию. Торговля шла через Копенгаген, Стокгольм — в Петроград… Короче, у правительства в руках бомба. Об этом не знает никто из наших. Только Ильич… И он вчера сказал: «А не рискнуть ли нам? Не дожидаясь обвинений, попросту захватить власть?»

— Но это безумие.

— Безумие — ничего не предпринимать, как водится у наших сраных интеллигентов, — сказал Коба. — Кронштадтский Совет сейчас проводит митинг на Якорной площади. Тысяч пять матросов, думаю, приплывут днем в Петроград. Мы надеемся также на Первый пулеметный полк. Короче, мы с тобой начинаем действовать.

И мы отправились в Совет.

Я объявил Чхеидзе:

— Положение сложное, солдаты, матросы и рабочие рвутся на улицу.

После чего заговорил Коба:

— Наша партия конечно же не одобряет эти действия и разослала агитаторов — удерживать людей.

Коба попросил занести это заявление в протокол.

Мой родственник Чхеидзе спросил с усмешкой:

— Скажите, дорогие, зачем мирным людям заносить в протокол заявления о своих мирных намерениях?

Я промолчал. Но Коба… великий актер. Он вздохнул и развел руками. И Чхеидзе понял: миролюбец Коба пытался остановить безумцев большевиков, но тщетно. Коба попросил позволения уйти, чтобы продолжать удерживать рвущихся восстать рабочих, матросов и солдат.

Мы возвратились в особняк, когда морячки-кронштадтцы под

руководством все того же мичмана Раскольникова уже подплыли к Петрограду, высадились у Николаевского моста и пошли к бывшему дому Кшесинской…

Я увидел в окно: колонна вооруженных матросов без конца и края протянулась вдоль дворца. И застыла. Стояли мрачные, яростные. С огромными плакатами: «Долой Временное правительство», «Долой войну», «Вся власть Советам». Колонну замыкали грузовики. В грузовиках — матросики в обнимку с девками. Одной рукой обнимает, в другой — винтовка. Веселятся от души — под хохот девок пьяно палят в воздух.

На балкон вышли Луначарский и Свердлов — «большевики второго разряда». Но матросы их погнали:

— Даешь товарища Ленина!

— Товарищ Ленин нездоров, — объявил Свердлов.

(С момента прибытия Ленина в Петроград Свердлов буквально не отходил от него — он был главный порученец, секретарь, нянька.)

Матросы начали волноваться. В особняк вбежал взбешенный мичман Раскольников.

Я повел его в спальню балерины. Здесь, у камина, сидели Ильич и миролюбец Коба.

Раскольников начал возбужденно:

— Владимир Ильич! Матросы ждут вашей речи. Мы пришли, чтобы передать всю власть Советам.

Ильич был явно растерян и… испуган. В это время в комнату вошел Свердлов.

Он понял состояние Ленина, сказал:

— Владимиру Ильичу выходить на балкон нельзя. Мы не знаем, что придет в голову полупьяной, накокаиненной, вооруженной толпе.

Но не выходить тоже было нельзя. Раскольников решительно заявил об этом. Тогда Свердлов предложил:

— Объявим так: «Будет говорить член Исполкома Совета и член ЦК нашей партии товарищ Коба Сталин». Выйдет Фудзи, он похож. Только Фудзи придется сейчас же сбрить бородку. — (Эту бородку я периодически носил после убийства Морозова. Очень я себе тогда понравился с накладной бородой.) — Он обратится с призывом к матросам идти к Таврическому. Если не захотят слушать, тогда уже придется Ильичу. Но в этом случае Фудзи останется на балконе, встанет на шаг впереди Ильича, защищая его телом справа. Слева встану я…

Вот так за меня решали мою жизнь и смерть, и я… согласился! Я, революционер второго разряда, не должен был спрашивать, почему все это не проделает революционер первого

разряда Коба Сталин. Партия должна беречь свои главные кадры.

Коба великолепно орудовал бритвой и лично сбрил мне бородку, оставив усы. Надо сказать, я опять стал на него здорово похож.

Итак, Свердлов снова вышел на балкон и объявил:

— Товарищи матросы! Ильич нездоров! Перед вами выступит член Исполкома Петроградского Совета, член ЦК нашей партии товарищ Коба Сталин.

Негодующий рев не дал мне возможности открыть рта. Вот тогда в глубине балкона появился Ильич. Пронесся восторженный вой, кто-то запел «Интернационал»! Стреляли в воздух. Ленин из глубины, стоя рядом с балконной дверью, произнес несколько осторожных, невнятных слов, которые я не запомнил.

Но его слова покрыл рев:

— Нечего нас болтовнею кормить! Веди делать то, ***за чем пришли***!

И Ильич громко, раздельно, яростно провозгласил:

— Да здравствует социалистическая Революция! Вся власть Советам!

Матросы закричали любимое «Ура!».

И под грохот военного оркестра колонна двинулась к Таврическому дворцу — требовать от Совета низложить Временное правительство, взять власть. Ленин ехал следом за колонной на автомобиле, Коба — с ним. Я остался ждать в особняке…

Вечер того дня помню смутно… Матросы, направлявшиеся к Таврическому, были отброшены войсками. На Невском произошла часовая перестрелка. Много жертв. Несколько часов толпы рабочих и вооруженные матросы бесцельно и устало бродили по улицам. Восстание погибало на глазах.

Кажется, тогда же в город прибыли воинские части с фронта, верные правительству. Начались аресты. Матросики отступили к нашему особняку.

Все комнаты заполнены матросами. Иные расположились на лестнице — лежат на ступенях, покуривают. Дым махорки.

Ильич сидит в спальне балерины. Коба и Свердлов — при нем неотлучно.

Кажется, вечером того же дня последовал жесткий ответ правительства. Министр юстиции Переверзев дал интервью газетам о материалах незаконченного следствия — о связях Ленина и партии большевиков с немцами.

В особняке ночью прошло заседание ЦК. После чего мы с Кобой отправились в Исполком. На этот раз говорил один Коба. Он объявил Чхеидзе, что ЦК принял решение об окончании

демонстрации.

— Только не надо называть это демонстрацией. Произошел вооруженный мятеж, — перебил Чхеидзе. — Вы испугались обвинений в шпионаже и попытались захватить власть.

Коба повздыхал и попросил Чхеидзе, «как грузин грузина», «пресечь эту клевету и запретить публиковать материалы следствия, пока оно не закончится».

В глазах Чхеидзе читалась тоска. Он и Керенский — как же они хотели разоблачить и уничтожить нас! Ан нельзя! Ибо они понимали, какая это будет радость для контрреволюции. Нельзя было рубить сук, на котором сидели и мы и они!

Чхеидзе мрачно пообещал связаться с крупнейшими газетами и объяснить ситуацию.

Возвращаясь обратно в особняк, Коба сказал с усмешкой:

— Даже если уговорит кого-то, всем рот не заткнешь…

Опасное раздумье было на его лице.

Миротворец Коба

Ильич метался по спальне. Набросился на Кобу:

— Зачем мы сидим в этой ловушке? Здесь тени Романовых, здесь невыносимо!

— Не тревожьтесь, Владимир Ильич. Я приготовил квартиру. Дождемся ночи и уйдем.

Ночью Коба увел Ильича, а я остался в особняке.

Коба все предвидел правильно. Утром вышла какая-то желтая газетенка с письмом двух известных революционеров — Панкратова, отсидевшего много лет в Шлиссельбургской крепости, и еще кого-то (кого — запамятовал). Оба обвиняли Ленина и всех нас в шпионаже. В полдень я увидел в окно, как прибывшие с фронта солдатики окружают наш особняк.

На балкон уже выходить было нельзя.

В любовном гнездышке балерины мы готовились защищаться. В особняке находился Раскольников и около двухсот матросов. Еще столько же заняли Петропавловскую крепость, собираясь отбиваться там.

Если бы Кшесинская видела, как под отборную ругань ломали драгоценную мебель, рубили крышку рояля, баррикадировали окна… Самое забавное, я испытывал те же чувства — почти отчаяние. Дом, который я, чего там скрывать, полюбил, уничтожался, погибал на глазах…

В окно я заметил заросшего бородой солдата-фронтовика — голова перевязана грязным бинтом. Он кричал:

— Жируете, тыловые сволочи? Бузите? Ждите!.. — мат. — Доберемся!.. — яростный мат.

Эти солдаты, привезенные с фронта, ненавидели нас, «околачивающихся в тылу». Стало ясно — пощады не будет…

В это миг появился Коба. Оказалось, он сумел договориться с Исполкомом. Особняк должен быть сдан без боя. Матросы обязаны сдать оружие, вернуться на суда и немедленно отплыть обратно в Кронштадт… Раскольников конечно же матерился, но, по-моему, больше для виду. Умирать он совсем не хотел. Его матросики тоже.

Оружие складывали в саду около следов костра, на котором зажарили козочку Эсмеральды.

В это время Коба объявил мне весьма неожиданное:

— Приказ об аресте большевиков будет с часу на час. Этого еще никто не знает, но знал Коба. — (Конечно, опять Керенский!) — Ильича мы спрятали сейчас у рабочего Каюрова. Но у него сын анархист, и молодежь возится с бомбами. Ильич

боится. Я должен перевезти его. У меня нет времени, но я обещал Исполкому замирить Петропавловку и заставить матросов сложить оружие. Иначе их всех перебьют, и смерть потом повесят на нас. Ты понял? Еще разок нам нужно «раздвоиться»…

Под издевательские выкрики солдат Раскольников повел мрачных матросиков обратно на суда, а мы с Кобой «раздвоились», совсем как во времена наших эксов. Коба уехал укрывать Ильича и одновременно в моем лице отправился в Петропавловскую крепость.

Крепость окружали все те же мрачные солдаты, ожидающие команды перестрелять «немецких шпионов». Меня отвели к их полковнику.

Я показал удостоверение члена Исполкома Петроградского Совета Иосифа Джугашвили.

— Есть решение Исполкома Совета, — объявил я значительно. — Матросы сдадут оружие. За это беспрепятственно вернутся в Кронштадт.

— Если сдадут оружие — скатертью дорога. На пьяниц и бездельников патроны тратить жалко, — сказал полковник.

Меня пропустили в крепость.

Я не знал, насколько убедительно наше сходство для людей, которые знали Кобу. Такие люди вполне могли здесь оказаться. Тогда, приняв меня за провокатора, они… Но иного выхода не было. Все мы жили рядом со смертью в те дни. Короче, с грузинскими шуточками, правда, несколько дрожащим голосом, я начал уговаривать матросов… К счастью, долго уговаривать не пришлось, они очень хотели уговориться. Согласились сдать оружие и с миром возвратились в Кронштадт.

Полковник доложил в Совет об успешной миссии Кобы. Вот так Коба стал дважды миротворцем в один день.

Спаситель Ильича

К вечеру я перебрался в квартиру на Лиговке. Тогда же узнал из газет: Троцкий арестован, его взяли дома прямо в постели, арестовали Каменева, Луначарского и так далее… Что же касается Ильича и Зиновьева, то они исчезли. Я понял: Коба предупредил об опасности отнюдь не всех.

Бегство Ленина стало потрясением для большевиков — членов Совета. Они (да и я, грешный) считали, что Вождю и партии брошено тяжкое обвинение. Вождь обязан предстать перед судом и оправдать себя и партию…

Поздно ночью ко мне явился Коба. Я сказал ему об этом. Он засмеялся.

— Запомни: Вождю дозволено все. Как Юпитеру. Что хочет Ильич? Быть на свободе. Он боится тюрьмы. И он будет на свободе, а чья-то обязанность — оказаться в тюрьме и на суде разоблачить ложь против партии. Понял? Тогда поехали. Я поселил Ильича у Аллилуевых.

Мы приехали на знакомую квартиру к Аллилуевым. Ни детей, ни родителей не было. В гостиной на диване сидели Крупская, Орджоникидзе и Зиновьев.

Вероятно, квартиру освободили для совещания. Ленин расхаживал по маленькой гостиной, останавливался, потом снова нервно ходил. У окна стоял Свердлов. Он, видимо, и организовал это спешное заседание. Сейчас оставшиеся на свободе члены ЦК должны были решить — идти Ленину в суд или нет.

Заговорил сам Ильич:

— Идти или не идти? Сей гамлетовский вопрос, батеньки, мы с Григорием (Зиновьевым) решили положительно… — И Ленин вопросительно посмотрел на собравшихся.

Крупская тотчас перебила:

— Володя, все ли ты обдумал?

— Мы с Григорием, — будто не слыша, продолжал Ленин, — явимся на суд и зададим хорошую трепку этим лицемерам, повапленным гробам… Все их высказывания, вся их культурность — только разновидность квалифицированной проституции!

Ничего, возьмем власть, церемониться не будем! — Как обычно, он легко входил в раж. Но потом тон стал элегическим. — Попрощаемся, друзья, кто знает, свидимся ли.

Он поцеловал Селедку. Полагалось заплакать, но она не плакала. Молча посмотрела на Свердлова. Тот сразу заговорил:

— При всем уважении к вашему смелому решению, Владимир Ильич, должен заявить, что это не ваше личное дело. Вопрос

касается всей партии, лишившейся ныне почти всех лидеров. Что скажет товарищ Коба?

— Здесь и говорить нечего. Что они хотят сделать с товарищем Лениным? Отправить в тюрьму? Отнюдь. По нашим сведениям, до тюрьмы Ильича не доведут, убьют по дороге. Товарищу Ленину идти на суд нельзя!

Тотчас поднялся Орджоникидзе, он был краток:

— Согласен с Кобой.

Свердлов закончил:

— Предлагаю такое постановление ЦК: «Ввиду опасности для жизни товарища Ленина запретить ему являться на суд. Поручить товарищу Кобе обеспечить безопасность Вождя партии в подполье». Кто «за»?

Дружно все подняли руки — единогласно. Ильич, потупясь, слушал. Более он не проронил ни слова. На лице его была печальная покорность — «с партией не поспоришь». Та самая, которую через много лет я увижу на лице Кобы, когда для него будут создавать невиданную охрану.

Зиновьев все это время молчал.

— Теперь второй вопрос, — сказал Свердлов. — Стоит ли товарищу Ленину оставаться в опасном Петрограде?

— Не стоит, — сразу же ответил Коба. — Мы вывезем его сегодня же из города. И Григория вместе с ним. Чтоб не скучно было, — засмеялся Коба. — Я уже подготовил безопасное жилище. Попрошу поручить мне и товарищу Фудзи всю операцию.

Я понял: пьеса была хорошо отрепетирована. И если Свердлов стал доверенным лицом Ленина, то мой друг Коба оказался куда важнее: он стал его охранником…

Решено было вывезти Ленина ночным поездом в Финляндию.

Как только члены ЦК покинули квартиру, Коба занялся маскировкой. Он вынул из кармана знакомую мне бритву и сначала ловко побрил пухлые щеки Зиновьева.

— Только не зарежь нашего товарища, динь-динь, — веселился Ильич.

— Зарежу, обязательно зарежу, — смеялся Коба. (Думаю, через много лет Зиновьев вспоминал эту шутку.) — Мы с Фудзи такими бритвами не раз и не два…

Это правда. В дни эксов, когда у нас не хватало кинжалов…

Незабвенный шалаш

Испробовав бритву на Зиновьеве, Коба посадил к зеркалу Ильича. Будущий Вождь ловко побрил Вождя сегодняшнего. Без единой царапины. После мы услышали, как Зиновьев захрапел в соседней комнате. Ильич принес карту города и начал мучить нас вопросами:

— Если нападут здесь, — тыкал он пальцем в карту, — что будем делать?

— Уйдем через дворы. Я тут все знаю, — успокаивал Коба.

— А если во дворах засада мерзавцев? — не унимался Ильич. Коба терпеливо объяснял, как мы уйдем и в этом случае. Наконец Ильич успокоился и даже согласился отдохнуть перед путешествием.

Коба потом сказал мне:

— Нечего морщиться, дорогой, Ильич не трус. Видно, после казни брата у него необоримый страх перед насилием. Но он может быть и очень храбрым… как во время июльских дней.

Мне кажется, у Ильича было некое психическое отклонение. И потом, после Революции, когда он постоянно, маниакально призывал к беспощадному революционному насилию, думаю, так он побеждал свой постоянный тайный страх перед ним.

В одиннадцать вечера мы разбудили Ленина и Зиновьева. Ильичу надели седой парик и кепку. Стайкой вышли из квартиры. Я, с револьвером, шел первым, Коба, тоже с револьвером, замыкал шествие. На углу встретили полицейского. Он не обратил на нас внимания. Но пришлось замешкаться. Ибо при виде полицейского Ильич ловко нырнул во двор, где мы с великим трудом его отыскали.

На Финляндском вокзале Коба наконец объявил: едем в Сестрорецк.

Еще недавно вокзал видел Ильича на броневике, и вот теперь с этого же вокзала он бежал из столицы…

Сели в поезд. В вагоне Зиновьев тотчас заснул, Ильич не сомкнул глаз.

— Какие нервы у товарища! — говорил он и будил сильно храпевшего Зиновьева, боялся, что мощный храп привлекает к нам внимание.

В Сестрорецке приехали в дом большевика-рабочего Емельянова. Вечером того же дня Емельянов привез нас на берег большого озера, где ждали двое его сыновей. Они перевезли нас в лодке на другой берег…

Мы очутились в зеленом раю. Здесь недалеко от кромки воды

стоял шалаш (в таких живут крестьяне во время сенокоса).

Коба и сыновья Емельянова начали разгружать лодку. Носили в шалаш, как выразился Коба, «все необходимое для жизни наших Робинзонов».

Стояла полная луна. Робинзон Зиновьев прохаживался по берегу озера.

— Какая тишина, — восторженно шептал он. — Слышно, как шелестит трава. Слышите? И небо… Полное звезд… Такое в городе не увидишь.

Ильич, задумавшись, сидел поодаль, у воды. Я боялся нарушить его покой.

Но он заговорил сам, и куда менее поэтически:

— Построже надо в Совете с меньшевиками. Не будьте добреньким тютей-соглашателем. Никакого примиренчества с прохвостами. Надо все время разоблачать эту блядскую нечисть…

Наконец все привезенное перенесли в шалаш. Обнялись на прощание.

Мы с Кобой сели в лодку, сыновья Емельянова взялись за весла. Поплыли. Шалаш исчез во тьме.

Впоследствии Коба сделает этот шалаш одним из храмов коммунизма. На тысячах картин будет изображен одинокий Ильич, пишущий возле него бессмертные сочинения. Другой обитатель шалаша — Зиновьев — исчезнет из жизни и из картин. Не попадет на эти полотна и Емельянов, приютивший Ильича. Шалаш уничтожит потомство старика, поломает его жизнь. Оба его сына, привозившие на лодке еду печальным изгнанникам, слишком много знали о «другом» обитателе. Они получат пули в лагерях Кобы.

Но старику Емельянову рачительный хозяин Коба оставит жизнь (его исключат из партии, отправят в ссылку — и только). Когда же наступит тридцатилетний юбилей эпопеи с шалашом, Коба вернет Емельянова из ссылки. Он сделает старика живым экспонатом при музее…

Юбилей шалаша будут праздновать торжественно. Коба отправит меня наблюдать торжество.

Я увижу тысячную толпу экскурсантов, окруживших нетленный, вечно возобновляемый шалаш. Около него полуслепой, согнутый экспонат — старик Емельянов — медленно говорил заученную речь о великой дружбе великих Вождей:

— Дорогие товарищи, в тысяча девятьсот семнадцатом году в этом шалаше, спасаясь от злобных ищеек Временного правительства, поселился Владимир Ильич Ленин. Великий и мудрый товарищ Сталин спас для Революции великого Ленина. Он привез его сюда и не раз приезжал на лодке навещать

товарища Ленина…

Но это все будет потом.

А тогда Коба смотрел во тьму удалявшегося берега. И вдруг озорно, по-мальчишески, сказал:

— А я ведь теперь остался… за вождя! — и прыснул в усы.

Коба примеряет костюм вождя

И действительно, одни вожди благополучно сидели в тюрьме, другие хоронились здесь, на озере…

А руководителем партии остался… Коба Сталин! Вот так великий шахматист Коба закончил очередную удачную игру.

Теперь Ильич пересылал свои инструкции партии только через него. И следующий съезд партии проводил исполняющий обязанности Вождя Коба.

Перед съездом выяснилось, что из одежды у него есть только ситцевая рубашка и старый лоснящийся, потертый пиджак. Он жил тогда у Аллилуевых. Постаревшая красавица мать Нади сказала решительно:

— В таком виде съезд проводить нельзя. Вы ведь теперь за главного.

Коба не удержался, важно улыбнулся.

Мать вместе с Надей отправились покупать костюм, рубашку и галстук.

Коба в новом костюме на голое тело стоял у зеркала. По обе стороны — Надя с галстуком и мать с рубашкой. И я — напротив, в качестве зрителя.

— Не надену, — твердил Коба. — Не уговаривайте! Может ли большевик носить буржуйскую удавку — галстук? Может ли товарищ Коба Сталин стать буржуем?

Надя чуть не плакала, она сама выбирала галстук.

— Какой же вы тяжелый человек, — вздыхала мать.

И тут Коба сказал:

— Вот если бы придумать что-нибудь военное. Ведь мы начали великий поход. Поход за мировой Революцией… Сапоги и френч — вот что надо!

— Ну это нетрудно, — обрадовалась мать Нади. — Мы вставим бортики у горла, выйдет наподобие френча Керенского.

Уже через день Коба стоял у зеркала в полувоенном френче и сапогах. И, глядя в зеркало, произносил речь:

— Мы выступили в поход — уничтожить старый мир. И создать новое небо и новые берега. Как учит нас товарищ Христос, «Я победил этот мир»…

Надя хлопала в ладоши. Она смотрела на него блестящими глазами-вишнями. Как горели ее счастливые глаза! Они потом исчезнут навсегда с ее лица.

Итак, у него было короткое имя, столь удобное для криков толпы — Сталин. И полувоенный костюм Вождя, с которым можно делать Историю.

Ленин будет носить такой же френч.

Октябрьское восстание и тайная миссия Кобы

Я пропускаю рассказ о нашем славном пути в эти несколько месяцев. Как из жалкой, гонимой, обвиненной в шпионаже маленькой партии с Вождем, убежавшим в подполье, мы преобразились в грозную силу. Мы стали этой силой к октябрю 1917 года. Но никто до сих пор не понял главной причины нашего возвышения. Даже мы тогда ее не понимали. Мы думали, народ возненавидел власть Временного правительства, потому что народу не дали желанного мира, а крестьянству — желанной земли.

На самом деле многое решило иное — тайное, неосознанное. Народ возненавидел новую власть, потому что… не стало самой власти. ***Народ, тысячелетиями живший при беспощадной власти, тосковал по ней, родимой.*** Временное правительство утопило власть в говорильне, свободах, нерешительности.

Власть валялась на земле. Ее подобрал Ильич.

Сначала мы захватили Совет. Его вождем стал быстро выпущенный на свободу Троцкий. Вскоре разнесся слух: Ильич вернулся в Петроград. Я его не видел. Он по-прежнему где-то скрывался, вроде как явился на заседание ЦК загримированный и потребовал от партии захватить власть…

Удивительный человек. Невероятно трусливый… и невероятно бесстрашный. Сколько испуганных голосов высказывались против восстания!

Но Ильич был неистов. Какими отборными ругательствами этот интеллигент клеймил противников! Шли лихорадочные совещания и голосования. Но голоса Кобы на них не слышали. Он голосовал вместе с Лениным, но молча, не выступая.

Бесстрашный Ильич победил и тотчас поспешил исчезнуть в подпольной квартире. Партия начала готовить восстание.

Захват власти осуществлял Троцкий. Он стал истинным отцом Октябрьского переворота… Помню, была глубокая ночь, в полутьме комнаты — Каменев, Зиновьев, Орджоникидзе, гигант матрос Дыбенко, этакий безмозглый мощный голем, и вечно простуженный, кашляющий прапорщик Крыленко. И конечно, Свердлов. Почти у всех торчат бородки клинышком, как у Троцкого.

Выступал Свердлов. Он был тогда вторым после Троцкого, главным оратором большевиков. И (повторюсь) верной ленинской

тенью, исполнявшей любые его приказы.

Как преображает людей Революция! Свердлов уже не походил на тихого еврейского интеллигента, которого я знал в Туруханске. Революция — это театр, где люди начинают играть новые роли. Так я думал тогда… А сейчас я думаю: Революция — это нечто тайное, что прячется на самом дне души. Наша извечная жажда насилия, которая наконец-то вырывается наружу.

Свердлов стоял в полутьме, угрожающе черный. Жгуче-черные волосы, черные усы и бородка, черная кожа куртки, которую он сделал большевистской модой; на толстом носу поблескивали пенсне. Его так теперь и называли — Черный дьявол большевиков. Неукротимая энергия сжигала его. Он будто чувствовал, что жить ему недолго. Отчетливо помню, как в тот день Свердлов потребовал немедленного восстания. В ответ Троцкий… расхохотался! Он сказал:

— Забудьте это слово. Оставьте его Ильичу. Его дело — теория. Наше — практика! Наша цель: взять власть, но… никакого восстания! Восстание — это примитивно, да и много крови. Мы должны освоить новую тактику — по-мышиному, тихонечко вползти во власть. Для этого создадим при Совете Военный революционный комитет… Нет, нет, не для того, чтобы восставать и захватывать власть! Избави Бог! Но лишь для защиты Петрограда от немцев. — Хохочет Лев, покатываемся мы, хохочет Свердлов. — Объявим населению: дескать, Временное правительство задумало сдать город немцам и для этого хочет отослать части на фронт. Но мы, большевики, хотим защищать столицу. Поэтому войска должны оставаться в Петрограде. И перейти под командование Совета. Все — для защиты столицы! — Собрание опять гогочет. (Всех этих весельчаков приберет впоследствии Коба — все погибнут.) — Будем действовать малыми группами — ни демонстраций, ни баррикад! Не будет ничего такого, что привыкли видеть при восстаниях. Потихоньку-полегоньку захватим все артерии города — почту, телеграф, мосты, вокзалы. Мы вовлечем массы в переворот, а они… даже не заметят этого!..

Теперь выдумщик Троцкий метался по митингам рабочих и солдат. Вот он стоит на трибуне, гипнотизируя зал протянутой рукой. Какой могучий голос! Воистину, глас Революции:

— Временное правительство дало приказы своей осатанелой гвардии расстреливать рабочих! Поздно! Близок час истины! Богачей буржуев — в тюрьмы! Отдай награбленное трудовому народу, солдатам, умирающим за тебя на фронте. У тебя, буржуй, две шубы, одну отдай солдату в окопах. Отдай рабочему свои теплые сапоги, зачем тебе они, если ты не работаешь и сидишь

дома!..

Восторженный рев толпы…

Троцкий разработал переворот буквально по минутам.

Мы вместе с уральским боевиком Колей Мячиным получили задание 24 октября занять почту и телеграф. (Тот самый Коля Мячин, который под именем комиссара Яковлева в 1918 году перевезет последнего нашего царя из тобольского заключения на смерть в Екатеринбург. Бесстрашный Коля Мячин. Мой большой друг… И его тоже расстреляет памятливый Коба.)

Ленина я по-прежнему не видел. Он продолжал где-то скрываться. Не видел я и Кобу… И вдруг дня за три до переворота Коба явился ко мне собственной персоной. Как обычно (без «здравствуйте») объявил:

— Мы с тобой в восстании не участвуем. У нас будет совсем другая задача, так приказал Ильич. — И закончил: — Одевайся, Фудзи, нас ждут.

Секретная миссия

Извозчик ждал у дома. Он ничего более не объяснял, и я ничего более не спрашивал (как это часто у нас бывало). Мы сели на дрожки.

Остановились у безликого доходного петербургского дома.

Он сказал:

— Здесь квартира товарища Фофановой. В ней мы будем жить…

(Маргариту Фофанову я знал по общей работе в Петроградском Совете. Дама за тридцать, вечно простуженная, блеклая, в коричневом платье курсистки с белым воротничком. С юности в революционном движении. Пожила на конспиративных квартирах. Кажется, там и прижила двоих детей, но, может, и побывала замужем.)

Молча мы поднимались по лестнице. У двери, обитой потертой клеенкой, Коба бросил по-грузински:

— Не удивляйся.

Самой Фофановой в квартире не оказалось. Дверь открыла ослепительная дама — миниатюрная красотка с огромными глазами. Мимо нас проплыла парижская шляпа — уходила товарищ Инесса Арманд. Я тотчас понял, кого увижу в соседней комнате… Он сидел в гостиной, лобастый, лысый, торопливо писал. Скрывавшийся здесь Вождь готовившегося восстания. Он был по-прежнему без усов и бороды, которые сбрил ему брадобрей Коба Сталин.

Вот так мы стали верными нукерами — охранниками Вождя. Это и была наша секретная миссия в дни Октябрьского переворота.

Мы поселились в комнате рядом с гостиной. Помню, укладываясь спать, Коба сказал мне со смешком:

— Не могу на него смотреть без бороды. Вождь должен быть бородатый, как Карл Маркс, на худой конец, усатый. — И засмеялся: — Мижду нами говоря… — (Это «мижду нами говоря», которое он произносил со смешным акцентом, станет впоследствии его любимой присказкой.) — Ильич потребовал, чтобы около него были сейчас самые надежные и самые смелые. Он назвал их. Кого назвал? Опять нас с тобой, Фудзи. — И он снова прыснул в усы. После чего сообщил задачу: в случае разгрома восстания немедля вывозим Вождя из Петрограда в Гельсингфорс. А пока мы связные между Ильичем и готовящимся восстанием…

Точнее, связным стал я. И приходивший в квартиру

длиннющий мрачный финн Райхья. Сам Коба дежурил при Ильиче неотлучно и никуда не уходил из квартиры.

Но Ильич волновался. Несколько раз повторялась уже знакомая мне сцена: перед сном Коба подробно показывал ему на карте, как мы ***«в случае чего»*** будем увозить его из Петрограда.

Все это время приходили в квартиру и уходили из нее гости. Внизу в подъезде дежурил чахоточный Райхья. Он и провожал гостей в квартиру… Помню Антонова-Овсеенко с волосами до плеч, Муралова, коренастого, с рязанским смятым носом… Всех их отправит в небытие заботливый Коба.

Правда, Фофанову оставит. Кто-то должен был вспоминать о великой дружбе Кобы и Ильича. Впрочем, бедная Фофанова уже тогда щедро расплатилась с нашей горькой Революцией. Ильич захотел прятаться у нее, потому что в квартире было два выхода — очень удобно на случай опасности… Но впридачу к двум выходам в ее тесной квартирке жили двое детей. Пришлось ЦК приказать ей отправить детей к родственникам. И все эти дни Фофанова ходила нервная, озабоченная. Пояснил мне Коба:

— Она посадила их на поезд и теперь волнуется! Еще бы! Если мы заберем власть, великая заварушка начнется по всей стране.

Коба как в воду глядел. Не вернулись ее дети. Исчезли в огне гражданской войны, которая вскоре охватила Россию. Но тогда огонь только загорался. Зажигали его в ее квартире…

Помню, как Райхья приволок огромный сундук с валютой. Помогал нести его брат. Деньги были все те же — шведские кроны из немецкого банка. Теперь мы получали жалованье из кассы ЦК — не обесцененными керенками, а в полновесной валюте. Приходили и сами немцы. В штатском, но с подозрительной выправкой. Как я узнал от Кобы, Ильич потребовал от немцев накануне восстания начать наступление. Чтобы Керенский не мог снять с фронта верные ему войска и направить их в Петроград.

Октябрьский переворот

24 октября. Утром Коба решил на прощание показаться в свете: побывал в редакции нашей большевистской газеты. После чего окончательно исчез для будущих историков. Ибо из редакции прямиком приехал к нам на квартиру Фофановой и уже весь день не покидал Ильича.

В этот день Троцкий, Зиновьев, Каменев, Дзержинский и вся большевистская рать собрались в Смольном, на экстренном заседании ЦК. Приняли грозную резолюцию: «Сегодня ни один из членов ЦК без особого постановления ЦК не может покинуть Смольный».

Была в этом какая-то насмешка истории: в Смольном институте благородных девиц, полумо-настырском заведении, где учились манерам дочки русских аристократов, находился штаб восстания главной радикальной партии. По коридорам, в которых целое столетие чинно прохаживались нежные воспитанницы, разгуливали, матерясь, матросня и солдаты.

Но в этом эпицентре ярости и надежд не было ни меня, ни Кобы!

Временное правительство отлично знало о готовящемся восстании. Я помню, читал в газете, как кто-то из министров грозно сообщал в интервью: «Мы не только не боимся выступления большевиков, но мы его хотим. Чтобы получить право вскрыть этот разросшийся зловредный большевистский нарыв».

Однако, как часто бывало в России, все оказалось болтовней… Читайте «Вишневый сад»! Великая пьеса… Галдели, галдели, два акта размышляли, как не допустить продажи этого драгоценного сада, и ни черта не сделали. Палец о палец не ударили — одна болтовня! Здесь тоже никакого сопротивления не подготовили. Уже к вечеру двадцать пятого Государственный банк, казначейство, вокзалы, мосты, электростанция, телеграф, телефон, почтамт, военные и продовольственные склады стали нашими.

Пока мы отсиживались в квартире с Ильичем, мой друг боевик Коля Мячин верхом на пушке подъехал к телеграфу. Он стал первым комиссаром телеграфных и телефонных станций. Как же я ненавидел нашу мышиную роль — роль без славы! Я не понимал тогда, почему Коба согласился на это.

Следующим вечером, 25 октября, в Смольном планировалось открытие съезда Советов, который мы тогда контролировали. К этому времени, по расчетам Ильича, Зимний дворец должен был

быть взят. Но вечер приближался, а в Зимнем по-прежнему сидело Временное правительство. Я с изумлением наблюдал, как неистовствует Ильич.

Он вскакивал, пальцы засовывал за жилетку. Начинал говорить — пальцы распрямлялись веером. Он говорил, будто наступал, делал шаг вперед, а потом назад… Яростный танец на месте. Калмыцкие глазки сузились. Приступ бешенства. Он матерился, как сапожник… Наконец велел Райхье «мчать в Смольный».

— Скажите нашим бездельникам: если они не могут до сих пор взять Зимний, я прошу прислать мне сто верных красногвардейцев. Я сам арестую Временное правительство.

Бедный Райхья принес из Смольного ответ: «ЦК просит Ильича не тревожиться и оставаться в безопасности, в квартире. Все идет по плану».

Бег по квартире продолжился. Потная лысина сверкала, руки взлетали и опускались. Он отчего-то кричал на меня (Коба отсиживался в нашей комнате):

— Я знаю, почему не хотите пускать меня в Смольный! Потому что там нерешительные трусы и бляди! Там изменники, которых следует расстрелять!

Он багровел от ража, маленькие глазки метали молнии. Орал:

— Только позавчера вы мне докладывали, что такая-то военная часть целиком большевистская, другая часть тоже наша. Все — наши. — (Я ничего ему не докладывал!) — Так что же останавливает?! — И самовар полетел на пол.

Появившийся в гостиной Коба аккуратно поставил самовар на место — он очень любил чаевничать. И спокойно предложил:

— Действительно, надо ли Вождю партии товарищу Ленину ждать разрешения ЦК? А не отправиться ли нам в Смольный самим и сейчас же?

Ильич опешил. Страх тотчас вернулся. Гнева как не бывало. Он задумался.

Теперь уже Коба начал его убеждать:

— Опасности никакой. Мижду нами говоря, мы вас хорошенько загримируем. В Смольном грим снимать не будем, и, если что случится, вы уйдете в гриме с нами!..

Только потом я понял: Коба начал бояться, что власть сформируют без того, кому он сейчас служил.

Ильич колебался, боялся, но… согласился. Сейчас думаю — ***по той же причине.***

Грим делали я и Райхья. Но руководил Коба… Надели Ильичу какую-то разухабистую фуражку. Подвязали щеку косынкой,

будто у него флюс. Коба старательно превращал Ленина в забулдыгу… что, кстати, вязалось с его калмыцкими глазами. Хотя на мой вкус с каждой новой деталью Ильич выглядел все подозрительней. В довершение подозрительности напялили ему темные очки.

Но Ленину грим понравился. Он долго смотрелся в зеркало. И сказал:

— Истинный пугачевец, батенька!

Уходя, Ильич продиктовал мне записку Фофановой: «Ушел туда, куда вы все не хотели». И засмеялся — «динь-динь». Он часто бывал странно ребячлив.

Шли стайкой. Райхья — впереди, за ним — я, за мной — Ильич. Шествие замыкал Коба.

У всех — заряженные револьверы. Потом, кажется, Райхья вспоминал, как нас остановили юнкера. На самом деле никто не останавливал, к нашему счастью. Если бы остановили, тотчас отправили бы в участок. Потому что более подозрительную личность, чем Ильич с перевязанной щекой, в темных очках и разбойной кепке, представить было трудно.

Шли мы недолго, решили сесть на трамвай. Большую часть пути к Великой Октябрьской Революции оба Вождя прозаически проехали на трамвае. На «траме», как тогда говорили, мы и въехали в исторический переворот.

В Смольном у портика с колоннами — костры. Грелись патрули — солдаты в шинелях, матросы в пулеметных лентах. Броневики — у подъезда.

В этот день в Смольном поменяли пропуска, и негодующая толпа со старыми пропусками ругалась с караулом… Такой простой хитростью большевики не пустили в Смольный часть враждебных нам делегатов съезда — меньшевиков и эсеров.

Впоследствии Райхья напишет, как он пробивался с Ильичем в Смольный. Это, конечно, тоже выдумка. Все эти дни он постоянно носил в штаб восстания негодующие письма Ленина. Так что у него был свой человек в охране. Как только мы подошли к входу, вынырнул из темноты высоченный матрос вместе с двумя здоровяками-рабочими. Они быстренько разбросали толпу негодующих у входа.

Мы вошли.

Бесконечный коридор Смольного — со сводами, одинаковыми дверями классных комнат — весь в окурках, втоптанных в паркет… Всюду солдаты в грязных шинелях. Мы стремительно неслись по коридору вслед за нашим проводником. Промчались мимо знаменитого актового зала, где должен был открыться съезд Советов. Помню, я не удержался, чуть отстал —

приоткрыл дверь. Это был зал, где обычно устраивались балы юных красавиц. Два ряда белых колонн. Между ними стулья. Делегаты уже уселись: серые солдатские шинели, бритые головы, редко — сюртуки. Ждут открытия. На помосте — пустой стол президиума. Над ним огромная пустая золотая рама. Выдрали парадный портрет последнего императора, а раму оставили. Будто понимали, что скоро пригодится для нового портрета.

У комнаты с надписью «классная дама» наш проводник остановился. Соблюдая конспирацию, продолжая делать вид, что не узнал Ильича, сказал:

— Ждите в комнате. Я пришлю товарища Зиновьева…

Это была обычная комната классной дамы. Кресла в белых чехлах, деревянная перегородка, за ней рукомойник и узкая железная кровать. На стене парадный портрет Екатерины II. Императрица милостиво улыбалась, но кто-то уже успел пририсовать ей усики.

Вскоре перед Ильичем предстал толстый Зиновьев. Ленин, в кепке и темных очках, с перевязанной щекой, в ярости набросился на него:

— До сих пор не взят Зимний! Почему? — Зиновьев что-то пытался отвечать, Ильич не слушал. — Оставьте преступные отговорки! Вы багдадские ослы! Неужели ваши архиидиоты не понимают! До тех пор, пока Керенский сидит в Зимнем, он — власть, а мы с вами совершаем государственный переворот… За это, голубчики, в нормальных странах — за решетку, а в нашей, азиатской — на виселицу!

Не в силах сдержать бешенства, в своем глупейшем наряде Ленин выскочил в коридор. Мы с Райхьей бросились за ним. Но поздно.

По коридору шел главный враг — лидер меньшевиков Дан. Шел открывать съезд и требовать немедленного прекращения большевистского восстания. При виде выскочившего из дверей Ильича Дан замер, внимательно глядя на это чучело.

Но Ильич мигом рванул обратно в комнату. Сказал, задыхаясь:

— А ведь узнал, точно узнал, подлец!

В это время отчетливо послышался далекий орудийный выстрел, потом тишина… и еще… и еще ухнула пушка.

Уже потом я выяснил, что из Петропавловской крепости и с крейсера «Аврора» стреляли холостыми. После чего наше орудие у арки Главного штаба нанесло первый боевой выстрел. Ударили прямой наводкой по дворцу.

Эти пушечные выстрелы с удивлением слушал весь город. Хитрость Троцкого удалась: петроградцы понятия не имели о том,

что в центре столицы, во дворце царей опять свергали власть. На этот раз — революционную.

Под выстрелы город входил в особую, неведомую прежде человечеству, задуманную нами жизнь. В наш великий эксперимент!

Коба куда-то ушел (как обычно, не сказав мне куда). Ильич по-прежнему вышагивал, точнее, метался по комнате. Он вновь начал бояться и потребовал, чтобы я привел Кобу. А заодно узнал, что творится на съезде.

Райхья остался с Ильичем — охранять. Я вошел в зал съезда в великую минуту. Очередной меньшевик на трибуне, охрипнув от крика, тщетно взывал к делегатам:

— Большевики бомбардируют Зимний и законное правительство. Это преступление! Там наши товарищи. Делегированный Советом в правительство товарищ Маслов звонил мне из Зимнего. Он просил передать вам следующее: «Если я сегодня умру, то с проклятием по вашему адресу. С проклятием демократии, которая послала меня во Временное правительство и оставила без защиты!» На этом связь с ним оборвалась. Большевики перерезали телефон. Давайте потребуем, наконец, заставим их немедленно остановить штурм дворца!

Именно в этот момент на сцену выскочил здоровенный матрос. Выкрикнул громовым басом:

— Товарищи! Только что взят Зимний! Дворец — наш!

Восторженные крики, громовое «ура». Все вскочили с мест. Крики: «Ложь! Большевистская ложь!» В зале начали петь, драться. Кто-то пробирался к выходу, кто-то лез на сцену…

На трибуну поднялся бледный Каменев. Ему явно было не по себе. Он нервно погладил бородку.

— Товарищи! Я уполномочен официально объявить: только что красногвардейцами взят Зимний дворец. Буржуазное Временное правительство арестовано.

…Каменева поведут на расстрел по приказу Кобы в юбилейный год Революции, через двадцать лет.

Новая власть

Когда я вернулся в комнату классной дамы, там уже находился Коба.

Как всегда, он все узнал первым. И теперь помогал счастливому Ильичу смывать грим. Крахмальное полотенце взял за перегородкой, оно висело на спинке кровати классной дамы.

Меня отослали в зал — ждать появления на трибуне Ильича. Все тот же здоровенный матрос проводил меня. У зала встали несколько человек с винтовками. Матрос кивнул, меня пропустили. Я понял: эта была уже наша, большевистская охрана. Новая власть начиналась с порядка…

На трибуне стоял Троцкий. В черном костюме, напоминавшем фрак. Для довершения элегантности на «фрак» небрежно наброшена солдатская шинель. Он был великолепен! От имени Петроградского Совета Троцкий провозгласил новую власть — Советов… Я плохо помню, что он говорил. Что-то вроде: «Такого не было в истории, чтобы движение огромных масс прошло совершенно бескровно… Наши отряды революционных солдат и рабочих бесшумно исполнили свое дело. Обыватель спит и не подозревает, что сейчас меняется… не власть, меняется мир. Сегодня он проснется в новом невиданном мире. В нашем мире!» И еще что-то… Зато я хорошо помню, ***как*** он говорил! Как повелевал залом! Голос Революции — поток раскаленной лавы! Если бы он позвал, мы все пошли бы… нет — бросились за ним! Все, кроме Кобы!

Мой друг тогда тронул меня за плечо и прошептал сзади:

— Слушаешь жиденка, а Ильич хочет, чтоб мы караулили у трибуны, пока он будет говорить. Мало ли что! — И глаза веселые, бешеные, как тогда на Эриванской площади.

Так что мы с Кобой стояли недалеко от трибуны, когда Ленин объявлял о победе рабоче-крестьянской Революции. Ильич еще не привык говорить с большим залом и сохранил смешную домашнюю привычку. Стоя на трибуне, он согнул правую ногу, была видна протертая подошва ботинка, а сквозь нее — светлый носок.

Коба отредактирует историческое заседание: речь Троцкого исчезнет, останется только речь Ленина. На тысячах картин в президиуме рядом с выступающим Лениным будет сидеть… важный Коба!

Власть создавали в ту же невероятную ночь. В одном из классов прямо на полу лежала гора пальто. Вокруг небольшого стола (за которым сидели прежде учителя Смольного) в тусклом

свете лампы — Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев — руководители восстания. В дверях стоял мой друг Коба. Назначали власть. Ильич стал Председателем тоже Временного, но уже большевистского правительства. В правительство вошли все деятели переворота и один, не принимавший участия в нем, — Коба. Он в новом правительстве! Ильич не забыл верного нукера.

Только тогда я оценил ход моего друга. Он вышел из опасной игры в опаснейший день, чтобы вернуться в нее в случае победы. И вернуться победителем! Ибо Вожди не забывают тех, кто защищал их жизнь. Ближе них нет никого! Он теперь все делал правильно, мой старый друг Коба.

А я… Я, как и прежде, был при нем…

По предложению Троцкого министров решили назвать комиссарами, как во времена Французской революции. Мы были верными учениками великих французов. Хорошо бы нам тогда вспомнить, чем закончили наши французские учителя. Но кто когда-нибудь вспоминал об уроках прошлого?! Прошлое, как смерть: мы о ней знаем, но к нам она как бы не относится.

Рождение нового мира

Только в пять утра настало время для краткого сна усталых победителей.

Оба Вождя переворота легли в скромном кабинете классной дамы. Кровать за перегородкой была одна. Они решили плюнуть на кровать и по-братски лечь прямо на полу. Мы с Кобой принесли матрасы и подушки. И Троцкий с Ильичем улеглись рядом. Троцкий накрылся своей солдатской шинелью, Ильич — тяжелым пальто с барашковым воротником. Из кармана пальто торчал револьвер, врученный ему Кобой.

Мы с Кобой уже уходили, когда оба вождя Революции заговорили по-немецки. Но я хорошо знал язык.

— Кружится голова, — тихо сказал Ильич.

Троцкий ответил:

— Все случилось, как должно. Победоносная Революция — это идея, раздобывшая штыки…

Я закрыл дверь.

У дверей стоял глава Военно-революционного комитета Подвойский с двумя здоровенными парнями в солдатских шинелях. Он торжественно объяснял им:

— Товарищи! Вам выпала честь охранять историческую комнату. Сейчас в ней отдыхают два наших великих вождя…

Все было торжественно в ту ночь. Еще бы! Нежданно-негаданно мы, вчерашние парии, жалкие подпольщики, становились хозяевами самой большой в мире Империи. Могли ли мы подумать… да что там подумать… могло ли это нам присниться всего пару лет назад в Туруханске? Коба — член правительства великой страны!

Мог ли Ильич в Швейцарии подумать о подобном… Воистину, «кружится голова»!..

Подвойский наставлял часовых, а мы с Кобой пошли устраиваться на ночлег в другой комнате классной дамы.

Здесь стояли такие же кресло и кровать. Я прикорнул в кожаном кресле, а народный комиссар Коба — на узкой железной кровати неизвестной нам старой девы. И вдруг я услышал его смешок, он произнес очень тихо, по-грузински:

— Как сказал он: «Два вождя»? Вот уж воистину олух… Мижду нами говоря, Фудзи, двух вождей не бывает!

В бесконечных классах Смольного несказанно счастливые, кто на полу, кто на столе, кто в креслах, засыпали участники так легко победившего переворота! И на узкой постели с потухшей трубкой во рту заснул мой друг Коба. Мог ли кто-нибудь из нас

представить, что этот маленький рябой грузин, с акцентом говоривший по-русски, заботливо истребит всех этих счастливцев? Станет хозяином русской империи…

Так родился новый мир. Все мы тогда думали: наш мир. Но это был его мир — мир Кобы.

Для будущих историков

Несколько штрихов. Днем я узнал, как мы брали Зимний дворец. Потом будет много рассказов, как отстреливался на баррикаде защищавший дворец женский батальон, как дрались отважные юнкера… Ничего подобного не происходило. Все подходы ко дворцу были перекрыты верными нам частями. Уже к шести вечера защитники покинули дворец. Остались насмерть перепуганный женский батальон и юнкера. В это время маленькими группами наши красногвардейцы просачивались в Зимний через боковой вход в Эрмитаж (прислуга открыла двери). Здесь их довольно мирно разоружали юнкера, отводили в комнаты прислуги… Как только начался штурм и толпа солдат и матросов показалась на Дворцовой площади, женский батальон попросту убежал — схоронился в подвалах дворца, оставив баррикаду. Чтобы уберечь дворец от разграбления, навстречу штурмовавшим поспешил глава его обороны Пальчинский. Он объявил о капитуляции и мирно повел штурмовавших внутрь. Арестованные «наши» во дворце так же мирно начали отнимать оружие у арестовавших их юнкеров. Те покорно отдавали.

Одновременно по дворцу шествовала толпа во главе с Антоновым-Овсеенко, маленьким, длинноволосым, в огромной черной шляпе. Нормально они прошли всего несколько шагов. Ибо наперли сзади рвавшиеся во дворец участники штурма. Толпа понесла Пальчинского, Антонова и всех, кто был впереди, по залам, сметая все с пути. Грохот падающих канделябров, звон разбитых зеркал, хрусталя… Толпа домчала Пальчинского и Антонова на второй этаж, до комнаты, где находились министры. Пальчинский успел открыть дверь, и толпа во главе с Антоновым хлынула внутрь, окружила сидевших вдоль стола. Антонов мне рассказывал потом, как он торжественно вынул бумажку — квитанцию из ломбарда, где неделю назад заложил часы. Держа перед собой мятую квитанцию, он торжественно прочел: «Декрет, объявляющий низложенным Временное правительство…» (Коба вычеркнет Антонова-Овсеенко из истории — расстреляет. Мой ревнивый друг Коба…)

Далее началось! Матросики и солдаты принялись грабить. Бронзовые часы знаменитых мастеров, коллекции старинных монет в витринах, знаменитый фарфор… Срывали занавеси с окон, забрали даже завесу из домовой церкви. Но главные силы победителей бросились в знаменитые царские винные подвалы. Потом перепившаяся матросня искала женский батальон. Но те уже выбрались из дворца, их укрыл в казармах гренадерский

полк. Однако когда женщины решились разойтись по домам, их поджидали пьяные охотники — гвардейцы Павловского полка. Павловцы весело ловили их, уводили в казармы и там с удобствами насиловали…

«Грабь награбленное» — это был лозунг нашей Революции. Ильич объяснил тогда Подвойскому:

— Даже полководцы, батенька, после победы дают солдатам город на архиразграбление. А у нас пролетарии взяли город у хозяев. Порядком мы непременно займемся, но завтра.

Первый день нового мира

Первый день мира, который мы собрались сотворить, был холодным и туманным. Падал мокрый снег. У Зимнего зеваки разглядывали опрокинутые фонари, разметанные кучи дров жалкой баррикады. Я отправился к Фофановой за нашими вещами — перевезти их в Смольный. Шел по довольно пустынному, еще сонному городу… Какая-то старая дама окликнула меня с балкона:

— Простите, сударь, что случилось в городе? Прислуга пришла с улицы сама не своя…

— Революция, госпожа хорошая.

— Как, опять? Невозможно! Все у нас не по-людски! То триста лет нету Революции, то Революция каждый день!

И, возмущенная, удалилась в комнаты.

На следующий день с утра Ленин обустраивал себе кабинет в Смольном, в той же комнате классной дамы. Точнее, он все оставил, как было. Кресла — в тех же чехлах, которые вскоре вместо белоснежных станут бурыми. За деревянной перегородкой, где стояла кровать классной дамы, уместили вторую — для Крупской.

Из кабинета директрисы Смольного я принес великолепный чернильный прибор с портретом Николая II. Прибор, естественно, не одобрили, и Коба отправился по кабинетам искать что-то более подходящее. Нашел какую-то затейливую женскую чернильницу, ее и водрузили на ленинский стол.

Над диваном, стоявшим у стены, Ильич велел установить конечно же портрет Карла Маркса плюс кого-нибудь из наших погибших героев-революционеров. Коба взял у Каменева бронзовый горельеф Халтурина, взорвавшего Зимний дворец. Поставили его рядом с Марксом. Вдвоем они представляли странноватую пару: бородач, похожий на Саваофа, и молодой красавец. Над ними висели постоянно убегавшие вперед часы.

На стол рядом с часами Ленин пристроил чугунную скульптурку — обезьяна, сидящая на стопке книг и насмешливо глядящая на человеческий череп. Она возвышалась над многочисленными календарями и карандашами, озадачивая собеседников Ильича. Он, не терпевший никаких украшений на рабочем месте, заботливо стирал пыль с этой загадочной композиции.

Справа от него стояло несколько телефонов. Телефоны, не так давно изобретенные, приводили в ужас людей из прошлого. Толстой даже предсказал: подождите, придет Чингисхан и будет

управлять вами по телефону. Коба рассказывал, с какой усмешкой Ильич повторял эту фразу. Сам же он замечательно эффективно научился отдавать приказания по телефонам (говорят, царю это так и не удалось). В приемной постоянно слышался громкий ленинский голос, довольно однообразно распоряжавшийся: «Нет, батенька, не беседовать с ними, а расстреливать, как предателей…», «А вы им должны отвечать просто: позвольте поставить вас к стенке!..», «Наши революционные суды надо учить расстреливать. Иначе они не ***наши*** суды, а бог знает что!..», «В тюрьму его, голубчика, немедленно в тюрьму, а потом расстрелять!..».

Думаю, обезьяна на столе много хохотала: если бы все его распоряжения осуществлялись, у нас не осталось бы населения. Он это понял — и вскоре управляющий делами Совнаркома, мирный бородатый Бонч-Бруевич, создаст ЧК — Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем внутри страны. «Чрезвычайку» — на сленге того времени.

Коба остался в Смольном, где начало работать новое правительство (почти всех членов которого Коба впоследствии расстреляет). Все народные комиссары искали в Смольном комнаты для своих наркоматов. Кроме Кобы. Он нашел самое лучшее место — в кабинете у Ленина, в той самой комнате классной дамы. Ленин захотел, чтобы новый член правительства по-прежнему охранял его. Опасался, как все повернется. Уже пришло тревожное известие: к городу идут казаки, посланные бежавшим на фронт Керенским…

Меня Коба назначил своим помощником и выдал мне мандат: «Помощник Комиссара по делам национальностей товарищ Нодар Фудзи».

Впрочем, я недолго гостил в столице.

Агент всемирной революции

Я хочу еще раз вернуться к модному утверждению, будто мы, большевики, были платными агентами немцев. Это чушь! Да, мы брали у них деньги! Но мы просто пользовались ими, как и они — нами. Они — чтобы вывести Россию из войны, мы — чтобы захватить власть. Но с первого дня нашей власти Ильич и все мы мечтали о продолжении Революции, о великой всемирной Революции.

Ильич, как и все мы тогда, был уверен, что одни мы долго не протянем. Поэтому Революция в полуграмотной, крестьянской, столь не подходящей для социализма стране воспринималась нами лишь как первая ступенька. Трамплин в великое будущее человечества. Всемирный марш рабочих батальонов! «Даешь мировую Революцию!» — вот чем мы тогда жили…

Никогда не забуду, как в конце ноября меня вызвал Ильич. В кабинете у него сидел необычайно изящный, великолепно одетый, похожий на статуэтку гражданин. Точнее — господин.

Говорил гость:

— Скажите мне, как старому вашему товарищу… Зачем вы это начали? Ваша ставка на социализм — это утопия.

— Так могут думать только оголтелые кретины, скорбные главой идиоты…

— Вы все-таки брали бы полегче, Владимир Ильич. Эта ваша излюбленная манера уничтожать оппонента бесит! Впрочем, добро бы вы уничтожили меня, но вы уничтожаете сейчас целую страну! Ваша адская страсть разрушения…

Здесь Ленина понесло. Калмыцкие глазки стали еще уже, лицо покраснело, он вошел в раж. Закричал:

— Верно! Ломай! Бей! Разрушай! Это и есть Революция! Что сломается — то хлам, что уцелеет — то навечно! Но постараемся, чтобы от старого не уцелело ничего! Буржуазию в порошок! Все вдребезги. — Глаза яростно сверкали. — Мы уничтожим все! И на уничтоженном воздвигнем храм! Храм всемирного счастья! Отныне мы — первая в мире, невиданная страна социализма… Удивляетесь? Думаете, погибнем? Удивлю вас еще больше! Для нас дело не в России. На нее нам наплевать, господа. Россия — только первый этап! Этап, который мы проходим на пути к ***мировой Революции.*** Не понимаете! Хотите припомнить мне ваши марксистские, а на самом деле меньшевистские, контрреволюционные ненужности!.. Впрочем, против контрреволюционеров… ***даже если они мои бывшие друзья,*** у нас имеется товарищ Дзержинский. Он чистит сейчас авгиевы

конюшни в Петрограде!.. — Глаза Ильича горели фанатическим, злобным светом.

Я так и не знаю, кто был его собеседник. Помню только, что гость сказал:

— Я не умею и не хочу разговаривать с Робеспьерами. — Встал и вышел из кабинета.

Именно тогда в комнату вошел кривоногий, маленький, безбородый человечек с большим висячим носом, на котором торчало пенсне. Это был Урицкий, вчерашний меньшевик, а ныне верный обожатель Троцкого… и раб Ильича. Когда он говорил с Ильичем, на лице у него появлялось восхищение. В беседе же с другими постоянное иронично-презрительное выражение его лица обескураживало собеседников.

— Ведь умный был человек, а какой стал идиот, — сказал Ильич вошедшему, кивая на дверь.

Обо мне он окончательно забыл и заговорил с пришедшим об Учредительном собрании и о том, как его разогнать. Я слушал разговор с великой печалью. Сколько нас, революционеров, погибло, чтобы первый свободный российский парламент был избран. И вот сидят два революционера и договариваются, как его ликвидировать!

Наконец Ильич вспомнил обо мне:

— Мы направляем вас в ВЧК — Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Но у вас там будет особая миссия. Надеюсь, вы запомнили слова о мировой Революции? Теперь у нас вся надежда на нее. Отправляйтесь к Дзержинскому, он ждет вас…

В декабре 1917 года была создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем внутри страны. Но с самого начала она имела тайную задачу…

Однажды в Смольном я увидел в коридоре забавную пару: худой, длинный, хрипло кашляющий поляк Дзержинский и рядом с ним — белокурый, круглолицый весельчак, латыш Петерс (Дзержинский стал Председателем Чрезвычайной комиссии, а Петерс — его заместителем). У Дзержинского в руках папка, он всегда носил ее с собой. В папке — весь секретный архив Комиссии, а у Петерса в кармане кожаной куртки — вся ее тощая касса.

Однако весьма скоро они покинули Смольный и обосновались в величественном здании бывшего градоначальства. Здесь на одном из этажей находились камеры. В них когда-то сидели народовольцы, покушавшиеся на царя, успел посидеть тут и сам Дзержинский.

Теперь вместо камеры Дзержинский обитал в кабинете

градоначальника, жил в его квартире. Квартира располагалась здесь же, на пятом этаже.

Помню, как я поднялся в его кабинет по лестнице, покрытой когда-то великолепным, а ныне загаженным, заплеванным ковром (лифт, естественно, не работал).

Дзержинский стоял у зажженного мраморного камина. В огромные окна, глядевшие на Адмиралтейскую улицу, дул наш беспощадный петроградский ветер.

— Будешь работать у нас. Будем организовывать мировую Революцию. Без нее долго не протянем. — И он протянул мне мандат ВЧК. Грозный мандат «Чрезвычайки», — (по городу уже ходили страшные слухи о расстрелах, ею организованных).

На мандате не было указания должности.

Дзержинский сказал:

— По рекомендации Ильича ты назначаешься на эту работу. Ленин сам ознакомит тебя с твоей первой конкретной задачей. — Перхая, задыхаясь от кашля, он все-таки разъяснил: — Как известно, нам объявили бойкот, дипотношений с другими странами нет. Оттого не может быть банальной разведки с помощью посольских и торгпредских должностей. Но мы обойдемся без этого. В период революционного подполья, постоянного бегства за границу вы, старые большевики, отлично выучились пользоваться чужими паспортами, чужими фамилиями и чужими биографиями. Уверен, нелегальную разведку мы сможем наладить хорошо. Желаю успеха, товарищ, — закашлялся, но все-таки добавил он: — И да здравствует мировая Революция!..

В тот день Дзержинский выдал три десятка таких мандатов. И мы, тридцать нелегалов, составили первую советскую контрразведку. Из этих тридцати, пожалуй, никто не уцелел, кроме меня. Всех отправил в небытие мой друг Коба… Но тогда… мы должны были организовать эту самую мировую Революцию.

Помню кабинет Ленина в те первые дни (все в той же комнате классной дамы). Глубокая ночь… Ильич работал тогда круглые сутки… В этой лихорадке ночной работы, сжигающей мозг, сыпались его постоянные гневные резолюции — «расстрелять».

Рядом с Ильичем — засыпающий Зиновьев, свежий Коба и покашливающий Дзержинский. За перегородкой громко, по-мужицки храпит Крупская. Ильичу несколько неудобно за эти басы, и он поясняет застенчиво:

— Надюша простужена. — Потом прибавляет: — Сомнений нет: кайзер терпит военное поражение, Революция в Германии может вспыхнуть со дня на день. Мы должны помочь немецким товарищам. Политбюро предложило ВЧК немедленно создать подпольную сеть в Берлине.

Я понял: если прежде немецкие деньги были призваны подготовить Революцию в империи, то теперь все с точностью до наоборот. Социалистическая Революция в Германской империи должна произойти на деньги бывшей Российской империи. Помогать запалить немецкий костер поручалось нам — группе нелегалов, бывших боевиков, прошедших школу двух Революций. Ленин ценил мое боевое прошлое и недурное домашнее образование — я знал в совершенстве немецкий, английский и конечно же французский. Мог говорить и по-итальянски.

— Как только вспыхнет германское восстание, — сказал Ильич, — наши войска немедленно придут на помощь героическому немецкому пролетариату. Но идти нам придется через Польшу. Эти бляди… — (то есть реакционное правительство Польши), — постараются нам не позволить. Поэтому к походу начнем готовиться уже сейчас. Товарищ Зиновьев предложил незамедлительно взорвать главный Арсенал в Варшаве. — (Идея была дикая и бесполезная, но мы только начинали.) — Это сделаете вы до отъезда в Германию. С вами отправятся несколько товарищей. Возглавлять группу мы поручили товарищу Кобе…

Коба выехал в Варшаву оценить ситуацию на месте. Через три дня он вернулся и, как в добрые старые времена, разработал план.

Вскоре в Варшаву отправились исполнители: Коба, я, Камо и трое товарищей.

Мы обосновались в доме рядом с Арсеналом и начали рыть подкоп. В этом деле мы были новички, но быстро научились.

Рыли на небольшой глубине, копать глубже мешала подпочвенная вода. На четвереньках, в мокрой грязи мы работали с раннего утра до позднего вечера.

Проходили за день не более двух метров. Выкопанную галерею укрепляли досками. На случай если засыплет землей, брали с собой яд чтоб долго не мучиться. На пятый день подкоп обрушился — подвел крепеж, и там остался наш товарищ. Только на седьмые сутки непрерывной работы мы дошли до мертвеца, товарищ принял яд. Нам требовалось подкрепление. Приехали пятеро здоровяков, и с ними мы наконец успешно установили адскую машину. Помню, как в последний раз я сидел в подкопе, и все дрожало от проехавшего над головой трамвая. Укрепленная досками галерея жалко тряслась, из щелей сыпалась на голову земля, пламя свечи грозило погаснуть.

Мы завели машину, вышли из дома и успели пройти полсотни метров, когда над крышами взметнулось пламя. Грохот потряс Варшаву. Арсенал взлетел на воздух.

Но Революция в Берлине почему-то не начиналась.

— И не начнется, — сказал мне тогда Коба. — Мижду нами говоря, эти немцы не рискнут захватить даже вокзал, не купив перронных билетов. — И прыснул в усы. (Впрочем, оказалось, что так сострил не Коба, а чуть ли не сам Маркс.)

Но в Берлин я опять не смог поехать, потому что получил совсем иное задание.

Свадьба Кобы

В это время советская Республика была окружена кольцом фронтов и блокады. Против нас сражались добровольческая армия и весь мир. Границ Республики не существовало, нашими границами было это самое кольцо фронтов, то сужавшееся, как удавка, то расширявшееся и удалявшееся от обеих столиц. Но Москва и Петроград оставались нашими.

В непрерывной бойне гражданской войны кровь лилась при полном отсутствии лекарств! Не было термометров в больницах, не было простейшего мыла, не говоря о дезинфицирующих средствах.

Из-за блокады Народный комиссариат внешней торговли фигурировал только на бумаге, купить за границей мы ничего не могли.

И тогда Ильич решился.

Народный комиссариат внешней торговли превратился в Народный комиссариат контрабанды. Мне поручили наладить контрабанду через линию фронта с Польшей.

К тому времени я не раз переходил эту линию фронта. Поляки — хорошие торговцы, они понимают толк в деньгах. В Польше на меня работала целая группа продажных польских жандармов. У нас все было налажено, и подкупленный пан полковник лично встречал моих агентов и потом сопровождал их обратно до границы.

Работа агентов была очень опасная. Если они попадали в руки «не наших» жандармов, их тотчас расстреливали, как шпионов. Многие из них и в самом деле работали на нашу разведку. Ибо одновременно с доставкой лекарств я создавал в Польше агентурную сеть. В этом мне помогал некто Г-й, польский шпион, захваченный в Петрограде и перевербованный нашей разведкой.

Так или иначе, но лекарства в довольно больших объемах начали поступать. Я их сдавал Народному комиссариату здравоохранения. Какова же была моя ярость, когда я узнал, что наши лекарства, термометры и мыло объявились у спекулянтов на знаменитой барахолке на Сухаревской площади. Сколько крови было заплачено за них, и… своровали!

Я сообщил Ильичу.

Ильич, пребывавший в постоянном бешенстве — от работы, недосыпания и страха, «что мы скоро полетим», потребовал обычного — расстрелов. Для этого человека, стрелявшего раньше только уток на охоте, слово «расстрел» стало привычным. Однако,

как повелось на Руси со времен Рюрика, расстреливали «пешек», руководители — воры-партийцы — остались живехоньки.

Но неприятности продолжались. Когда я приехал в Москву, на загородном шоссе мою машину обстреляли. В «Метрополе», где меня поселили, в моем номере все было перевернуто. И на зеркале красными чернилами написано: «Это тебе (мат) последнее предупреждение (еще несколько матерных слов)». Так что я обрадовался, когда Коба, с одобрения Ильича, позвал меня поработать с ним в Царицыне, и мне пришлось прекратить свои «лекарственные» подвиги.

Одно из самых ответственных поручений выполнял в это время Коба. В стране был жесточайший голод. Москва и Петроград замерзали и голодали. Меня вызвал Ильич.

— Думаю, товарищ Фудзи, вам придется поучаствовать в доставке хлеба в обе наши столицы. Вас очень хочет взять с собой ваш друг Коба. Он теперь, батенька, наша последняя надежда. Если не доставите хлеб… — он усмехнулся и закончил: — С вами поедет еще один ваш соплеменник…

Оказалась, речь шла о Серго Орджоникидзе.

Мы встретились в моем номере в «Метрополе».

Верхушка партии теперь жила в Кремле, партийцы рангом поменьше, называвшиеся почтительно «ответственные работники» («ответработники»), размещались в знаменитых московских гостиницах «Метрополь» и «Националь» — их именовали Первым и Вторым домами Советов.

В «Метрополе» (Втором доме Советов) жили наркомы, члены коллегий наркоматов и знаменитые революционеры — Антонов-Овсеенко, Крыленко, здесь же была приемная Свердлова. В огромном ресторане, превращенном в зал заседаний, выступали Ильич и Троцкий. Но равенство партийцев закончилось в первый день после революции. Вожди занимали в «Метрополе» по нескольку роскошных номеров, в них обитали их родственники, чаще — любовницы (на языке сокращений, «новом языке», их называли «содкомы» — содержанки комиссаров). Ответработники рангом пониже ютились с семьями в тесных, маленьких номерах. Все мы составляли партийную ячейку «Метрополя», которую возглавлял какой-то комичный олух. Он постоянно собирал партийные собрания, на которые «вожди» конечно же не ходили. Собирал он и народный суд «Метрополя», рассматривавший бесконечные бытовые скандалы обитателей нашего ноева ковчега…

Итак, в моем тесном номере собрались три грузина. Я получал в «Метрополе» так называемый паек — ежедневный набор продуктов для ответработников второго класса. Две

картофелины, селедку, пустой чай (сахар в тот день в «Метрополе» не выдали) и дурно пропеченный страшноватый хлеб с измельченными опилками. Весь свой паек я выставил на стол.

Коба принес настоящий белый хлеб и банку тушенки (позволительная роскошь кремлевского пайка), Орджоникидзе — две бутылки вина, присланные с нашей маленькой родины. Прежде чем пировать, на большой карте мы поставили рюмку, обозначавшую Царицын. Коба толстым пальцем показывал на карте обстановку вокруг этой рюмки (говорил он по-грузински):

— Хлеб в обе столицы идет только из Царицына… Точнее, течет тонкой струйкой. Наша задача — превратить струйку в поток. Царицын окружен, туда нам придется пробиваться. Немцы наступают на город с юга. Плюс казаки генерала Краснова… Плюс отряды анархистов. Эти переходят от них к нам и наоборот. Никто не знает, куда повернут оружие и горские племена. Но уверен — с братьями мы договоримся. Теперь о расстановке наших сил. Бронепоезд Серго пойдет впереди, прикрывая наш поезд. Но если бронепоезд подорвут, наш поезд будет захвачен казаками, или анархистами, или немцами. Трудно предсказать, кем он не может быть захвачен и от кого примем мы смерть! Но… не такие дела делали, — подытожил Коба.

И мы начали пировать. Разделили картофелины, хлеб и тушенку и запили их отличным вином.

4 июня 1919 года я ждал Кобу на Казанском вокзале… На полу спали грязные беспризорные дети. Какие-то гнусные типы слонялись между лавками, шепотом предлагали «товар». За кусок хлеба можно было получить на вокзале маленькую девочку. Мешочники, не стесняясь, торговались с милицией. Заплатив милиционеру, тут же на вокзале продавали хлеб, хотя за это полагался расстрел. Огромный портрет Карла Маркса украшал здание, в котором копошилось все это вонючее, преступное людское месиво.

В это время появилась процессия. Впереди важно шагал немолодой грузин Коба в зеленом френче, за ним — молоденький, узкоплечий высокий юноша. Замыкала шествие она. Несмотря на жару, Надя была в персидской шали, накинутой на плечи, — видно, ей сказали, что шаль ей к лицу. Это была пара юных Аллилуевых, определенных Кобой в его наркомат по делам национальностей. Они составляли тогда весь его штат. Надя именовалась машинисткой и секретарем Наркома, а Федя Аллилуев начальствовал над несуществующим Общим отделом.

За троицей гуськом шел солидный отряд — красногвардейцы и латышские стрелки. На глаз сотни три, не меньше.

Троица прошествовала через железнодорожные пути и вошла в небесно-голубой вагон, возглавлявший состав из трех вагонов. Мы с Серго последовали за ними. Красногвардейцы разместились в двух следующих вагонах.

…Вагон Кобы был роскошен: много бронзы, обит небесно-голубым шелком, что делало его похожим на бордель. Как объяснил Коба, вагон реквизировали у звезды цыганского романса певицы Вяльцевой.

Вот в этом небесно-голубом вагоне и состоялось последнее совещание трех полководцев. Серго, я и Коба — полководцы Революции, руководившие прежде только кучкой боевиков.

После совещания я пересел в бронепоезд Серго — в нашу главную боевую единицу…

Уже подъезжая к Царицыну, мы в бронепоезде получили веселенькую телеграмму. Оказалось, в самом Царицыне шел сейчас бой.

Местные власти по приказу Ильича решили вывезти в Петроград золотой запас, хранившийся в банке. И тогда отряд анархиста Петренко, дотоле сражавшийся вместе с нами, сбежал из города на телегах с пулеметами. Выехав за город, они залегли у железнодорожного полотна. Как только показался состав с золотом, пустили навстречу порожние вагоны. Состав с грохотом сошел с рельсов, один вагон опрокинулся. Петренковцы ворвались в эшелон. Убитые, раненые, кровь — все, как положено… И дальше — тоже, как положено: не просто забрали золото, а устроили обязательный митинг с пламенными речами рядом с трупами и горящими вагонами. Митинг постановил: деньги — народные, принадлежат народу, а совсем не правительству большевиков.

Так они сами рассказали потом на следствии. Но тогда…

Мы вынуждены были оторваться от поезда Кобы. На всех парах наш бронепоезд помчался к Царицыну. Поспели вовремя…

Петренковцы, окончив митинг, занимались увлекательным делом. Они стаскивали сапоги с убитых, достреливали оставшихся в живых и делили золотые монеты. Когда увидели приближающийся бронепоезд, бежать было поздно: наши красногвардейцы уже спрыгивали на ходу на насыпь. Стрелять не пришлось, банда подняла руки. И, как тогда было тоже положено, всех, кроме главарей, отпустили. Ведь это были вчерашние солдаты — народ, сделавший Революцию. Просто пока несознательный народ. Но главарей расстреляли. Самого Петренко с ними не оказалось.

Пока мы возвращали украденное золото, пришла новая телеграмма. Остатки банды во главе с Петренко и знаменитой

атаманшей Марусей ворвались в город… Эта Маруся, дочь царского генерала, была воспитанницей того самого Смольного института, где родилась наша власть. Но теперь вместо томных подруг ее окружала пьяная голытьба. В белой черкеске, лохматой папахе, кокаинистка, безумная в похоти и жестокости, Маруся стала легендой…

Бронепоезд тотчас направился в город. И опять мы успели, бой был в самом разгаре. Петренко схватили прямо на улице. Марусю застрелили. Она лежала в уличной грязи с раскинутыми руками, золотая коса вывалилась в лужу. Из-под съехавшей на глаза папахи — прекрасное, совсем девичье лицо…

Петренко я расстреливал сам. По дороге предложил ему убежать, все-таки наш брат-революционер. Но он повел себя достойно. Сказал рассудительно:

— Мне без нее, дорогой товарищ, жизнь без особой радости будет. А без радости, сам понимаешь, на кой ляд она мне нужна?

Все он сделал, как положено. Перед расстрелом снял сапоги и сказал мне:

— Может, кому пригодятся…

Перед пулей выкрикнул:

— Да здравствует мировая анархия!

Я застрелил его. Горькая наша Революция!

Царицын оказался фантастическим средоточием всех течений, порожденных революцией, — эсеры, анархисты, монархисты… Так что расстреливать было кого. И Коба действовал. Расстреливал группами. Заводили грузовики, чтобы заглушать и выстрелы и крики. Трупы сваливали в мешки и присыпали землей. Ночью, в лунном свете, родственники копошились у могил, разрывали свежие ямы, искали близких. Им не мешали, боялись эпидемий. И родственники добросовестно выполняли за нас необходимую работу — сами (уже обстоятельно) хоронили.

Пленных и захваченных в городе офицеров (их обвиняли в заговорах) Коба пускал в расход, экономя патроны. Офицеров связывали, ночью грузили на баржи, вывозили на середину Волги и там топили…

Но в эти дни с расправами вышла заминка: Коба приказал расстрелять, конечно, по подозрению в заговоре левого эсера инженера Алексеева с сыновьями. Но его мать была известной революционеркой-народницей. Ленину сообщили об аресте, и он телеграфировал Кобе: «Срочно привезти гражданина Алексеева в Москву».

Коба показал мне телеграмму, усмехнулся:

— Ильич первым будет презирать меня, если в угоду

слабонервным я изменю свой приказ. Он постоянно твердит: «Будьте беспощадны с левыми эсерами. Надо подавить этих жалких истеричных авантюристов…»

Самое ужасное — и теперь я не могу это понять, — я считал так же! Но на расстрел детей не пошел.

— Надеюсь, когда-нибудь тебя, мудака, подстрелит на улице вот такой сорванец, — сказал Коба.

Алексеева кончали в подвале ЧК на следующий день. Рядом с ним стояли двое его сыновей, мальчики шестнадцати и четырнадцати лет.

Говорят, чекисты начали бузить:

— Это что же, нам детей стрелять?! Не хотим!

Коба нашелся сразу:

— Кто не желает стрелять в выблядков белогвардейского генерала Алексеева? Шаг вперед!

Услышав про генерала, все остались в строю…

Вместе с телеграммой Ильичу о расстреле Алексеева («Ваше требование пришло слишком поздно») Коба послал сообщение: «Несмотря на неразбериху во всех сферах хозяйственной жизни, навожу революционный порядок. Через неделю отправим в Москву около миллиона пудов…»

Узнав о гибели Алексеева и его детей, Троцкий устроил скандал. Ильичу пришлось звонить Кобе по телефону и просить разъяснений. Он позвонил, но вдруг… стал плохо слышать. И вместо выговора прислал телефонограмму: «Пригрозите расстрелом бездельнику, который не может добиться полной исправной телефонной связи с вами». Этим дело и кончилось.

Все это время Коба жил и работал в вагоне своего поезда. Когда я навещал его, охрана останавливала задолго до его вагона (она стояла всюду на путях).

Было сорок градусов жары за окном, и вагон адово накалялся. Даже ночью крыша хранила жар. Но мы, дети южного солнца, не боимся жары.

После расстрельных ночей в раскаленном вагоне все и случилось…

После говорили, что он изнасиловал Надю. На самом деле она была влюблена в него, как кошка, но долго не решалась — обычный страх девства. Коба не вытерпел… Но потом была страсть. Цыганская отцова кровь и материнская похоть. Яростные ночи вслед за яростью расстрелов… Я ночевал однажды в вагоне и слышал…

Но той ночью, когда Коба впервые овладел ею, случилась трагедия. Несчастный Федя, услышав ее крики, вбежал… в ***тот самый момент.*** И увидел обнаженную сестру и Кобу. Он

закричал. Коба в бешенстве револьвером прогнал его, запер дверь. И продолжил… Он не мог от нее оторваться, а она… уже от него. Парень бился в дверь, но они, упоенные друг другом, продолжали любить под этот стук. Несчастный упал у двери. Для него это было крушение мира: его идол Коба на глазах насиловал его сестру!

На следующее утро оба пытались его успокоить. И хотя тогда люди не нуждались ни в каких официальных церемониях, ради него в бронепоезде Серго устроили вечеринку, где отметили их брак. Присутствовали одни мужчины — Серго, жених Коба, я и Федя. Самой новобрачной не было.

Но с Федей что-то случилось в ту ночь. С тех пор начались его эпилептические припадки, порой бедняга стал заговариваться.

Вскоре мы с Кобой простились. Ильич приказал мне вернуться в Москву.

И наконец-то! Он решился отправить меня в Германию…

В переполненных тифозных поездах под именем князя Д. и с документами князя я должен был добираться до границы.

Имя «князь Д.» я приобрел значительно раньше, еще в Петрограде, в дни, когда только начинался красный террор.

Рождение князя Д

Именно в это время мне и группе товарищей готовили документы для переправки за границу. Паспорта, которые мы получали, как правило, были настоящие. Их забирали у расстрелянных заложников-дворян вместе с их биографиями и именами. Именно так я и нашел свое новое имя. Имя, под которым десятилетия буду работать за границей…

В те дни в Петроградскую ЧК доставляли множество арестованных «бывших». Убивали их обычно во дворе — в гараже. Расстреливали матрос с крейсера «Республика» Железняков и его братва. (Он был старшим братом того Железнякова, который вскоре разгонит Учредительное собрание.)

Он до сумасшествия обожал убивать. Жертв своих вылавливал прямо на улице. Охотился вместе с братвой с «Республики». Ехали стаей на автомобиле. Увидят на улице офицера, тотчас выскочат, окружат. Затолкают беднягу в роскошный мотор, увезенный из царского гаража. В моторе объявят: достаешь выкуп или расстрел… И везут несчастного по его знакомым, по петроградским квартирам. Звонят в дверь. Вконец деморализованный офицер покорно молит вчерашних друзей, любовниц, родственников дать деньги — спасти… Давали редко и мало. Справедливо боялись, что морячки решат: здесь есть, чем поживиться… Впрочем, давали или не давали — конец был один.

Наигравшись с жертвой, привозили беднягу в ЧК, вели в гараж. Перед расстрелом, как положено, запускали мотор грузовика (на этих же грузовиках вывозили трупы).

У Железнякова был свой особый ритуал. Перед выстрелом он обязательно ласково говорил жертве: «Я, дорогой товарищ, глубоко извиняюсь, но мать-революция требует». И стрелял в затылок. Еще пинок успевал сделать, «чтоб вражеской кровью поганой не забрызгаться». Так что расстрел он именовал «пинком под жопу»… От постоянной крови и кокаина Железняков стал совсем безумным… Сидит на стуле счастливый, лицо худое, безумное, шепчет: «Ах, люблю я офицериков — миленков угощать! Хлоп-хлоп! — и на душе ангелы поют, да так нежно», — и воздух крестит. А потом вдруг: «Вот здесь — смешно», — и гогочет, со стула валится от смеха!

Железняков и привез в ЧК мое «имя».

В тот памятный для меня день он со своей стаей поймал князя Д. на Невском. Как потом он мне сам рассказывал, князь отказался везти их по квартирам. Они кинули его, связанного, на

пол автомобиля и всю дорогу привычно развлекались — топтали сапогами. Привезли его в ЧК кончать, но, видно, сильно перепились и отложили расстрел «на завтра».

Я увидел князя, когда они вели его по коридору. В это время я искал для себя подходящую биографию, «легенду», как мы ее называли. Увидев Д., я тотчас забрал его у Железнякова и привел в свой кабинет.

Попросил принести чая и начал беседу. Князь Д. был из старинного грузинского княжеского рода.

Жил в Тифлисе. Я хорошо помнил прекрасный особняк этой семьи. Но главное — мы были одного возраста, оба грузины. И, что еще важнее, оказалось, он лишь однажды бывал в Петрограде, его совсем не знали в обществе, он сюда приехал с женой на свадьбу кузины. Тут их и застала наша великая Революция.

Все это он мне сам поведал. Потом спросил, что с ним будет. Я не стал обманывать соплеменника, сказал правду — расстреляем. Надо отметить, что и до, и после этого сообщения он держался спокойно-презрительно. С усмешкой спросил меня, откуда я родом, кто мои родители. Я отвечал правду, ибо жить ему оставалось недолго. Помню, он очень удивился, узнав, что я из хорошей семьи… А потом поинтересовался:

— Пришлось ли вам прочесть сочинение знаменитого историка Соловьева о Смутном времени?

— Не имел удовольствия.

— Тогда позвольте процитировать. — И он с дурной усмешкой заговорил: — «У добрых отнялись руки, зато у злых развязались на всякое зло. Толпы отверженных, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников…» — Он еще что-то цитировал, но даже моя особая, исключительная память не смогла (или отказалась) это запомнить.

Он добился желаемого. Я пришел в бешенство и прервал его монолог:

— Спасибо. Остальное дочитаю сам, а сейчас — «пожалуйте бриться».

Мы сошли в гараж. Он, я и двое красногвардейцев.

Он отказался повернуться к стене, но я и не настаивал. Он до конца смотрел мне в глаза. Храбрый был человек, настоящий грузин. Я был горд, что начну свою работу за границей с документами такого храбреца…

На следующий день я велел привезти его жену, чтобы расспросить о подробностях их жизни. Ей сказали, что с мужем все в порядке и чтоб она взяла с собой его вещи — костюм и

пальто, дескать, он просит. Она приехала с кожаным чемоданом, украшенным бронзовым гербом князей Д. Довольно вычурный, на мой вкус, герб: щит, увенчанный княжеской короной, которую держат два золотых льва в ошейниках. На щите — серебряный крест на красном фоне.

Она была смертельно перепугана. Я пообещал ей встречу с мужем, если она будет искренне отвечать на вопросы. Я не лгал, ведь я собирался отправить ее к нему. Несколько часов расспрашивал ее об их жизни, об их знакомых. Мне трудно было смотреть на нее во время допроса. Несчастная никак не понимала причину моего интереса, но с удовольствием подробно рассказывала. Ей нравилось уходить в прошлое. В ***то*** прошлое. Я слушал, запоминал (как я уже писал — у меня редкая память) все эти подробности разрушенной нами неправедной жизни богачей…

Ее обязаны были «ликвидировать» перед моим отъездом за границу. Расстрелять должен был тот самый Железняков-старший. Ему запретили насиловать ее перед расстрелом (его обычай), но Железняков плевал на запреты.

Так что пришлось мне самому. Я постарался без мук. Достал кофе с молоком (в те дни это была невероятная роскошь) и, пока она наслаждалась и медленно пила, зашел со спины и выстрелил в голову…

Сейчас мне трудно рассказывать обо всем этом, но тогда все было для нас ***по-другому…*** Разбойное, безумное время. Прочь с дороги — зашибем! Очень тонка пленка цивилизации на вчерашних обезьянах, уж мне поверьте! Мы радостно уничтожали старый мир. Даешь мировую Революцию! Вот что было ***тогда***!

И тогда же я стал князем Д.

Великая княгиня

Итак, первый раз я отправлялся в Европу под именем князя Д. И очень удачно придумал продолжить «легендирование».

В ЧК донесли, что великая княгиня Мария Павловна, племянница царя и родная сестра убийцы Распутина великого князя Дмитрия Павловича, готовится бежать вместе с мужем из Петрограда. К нам пришла служанка великой княгини, помогавшая перед отъездом зашивать драгоценности в подкладку шляп и одежды. (Бедной великой княгине казалось, что она придумала хитрость. На самом деле так прятали камешки почти все «бывшие», и у нас в ЧК первым делом распарывали одежду арестованных.) Тогда у меня и появилась идея. Через Кобу я добился запрета на арест великой княгини…

Служанка пересказала нам план, который наивные молодые люди обсуждали за обедом. Они решили проехать поездом до Орши (там тогда пролегала граница России и начиналась территория объявившей независимость Украины, точнее — Украины, оккупированной немцами). С помощью некоего надежного еврея в Орше (им кто-то передал его адрес) они собирались перейти границу. На Украине хотели переждать, пока падет наша власть. Если вскоре этого не случится, продолжить путешествие в Румынию, где правила королевская семья, и уже оттуда — далее в Европу. Я придумал с помощью великой княгини не только утвердиться в роли князя Д., но и создать ему отличную репутацию.

С ними ехал какой-то родственник мужа, кажется, его брат. Он сумел дать взятку «нужному человеку», и тот достал три места в купе вагона первого класса в поезде, направлявшемся в Оршу. Это была необыкновенная удача, поезда ходили редко, переполненные, мест не было. Излишне говорить, что «удачу» родственникам организовал я.

В вагонах первого класса было теперь по четыре места в купе. До сих пор помню, как троица вошла в купе, где четвертое место занимал веселый грузин… то есть я.

Одного вида троицы хватило бы для ареста. И у мужа, и у его брата были испуганные глаза и офицерская выправка. Но великая княгиня держалась молодцом. Как я узнал от служанки, именно она уговорила этих двух ничтожеств попытаться уехать. (И вовремя… Если б остались, отправились бы к нам в ЧК.)

Все я спланировал… Как только отъехали, разговорился с ними, потом сказал:

— Учтите, поезд останавливается на каждой станции.

Проверки документов будут частыми. У вас все в порядке с документами?

— Все! — заторопился муж великой княгини.

— Тем лучше, — кивнул я и вышел из купе. Громко позвал проводника. Проводник, естественно, был нашим сотрудником.

И они услышали разговор:

— Если будут проверять, скажешь, едут инженеры с мандатами. С ними тяжело больная женщина, просьба не беспокоить.

— Не извольте волноваться, никого не допущу в купе.

Я вернулся.

— Как вам это удалось? — удивилась княгиня.

— Старым российским способом. Денежки!

Уже на третьей станции раздались голоса. Это мои латышские стрелки изображали «проверку документов». И проводник грозным голосом объявил:

— Едут товарищи инженера с мандатами, они мне предъявили, не велено беспокоить!

На лице княгини было восхищение.

Именно тогда я сказал:

— Я хочу вам представиться: князь Д., готовый служить вам, великая княгиня, как все честные люди.

Надо было видеть ее лицо… Сначала страх, потом… счастье! Она отвыкла от таких слов. В дни революции ненависть к свергнутой династии была всеобщей.

Но муж, видно, мне не поверил. Через некоторое время он заговорил:

— Как мы вам рады, князь! Сейчас я вас вспомнил! По-моему, мы встречались с вами в Тифлисе во дворце великого князя… — (Николая Николаевича, наместника на Кавказе), — не так ли?

— Никак нет, — ответил я, — не имел чести прежде быть с вами знакомым. И прошу вас более меня не проверять… Ваша подозрительность вполне понятна, но не разумна. Если бы ваши подозрения были правильны, я давно сдал бы вас в ЧК.

Великая княгиня одобрительно закивала, я ей нравился.

Поезд шел медленно. Почти на каждой станции входили солдаты и матросы. Но проводник их не пускал. Мои попутчики слышали, как он заявлял:

— Сюда нельзя! Здесь инженеры с мандатами и тяжело больная женщина.

И эти люди из прошлого верили, будто матросы и солдаты, приходившие проверять документы, были столь чувствительны к дамским болезням, что соглашались пройти мимо нашего купе.

На самом деле, произнеся свое заклинание, проводник

показывал удостоверение ЧК и знаками приказывал проходить мимо.

Окончательно подозревать меня мои попутчики прекратили незадолго до пограничной станции Орша.

Я знал (их служанка донесла в ЧК), что супруг великой княгини придумал взять с собой револьвер. И условился с латышскими стрелками устроить обыск в нашем вагоне незадолго до Орши.

Когда поезд подходил к станции, они услышали громкие грубые голоса. Я прислушался и молча выскочил из купе. Вернулся, объявил:

— Это латышские стрелки. К сожалению, они войдут в купе, несмотря ни на что!

— У нас нет документов, — прошептала великая княгиня.

— Им плевать на документы, латыши обычно ищут оружие…

Надо было видеть побледневшее лицо ее мужа.

Я как бы заметил его волнение:

— Если у вас оно есть, немедленно отдайте мне. У меня фальшивые солдатские документы…

Вот так я в очередной раз «спас» их. Как же они были мне благодарны! Теперь мы стали неразлучны. В последний час пути я рассказал им о своем путешествии из Тифлиса в Петербург. Как удалось бежать от матросов, арестовавших меня на улице. И как жену мою забрали в ЧК и там расстреляли. Великая княгиня плакала… Короче, к концу пути князь Д. превратился в друга великой княгини…

Мы высадились в Орше. Кратко расскажу дальнейшие перипетии.

У них не было ни документов, ни украинской визы. Для меня это не составляло проблемы. У нас на границе в Орше имелся свой украинский комиссар, и по этому «коридору» мы беспрепятственно въезжали в Украину.

Но у них был адрес еврея, который переводил нелегально через границу. И пока они искали его лавочку, я послал к нему своих людей… Они поговорили с ним. Когда же появились мои горемычные спутники, он отказался их перевести.

Вот тогда я предложил новым друзьям положиться на меня и самим отправиться к границе. Они согласились. Я нашел извозчика.

Лошади остановились у дощатого забора, который и был границей. У него стояли бесчисленные повозки и бессмысленно бегали, суетились желавшие пересечь границу люди.

Рядом с забором находился деревянный сарай, возле разгуливал высокий хлопец в солдатской форме и в офицерской

фуражке, из-под которой торчал рыжий чуб.

Великая княгиня отправилась уговаривать его пропустить нас всех без документов. И чудо — он согласился!

— Он не выдержал испытания красотой, — пошутил я.

— Да нет, я просто молилась, пока шла…

Естественно, это был свой человек — первое звено «нашего коридора» в Украину.

Он пропустил нас всех за забор. Там начиналась нейтральная зона, и за нею уже — кирпичный забор, колючая проволока и огромные ворота, за которыми прохаживались немецкие солдаты.

Чтобы пройти через эту немецкую заставу, требовалась украинская виза. Ее у них, естественно, не было.

Я стал упрашивать великую княгиню «попытать счастья у украинского комиссара».

— Вдруг опять случится чудо?

Но великая княгиня перепугалась слова «комиссар». Она предпочла немецкого командующего. И отправилась к нему.

Тщетно русская аристократка умоляла немца-офицера, чьи предки столетиями служили при русском дворе. Просила сжалиться, выпустить ее и спутников — офицеров, которым грозит гибель от большевиков. Но педантичный немец упрямо соблюдал правила: если у нее нет украинской визы, он ничего не сможет сделать без согласия украинского комиссара.

— Но комиссар попросту отправит нас обратно в Петроград! Что нам делать тогда?

— Тогда, госпожа, вам надо будет вернуться в Петроград, — сказал немец.

Она возвратилась совершенно разбитая. Я вновь посоветовал ей сходить к комиссару.

— Он все-таки русский, хоть и украинец. Клянусь, он не выдержит блеска ваших глаз.

— Вы еще можете шутить!

Обессилевший голодный муж уже умолял ее плюнуть и вернуться назад. Потерянный, жалкий, он сидел на земле у телеги, рядом расхаживал молчаливый брат. Но она решилась.

И опять чудо! Украинский комиссар выдал нам всем украинские визы и документы. Чтобы чудо выглядело правдоподобнее, он объявил себя племянником фрейлины царицы…

Они недолго гостили в Украине и через Одессу собрались переправиться в Румынию.

Вместе с ними в Румынию поехал и я.

Мы много беседовали в пути. Она сказала мне: «Нас внезапно выдернули из блистательной сказочной жизни и прогнали со

сцены, в чем мы были… в платьях из сказки… Теперь нам придется завести повседневную одежду и, главное, научиться носить ее. Нужен совсем новый подход к жизни…»

Ее встречали торжественно, пожалуй, это была единственная королевская чета Европы, которая относилась к Романовым по-прежнему. Близкие родственники царской семьи, жившие в Англии, не посмели пригласить к себе членов свергнутого семейства, хотя догадывались, что их ждет в России. Да и трудно было не догадаться, имея в собственной истории революцию, лишившую головы Карла I…

Однако когда румынская королева пригласила великую княгиню с собой в Париж, румынский премьер-министр заставил ее отказаться от этого намерения, уж очень не популярна была династия Романовых по всей Европе. Мудрая молодая женщина не обиделась. Великая княгиня сказала мне: «Что ж, остракизм, которому мы подвергаемся, понятен. Мы — пережиток прошлого, мир более не нуждается в еще одной ветхой византийской империи… Правила, по которым мы жили, отменяются, но я… я воспитана в этих правилах… Я дитя еще недавно могущественной династии и не могу сразу от них отказаться, не могу стать безразличной к постоянным покушениям на мое достоинство».

Итак, первую часть миссии я выполнил. Новорожденный князь Д. оказался удачлив. Великая княгиня представила его королевской семье в славной роли спасителя.

Красавица королева, которая была истинной главой этой семьи, дала мне аудиенцию. Я рассказал и ей трагедию князя Д., потерявшего в большевистских застенках любимую жену, и королева тоже вытирала слезы. Люди из XIX века были очень чувствительны.

Так что с самого начала у князя Д. появились могущественные друзья…

Вскоре княгиня увидела князя со скорбным лицом.

Я рассказал Марии Павловне, что должен незамедлительно вернуться в Москву.

— У меня умерла тетушка… И завещала мне наши родовые драгоценности. Я попытаюсь вывезти их из России… Мне они очень дороги, их носили мои прабабушки… Эти камешки — все, что осталось от той жизни…

— Я так понимаю вас! Но мы сумели вывезти… — И она принялась меня учить, как прятать драгоценности. Оказалось, они были изобретательнее, чем я думал: они не только зашивали камни в одежду, они залили бриллианты парафином, и те стали свечами, они спрятали часть в пресс-папье и так далее.

— Ваше высочество, вам удалось провезти ваши фамильные

реликвии только благодаря вашим королевским друзьям. Благодаря им нас всех не обыскивали. Румынская граница имеет печальную славу. На ней варварски обыскивают русских, таможенники знают, что русские аристократы везут с собой драгоценности.

— Если вы сумеете послать мне весточку из Украины, вам нечего будет опасаться…

Всю эту беседу с великой княгиней я затеял, ибо мне передали из Петрограда мое следующее задание. Теперь под именем князя Д. я должен был перевезти драгоценности из России в Германию.

Кровавые бриллианты

Что это были за драгоценности, я узнал только по прибытии.

ВЧК уже переехала тогда в Москву, и мы расположилась в здании на Лубянской площади. Здание принадлежало когда-то самому большому в империи страховому обществу «Россия».

В моем кабинете на Лубянке осталась старая мебель красного дерева. Из окна была видна вся площадь со знаменитым фонтаном, который впоследствии заменили памятником моему начальнику Феликсу Дзержинскому. (Каково было мое удивление, когда я узнал, что когда-то на этом самом месте находился дом ***менгрельских князей Д.!*** Да, да — «моих» пращуров!)

Вот в этот кабинет и принес «камешки» (так он их называл) некто Яков Юровский — черноволосый, с короткой бычьей шеей, в черной «свердловке» — кожанке. Он работал в это время в Гохране и выдал мне эти драгоценности под расписку.

«Камешками» оказались великолепные бриллианты, должно быть, бесценные. Невероятной красоты три диадемы, браслеты плюс три длиннейшие нитки жемчуга и два восхитительных аграфа. Один представлял маленькую ветку с тремя цветками, покрытыми как бы росой из бриллиантовой пыли. Другой — бант в виде ветвей, усыпанных крупными бриллиантами.

Я не знаток роскоши, но эти фантастические вещи слишком громко кричали о своем происхождении.

Я спросил?

— Откуда это великолепие?

Вопрос был лишний, он понял, что я догадался, и мрачно сказал:

— Из Екатеринбурга.

Наша газета «Правда» не так давно напечатала сообщение о расстреле в Екатеринбурге царя Николая II. Надо сказать, что на фоне голода и крови полыхавшей в стране гражданской войны расстрел прошел как-то незаметно. Тем более что про наследника и про женщин — царицу и дочерей — сообщалось, будто они «эвакуированы в надежное место». Но уже тогда среди партийцев пошел слух о том, что на самом деле расстреляна вся семья — царь, царица, их сын и четыре дочери, даже слуги и врач. Слух этот был мне очень неприятен. Я ненавидел Романовых. Но расстреливать беспомощных девочек, подневольных слуг и врача!.. Это недостойно нашей Революции. Я предпочитал, как и многие наши, думать, что все это неправда. Но теперь, глядя на «камешки»…

Я осторожно спросил Юровского:

— Это что же, ***их*** вещи?

Он ответил глухо:

— Хорошо, что именно эти бриллианты послужат Революции.

— Нет, — сказал я. — Не подходит. Их трудно будет продать и перепродать в Европе. Они могут быть известны ювелирам. С этакими драгоценностями продавца просто арестуют, а предметы вернут уцелевшим Романовым.

— Хорошо, выберешь сам — поскромнее.

Он предложил мне поехать в Государственное хранилище ценностей, или, как его называли тогда, Гохран.

Но автомобиль не завелся. Добираться до Гохрана на трамвае не решились. Трамваи ходили редко, с них гроздьями свисали люди. Свисавшие подвергали себя огромному риску. Появились пьяные лихачи-шоферы чекистских грузовиков, которые любили промчаться впритирку с трамваем — попугать свисающих. И не один был случай, когда они «сбривали» своим кузовом с десяток несчастных людей.

Пока дожидались нового автомобиля, Юровский попросил чаю. Принесли. Я выставил головку сахара, полученную утром в чекистском пайке.

…Оказалось, этот Юровский видел последние минуты жизни царской семьи. Он командовал расстрелом. Хрустя сахаром, он впервые рассказал мне все, что случилось. («Впервые» — потому что с тех пор, как мы подружились с этим фанатиком, он только об этом и рассказывал. У него было какое-то помешательство. О чем бы с ним ни говорили, он переходил к рассказу о расстреле Романовых.)

Попытаюсь передать его монолог, который я слышал много раз.

— Все, что я говорю, останется тайной навсегда, — так он обычно начинал. — Царя стрельнул я, — прихлебывая чай, он захрустел сахаром… И этот хруст был, как хруст ломающихся костей, как пародия на выстрелы, о которых он вспоминал. — Я прочел им приговор… там три строчки было. И тотчас стрельнул, царь — навзничь… фуражка в угол отлетела… За мной все стали палить. Нас — целая команда, двенадцать человек. Беспорядочная стрельба. Царица упала следом… Слуга царский, врач… Но с детьми повозились! Девиц никак ликвидировать не могли… Помещеньице маленькое, метров тридцать, а пули… пули отскакивают от девиц и летают по подвалу, рикошетят, одного из нашей команды даже поцарапало. Палим, палим, как сумасшедшие, палим — и ничего, они все живы! Малец-наследник ползает по полу, шевелится, как раздавленный таракан… Я в дым вошел и двумя выстрелами в голову покончил

с его мучениями. А девицы все живут… Две на коленях стоят у стены, руками головы от пуль защищают. Наконец и они упали… Все Романовы на полу лежат… Начинаем выносить на носилках трупы. И тут расстрелянные девицы стали… подниматься в носилках и совсем свели нас с ума! Расстрельная команда обезумела… Докалывали их прямо на полу штыками. И опять загвоздка — штык в них не входил… Как ты думаешь — почему такое было? Нет, Бог оказался ни при чем… Хотя и я грешным делом подумал! Только когда хоронили и одежду сжигали, мы все поняли. Когда девиц раздели, в корсажах сверкнуло. Они бронированные были — в корсажах оказались зашиты бриллианты… А царица вся нитями жемчужными обмотана… Видать, бежать готовились. Я лично снимал эти драгоценности с тел царицы и дочерей… Бронированные девицы, бронированные… — повторял и повторял Юровский и прихлебывал чай, а глаза у него становились совсем безумные. Казалось, вот-вот истерика с ним случится, а он все бормотал: — Оттого они нас мучили, девицы… и сами мучились! А царица хоть все тело опутала нитками жемчуга, но жемчужины пропустили пулю. С первого залпа отдала концы… Отдала концы… — опять повторял и повторял он.

«Тронутый» был человек. И дочка его, красавица, этакая библейская Суламифь, всегда молила его перестать рассказывать. Я за ней приударил, что греха таить. Любимая была дочь, член ЦК комсомола. Коба в тридцатых отправил ее в лагеря. Слышал я, она вышла только после смерти Кобы. Семнадцать лет там пробыла. Нетрудно понять, что с ней там делали… Я думаю, у Юровского на этой почве язва и открылась! Нервы! Ни дочки, ни любимых товарищей — никого Коба ему не оставил. Весь уральский Совет в 1937 году расстрелял. Но самому Юровскому — все-таки исторический персонаж, цареубийца — умереть своей смертью разрешил… Я к нему ходил в Кремлевскую больницу. В палате он лежал один, двух его соседей, одного за другим, прямо с койки привезли к нам на Лубянку — расстреляли. И Юровский вскоре поспешил умереть.

Но это потом. Тогда он привез меня к Гохрану, находившемуся в Анастасьевском переулке в здании бывшей Ссудной палаты.

Открыл ключом тяжелую дверь. Мы вошли в огромные комнаты. Свет фонарика отовсюду выхватывал драгоценности. Они были свалены на подоконнике, на столах… Завернутые в скатерть или простыню, лежали прямо на полу. Настоящая пещера с сокровищами!

Здесь были драгоценности на любой вкус. Тут я и отобрал

подходящие «камешки».

Перед отъездом меня вызвали к Ильичу. Была глубокая ночь, но Кремль не спал. Каково же было мое изумление, когда в кабинете вместо Ильича я увидел… Кобу! Мы обнялись. Оказалось, его отозвали из Царицына.

Смелый Коба поцапался с Троцким.

Троцкий был тогда Главнокомандующим вооруженными силами республики. Он спасал в это время нашу власть, окруженную «огненным кольцом фронтов» (слова «пламенного» Льва).

— Ильич уговаривает не обострять отношений, — пояснил Коба и улыбнулся.

Улыбнулся и я. Мы оба с ним знали, как ценит ревнивый Ильич ненавистников могущественного Льва.

— Я уговорил Ильича немного поспать. Тебя вызвали, потому что ему сообщили, будто Юровский все рассказал тебе. Но Ильич предупреждает: ни слова об этом Иоффе. — (Иоффе — в то время наш полномочный представитель в Германии.) — Иоффе должен быть уверен в официальной версии: расстрелян только царь, остальная семья вывезена в надежное место. Ильич говорит, что «так ему легче будет врать немцам», — Коба прыснул в усы. — Кайзер тревожится о царских детях, Иоффе ведет с ними бесконечные переговоры об их выдаче. Это сильно смягчает претензии немцев. Родственники все-таки, — добавил Коба.

Что такое «родственники», мы в Грузии хорошо понимаем…

Я рассказал ему про свалку драгоценностей в Гохране и про то, как отказался от царских вещиц:

— Опасно, да и ощущение… снятые с детей украшения…

Коба только усмехнулся:

— Ты эти телячьи нежности брось! Возьмешь и их, мы здесь так решили… Продавать их в Германии — не твоя забота, этим займется опытный немецкий товарищ.

Нет, он не был бесчувствен, мой лучший друг… Я готов повторять и повторять: те, кто читают о нас ***теперь,*** не понимают нас ***тогда.*** Эмоции в те годы сильно поизносились вместе с привычной моралью. Например, Каменевы своего маленького сына спокойно одевали в одежду расстрелянного наследника Алексея. Как сейчас вижу его в матроске, фуражке и сапожках цесаревича. Правда, вместе с одеждой наследника несчастный каменевский сын получит и его судьбу… В 1938 году Коба расстреляет и его.

«Поповско-квакерская болтовня о священной ценности человеческой жизни», — помню, как грохотал аплодисментами зал, слушая эти слова Троцкого… Интересно: когда Лев Великий

умирал с проломленным черепом, вспомнил ли он свои слова? И вспоминали ли их аплодировавшие, когда их уничтожал мой друг Коба? Сам я часто вспоминал их, правда, позже, через много лет — в лагере.

Про порядки в Гохране Коба принял к сведению.

Когда мне пришлось брать новые «камешки», я увидел результаты его работы. Сначала пришлось заполнить множество бумаг. В хранилище была сооружена особая дверь. Чтобы открыть ее, требовалось вставить пять ключей, принадлежавших пяти различным ведомствам. Это осуществляли пять их представителей. И внутрь они входили все вместе в сопровождении охраны. Это был любимый порядок Кобы: все следят за всеми… Так что в хранилище стало слишком многолюдно для меня. В силу моей конспиративной работы я более не решался ездить в Гохран. Требуемые драгоценности приносил мне теперь сам Юровский.

Мировая революция

Итак, благодаря великой княгине драгоценности ее царственных родственников-мертвецов благополучно пересекли опасную границу Румынии. Из Бухареста я отправился в Берлин. Князь Д. вместе с «камешками» вскоре достиг Германии, и они начали служить мировой Революции.

Великая княгиня до смерти не узнала, чьи сокровища она спасала и для чего. И почему ей и ее мужу удалось проехать целыми и невредимыми через «ненавистную Большевизию»…

Безутешный вдовец, князь Д., спасшийся от большевиков, въехал в Берлин. Вместе с драгоценностями я привез рекомендательные письма великой княгини к знатным русским эмигрантам, наводнившим тогда город. Многие из них были немцы по происхождению и теперь вернулись на историческую родину. Но продолжали тосковать по России. Россия — это болезнь навсегда.

Я встретился со многими из них и даже наметил кандидатов для вербовки (в будущем завербую семерых).

Берлин накануне поражения был мрачен. По городу бродили калеки, продукты исчезли. На стенах я увидел радостно потрясшее меня граффити: «Да здравствует Ленин!» Мимо, не обращая никакого внимания на надпись, шли усталые люди. Только к вечеру надпись грубо замазали.

В гостинице меня попросили не выставлять за дверь обувь — могут украсть. И это в законопослушной Германии! Мусор на улицах уже не убирался. Распалась цепь времен, и мы хорошо потрудились для этого!

В Берлине на явочной квартире меня навестил наш посол Адольф Иоффе. Типичный еврейский интеллигент с толстым носом, с большой курчавой черной бородой, с грустными глазами. Этот сын богатого купца получил блестящее образование в том же Берлине и в совершенстве знал немецкий. Он с юности участвовал в социал-демократическом движении и во всех наших революциях. Вместе с Троцким издавал газету, являлся его преданным сторонником. По распоряжению Троцкого и был направлен постоянным представителем в Германию.

Я передал ему драгоценности и валюту.

Увидев привезенное великолепие — необычайно крупные бриллианты, фантастические нитки жемчуга, — Иоффе был потрясен. Я поторопился объяснить, что их конфисковали у великих князей. Мне показалось, что он не поверил. Во всяком случае тотчас спросил:

— А что там с царской семьей?

— Что с ней может быть? Николай расстрелян, остальные эвакуированы в надежное место.

— Здесь слухи разные ходят.

Я повторил официальное сообщение. Но его глаза стали еще печальнее.

Он сказал мне, что я должен встретиться с товарищем Менжинским, которому он передаст мои драгоценности.

— У него вы получите инструкции…

Менжинский — сибарит, сын статского советника. В ранней юности был эсером. Мы, старые большевики, не забывали, как в те годы он честил Ильича «политическим иезуитом». Но у него, видно, был отличный нюх. После Февральской Революции Менжинский поспешил сблизиться с большевиками и «иезуитом»! Ильич охотно принял его в наши ряды, правда, высказался о нем с ответной теплотой: «Наше хозяйство будет достаточно обширным, чтобы каждому талантливому мерзавцу нашлась в нем работа». «Талантливого мерзавца» Менжинского, юриста по образованию, Ленин определил в руководство Петроградской ЧК. Среди наших полуграмотных темных сотрудников блестяще образованный, говоривший на множестве языков человек был бесценен.

Мы встретились глубокой ночью в нашем представительстве, занимавшем бывший дворец курфюрста. Поднимаясь по когда-то роскошной, а нынче знакомо заплеванной лестнице, я вспомнил особняк Кшесинской…

Менжинский ждал меня в комнате «Иностранного отделения представительства». Он сидел холеный, полный, тяжело дышал — у него была астма.

Я сказал ему о грязной лестнице. Он ответил со злой усмешкой:

— Обычная визитная карточка наших товарищей — презрение к роскоши. Какие здесь были музейные гобелены и ковры! Теперь разрезаны по-нашему, по-большевистски, поровну и распределены по всем комнатам. На мебели восемнадцатого века — следы горячих чайников и забавы: вырезают ножом голых девиц и коммунистические изречения… Расскажите, как вам удалось провезти драгоценности?

Я кратко описал свои приключения. Моя выдумка с великой княгиней привела его в восторг.

— Вот так надо работать! Вот тут зарыт клад! — Он встал, тяжело дыша заходил по комнате.

Перешли к делу.

— Драгоценности нужно было передать прямо мне, с Иоффе

вообще вам не стоило ни о чем разговаривать. Про Иоффе Ильич сказал вам правду Если ему не следует чем-то заниматься в этой жизни, то в первую очередь быть дипломатом. Он совершенно не умеет лгать. Вот такое довольно неожиданное заболевание. Он всем говорит правду. Ему прислали секретаршу из Москвы — знойная, черноволосая, с роскошными формами, длинными ногами. Мозгов у нее нету, все ушли в пышную девятнадцатилетнюю крепкую грудь… Он… точнее, она переспала с ним. О чем он незамедлительно оповестил жену Дору. Что привело эту даму в бешенство…

— И Москва терпит ситуацию?

Менжинский загадочно улыбнулся:

— На этот вопрос, без сомнения, вы вскоре ответите сами. — И он продолжил вводить меня в курс дел в представительстве. — Немцы справедливо уверены, что Иоффе — «редкий олух», — (любимое словечко Менжинского). — Сейчас они ведут с ним переговоры о поставке каучука и никеля в Германию. Взамен обещают поставить нам уголь, и «олух» должен организовать эту сделку. При этом другой олух, — (имелся в виду нарком по иностранным делам Чичерин), — дает Иоффе по телефону секретные инструкции, которые прослушиваются немцами… Но я не вмешиваюсь, пусть немцы думают, что все контролируют. Одновременно с углем и никелем Иоффе, по моему предложению, торгуется с кайзером о царской семье. Кайзер не просит отпустить в Германию царя, царицу и наследника. Это враги. Он просит только за племянниц — царских дочерей. Иоффе, убежденный, что они живы, опять же по моему предложению требует от немцев огромные, то есть невыполнимые поставки продуктов в голодную Россию. Так мы успешно водим Кайзера за нос. Все эти переговоры и глупейшие указания наших многочисленных вождей отлично прикрывают нашу главную работу — Революцию в Германии!.. С вами будет работать секретное Иностранное отделение, устроенное мною внутри представительства. Его руководитель — латыш товарищ С-е. Человек он мрачный, неразговорчивый, короче, отличный резидент. В представительстве он заведует кассой и ключами от сейфа, где лежат деньги представительства и наши — на нашу работу. Кроме него в Иностранное отделение входят трое товарищей, занимающих должности курьеров и стенографистов, и четверо немецких товарищей — коммунистов, близких к Розе Люксембург и Карлу Либкнехту. Все немцы числятся обслугой и безбожно выносят продукты из нашей столовой, население в Берлине живет голодно… Я надеюсь, что это Иностранное отделение с вашей помощью станет центром нашей разведки во

всех странах Большой и Малой Антанты. Ваша нынешняя задача — покупка оружия для товарищей из революционной группы «Спартак». Деньги от продажи ваших драгоценностей уже на днях вам передаст товарищ С-е…

В заключение я узнал изумившее меня.

— Мы договорились с Феликсом (Дзержинским): все сведения вы должны передавать вашему другу Кобе. Он, пожалуй, единственный организованный человек в нашем революционном сумасшедшем доме, именуемом Совнаркомом…

На следующий день Менжинский выехал в Москву, и связь со мной осуществлял мрачный хромоногий латыш из Иностранного отделения.

Виделся я с ним дважды. Латыш мрачно пожаловался, что в представительстве создалась очень нервная обстановка. Секретарша слишком демонстративно распоряжается постелью Иоффе и жизнью представительства, жена Дора слишком шумно устраивает скандалы, короче, наметилась склока.

— Я знаю, что у вас есть связь с товарищем Кобой…

Я попросил Кобу убрать секретаршу. Ответ был резкий: Коба приказал не вмешиваться не в свои дела. Я наконец понял улыбку Менжинского. Девица, видимо, спала с Иоффе по распоряжению. Ильич не доверял бывшему меньшевику и яростному фанатику Троцкого.

Все та же новая практика нового времени: все следят за всеми.

(Кстати, правдолюб Иоффе — один из немногих, кто остался верен Великому Льву до конца. Через несколько лет после победы Кобы над Троцким преданный Иоффе в знак протеста покончил с собой.)

Будучи эмигрантом князем Д., я активно вошел в жизнь эмиграции, участвовал в благотворительном бале русских эмигрантов, вел светскую жизнь…

И с заданием справился достаточно просто. Большую партию оружия я закупил… на складах немецкой армии! Как и положено князю Д., я покупал оружие для монархического подполья. Торговал им продажный немецкий офицер. Так что хваленая немецкая армия тоже порядком разложилась.

Оружие получила группа «Спартак». Вот так под крышей представительства Иностранное отделение готовило революцию в Германии. Как прежде немцы готовили революцию в царской России. На это и пошли отмытые от царской крови привезенные мной драгоценности.

К сожалению, цены на ювелирные украшения упали и в Германии, и деньги закончились довольно быстро. А потому мне

пришлось вернуться в Москву за новыми «камешками».

На третий день по возвращении — свершилось! Оказалось, ездил не зря. И не зря трудился Менжинский…

Полыхнуло пламя — загорелась Германия! Зажженный нами великий пожар перекинулся в мир! Все, как мечтали и предсказывали Ильич и Троцкий! В Киле восстали матросы… Все шло по нашему сценарию. Кайзер был в Ставке, ему пришлось отречься от престола. В Берлине, охваченном всеобщей забастовкой, армия перешла на сторону восставших! Канцлер принц Макс Баденский ушел в отставку. Социал-демократы заседали в Рейхстаге и раздумывали, как им поступить. В это время мой знакомец левый социалист Карл Либкнехт с балкона королевского дворца от имени пролетариата провозгласил создание германской республики Советов. Вторая великая империя на наших глазах исчезла с европейской карты. Мудрый, мудрый Ильич! Великий, великий Троцкий!

В ту ночь Кремль не спал. Пили шампанское, заедали холодными картофелинами — в стране по-прежнему был голод. Счастливый Ленин, обезумевший Троцкий читали вслух телеграммы из Берлина. И Ленин шептал (опять по-немецки) все то же:

— Кружится голова!

Прошло всего несколько дней… и 12 ноября — новая революция, теперь в Австрии! Третья великая монархия исчезла с карты мира. Сомнений не было: всего через год после нашего Октябрьского переворота она началась — мировая Революция!

Еще совсем недавно, в нестерпимом холоде Туруханского края, откуда европейский порядок казался вечным, могли ли мы мечтать, что все сгорит через какие-то два года! «Кончилась всемирная буржуазная идиллия. Началось всемирное землетрясение», — записал я в дневнике.

В тот день по улицам обеих голодных наших столиц прошли колонны счастливых революционеров. Гремели оркестры! Оглушительный «Интернационал» несся из окон. Удалось! Мы взорвали сытый мир! «Даешь мировую Революцию!»

В это время Коба опять появился в Москве. Оказалось, вернувшись в Царицын, он продолжил драчку с Троцким и теперь по настоянию Льва был снова отозван оттуда. Коба продолжал радовать Ильича. Но встретиться нам не удалось.

Ильич отправил меня обратно в Берлин. Пока царит хаос — лучшее время для разведчиков.

Самец Муссолини

В Берлине шли бесконечные демонстрации, как в Петрограде в феврале 1917 года. Кажется, в эти дни (или позже, могу ошибаться) туда примчался из Италии человек с квадратной челюстью — итальянец Бенито Муссолини. Тогда он был социалист, и популярность его росла с каждым днем… Они все в чем-то сходились, эти будущие диктаторы. Муссолини — необразованный сын кузнеца, Гитлер — неудачник, начинающий художник, сын незаконнорожденного. И мой друг — сын пьяного сапожника… Их ненависть к эксплуататорам — не от ненависти к угнетению (как было у дворян-революционеров, да и у меня самого), но от личных невзгод, от ненависти к своему неравенству, от жажды отомстить отвергшему их обществу…

В это время я получил распоряжение завербовать Муссолини.

Впервые я повстречал его еще при царе, когда в очередной раз бежал из России.

В начале XX века мы, молодые русские марксисты — беглецы, расплодились по всей Европе. Мы все были похожи — длинные нечесаные волосы, обязательно небритая щетина, мешки под глазами от ночных диспутов и деньги, поступавшие от состоятельных родителей, — ими мы делились с необеспеченными товарищами. Именно тогда в Женеве, в дешевом кафе, где собирались эмигранты, я увидел странную пару. Крепкого, мускулистого самца с квадратной выпирающей челюстью, грязно одетого. И рядом — его любовницу, сорокалетнюю маленькую уродливую горбунью. Это была знаменитая тогда Анжелика Балабанова, социалистка, подруга Ильича, великий авторитет для нас, русских марксистов. Муссолини с восхищением смотрел в рот ни на секунду не умолкавшей горбунье. Он очень напоминал тогда Кобу.

Но как же все изменилось нынче! Муссолини остановился в самой дорогой гостинице «Адлон» у Бранденбургских ворот. Я увидел его в ресторане отеля. Муссолини стал неузнаваем. Он весь — восторженная южная самоуверенность. Теперь он сам громогласно, важно и безостановочно говорил, как когда-то говорила Анжелика. Горбунья тоже осталась в прошлом. Вместе с ним обедала рыжеволосая красавица, его новая любовница.

У нас имелась информация, что Муссолини баллотируется в парламент и ему нужны деньги на избирательную кампанию и на шикарную жизнь. Он согласился встретиться с нашим агентом. Встреча состоялась в маленьком берлинском кафе. Я сидел за соседним столиком. Агент, вчерашний царский прапорщик,

обладавший единственным достоинством — он знал итальянский, повел себя, как осел. Сразу заговорил о деньгах. Муссолини расхохотался:

— По-моему, ваш азиат Ленин хочет сделать меня своим шпионом! Подите-ка вон!

(Смешно: азиатом Ленин называл Кобу, а Муссолини — Ленина.)

Я тогда подумал, что он блефует, набивает цену. Позже выяснилось: его вправду не интересовали деньги. Рыжеволосая любовница оказалась богачкой, дочерью банкира и женой преуспевающего адвоката. Что делать, мы тогда только учились. Вместо профессии у нас был один великий энтузиазм и жажда запалить этот сытый мир. Но часто наш непрофессионализм помогал. Наши враги — профессионалы, действующие согласно логике, порой не могли просчитать наши совершенно нелогичные, часто интуитивные ходы.

В это время я, то есть князь Д., жил между Берлином и Лондоном, наездами возвращаясь в Москву…

В 1918–1921 годах Берлин превратился в сумасшедший дом. Все прежние ценности были объявлены ошибкой. На смену вчерашним запретам пришла безграничная свобода. Люди будто помешались. Бары, бордели, распивочные были переполнены. Пир во время чумы. Каждый день девальвировалась марка, спекулянты создавали невероятные состояния… Девушки носили модные мужские прически. Опроборенные женские головки! Юные девицы из буржуазных семей открыто пили и открыто развратничали. Самым позорным у берлинских школьниц стало обвинение в девственности. Немецкая обстоятельность перевернулась с ног на голову. Теперь это был обстоятельный разврат. Балы трансвеститов собирали тысячи. Не отставало в безумии и новое искусство. Все, что было понятно, отвергалось. Уничтожили мелодию в музыке, сходство в портрете, литераторы радостно уродовали язык. И чем моложе и, главное, необразованнее был человек, тем он становился успешнее. Такой вот бунт молодежи против прежнего родительского мира.

Казалось, погибшая Германская империя с ее нравами исчезла навсегда.

В Москве были уверены, что это лучшее время для осуществления нашей мечты — новой революции в Берлине! Но это была большая ошибка… Как писал потом кто-то из немцев: «Уничтожая прежние привычные ценности, народ в глубине души тосковал по ним. Ибо немецкий народ — прежде всего, народ порядка. И немецкий обыватель, даже участвуя в этом коллективном отчаянии, в этой оргии свободы, на самом деле

ждал того, кто отнимет у него эту треклятую свободу».

Но и в другой стране недавно уничтоженного порядка, в России, жили с той же подсознательной мечтой — о том, кто вернет порядок!..

«Они пройдут — расплавленные годы народных бурь и мятежей: вчерашний раб, усталый от свободы, возропщет, требуя цепей», — писал поэт в это время революционной анархии.

Все случилось, как предсказывалось. Революция в Германии закончилась бесславно. Кайзера сменила столь ненавистная нам, истинным революционерам, буржуазно-демократическая республика.

Карл и Роза: продолжение мировой революции

Но я ездил в Берлин не зря… Деньги работали, и снова подразнил нас мираж мировой Революции.

В январе 1919 года вожди коммунистической партии Карл Либкнехт и Роза Люксембург подняли восстание в Берлине.

Они попытались захватить власть, как это сделали мы полутора годами ранее. Ненавистное правительство социал-демократов должно было разделить судьбу Керенского.

Но восставшие не знали, что со времен кайзера существовала секретная линия, по которой социал-демократы связывались с руководством армии. Рейхсвер, потерпевший поражение на фронте, оставался главной силой внутри государства. Ибо немцы, как сказал кто-то, «это не государство с армией, а армия с государством».

В дело вступили добровольческие отряды. Эту боевую организацию создали вернувшиеся с фронта кайзеровские генералы и офицеры (потом многие из них примкнут к Гитлеру). У них имелись и танки и пулеметы. И они были беспощадны… Бои шли прямо на улицах. Они расстреляли восстание.

…Хрупкая еврейская женщина Роза была неистовой революционеркой. Пламенная маленькая Роза и рассудительный высокий Карл. Их арестовали и по пути в тюрьму зверски убили. Трупы Карла и Розы нашли в канале…

Готов повторять до бесконечности: все тогда перестали быть людьми. В пекле первой мировой бойни сгорала европейская цивилизация. Если не понять этого, не понять ни нас, ни наших врагов, ни того времени…

Но желанное нами Мировое Землетрясение не утихало.

10 января произошло восстание в Бремене — родилась красная Бременская республика. Но снова армия выступила на стороне правительства. Не прошло и месяца, как 4 февраля 1919 года войска рейхсвера взяли красный Бремен.

И, будто издеваясь, дразня, — новый мираж мировой Революции: запылала Венгрия! Коммунист Бела Кун радиограммой сообщил Ленину: в Венгрии установлена красная Республика и диктатура пролетариата.

Бела Кун попал в русский плен в 1916 году. Этот вчерашний венгерский военнопленный стал вождем венгерских коммунистов. По-моему, в конце 1918 года он был отправлен Ильичем в Венгрию делать Революцию. Вместе с ним туда выехали

вступившие в коммунистическую партию многочисленные венгерские военнопленные. Большинство их после революции работали у нас в ЧК и прошли отличную школу. Среди них были, кстати, и четверо друзей Бела Куна, венгров, участвовавших в расстреле царской семьи…

Вернувшись в Венгрию, они успешно повторили опробованную Ильичем модель Октябрьского переворота. Сначала они (как мы в июле 1917 года) провели демонстрацию, попытались захватить власть, причем также безрезультатно. Они так же были арестованы и так же трусливо выпущены властями из тюрьмы. После чего продолжили готовить восстание в Будапеште. В марте 1919 года все же захватили власть. Победив, пошли по нашим стопам — создали Красную гвардию, устроили красный террор. Так родилась еще одна республика. С ней исчезла в прошлом третья великая империя — Австро-Венгрия.

Я был на заседании ЦК. Помню Троцкого с воспаленными от постоянного недосыпания глазами. Он вернулся на день с Уральского фронта. В это время из орды обезумевших от своеволия солдат он создавал боеспособную армию. Создавал агитацией и беспощадными расстрелами.

И сумел остановить на Урале наступавшие армии Колчака.

Лев, как всегда, кричал:

— Венгрия — бикфордов шнур! Из Венгрии окончательно запалим Европу. Немедленно направить к венгерским товарищам наши части… Я поведу их! Погибнем? Возможно! — И повторил любимое: — Но зато, уходя, так хлопнем на прощание дверью, что весь мир содрогнется!

Зиновьев вскочил, стоя зааплодировал. Но тут, к моему изумлению, яростно против выступил… Ильич!

— Все это архиглупость! Мы не можем в нашем положении позволять себе романтические детские выходки! Опомнитесь, батенька, мы уже не в Смольном. Мы уже не в тысяча девятьсот семнадцатом году, товарищи! Нам всем надо вырасти. Все наши силы должны быть по-прежнему брошены на борьбу с наступающим Колчаком!

Я с удивлением понял: вместо мировой Революции Ильич думал… о России. Вместо того чтобы работать над нашей великой мечтой — погибнуть во имя мирового пожара, он хотел сохранить власть здесь, в крестьянской, рабской стране, которую так презирал Карл Маркс. Надо было видеть, как аплодировал ему Коба. Коба, как всегда теперь, был с ним. Вместо войск он предложил компромисс — поддержать революцию деньгами. Предложение радостно приняли.

Они все, кроме Льва и Зиновьева, желали править

крестьянской Россией, они становились кремлевскими боярами.

Пока я готовился везти драгоценности и деньги в Венгрию, опять заработали наши деньги и драгоценности в Германии.

В апреле того же великого и кровавого 1919 года Германия ощутила новый толчок. Произошло коммунистическое восстание в столице Баварии…

В Баварском королевстве с 1918 года творилось революционное безумие. 7 ноября 1918 года маленький седобородый человечек по фамилии Эйснер, в пенсне, в огромной черной шляпе, окруженный несколькими сотнями сподвижников, умудрился без единого выстрела занять помещение баварского королевского парламента и провозгласить республику.

Бедняга не знал, что это не только легко, но и очень опасно.

Не прошло и трех месяцев, как его преспокойно застрелил баварский монархист.

Но коммунистическое движение в Баварии нарастало. 13 апреля 1919 года в Мюнхене была провозглашена Баварская Советская Республика.

И опять они действовали, как мы в Петрограде, — национализация банков, конфискация имущества богачей, расстрелы заложников, создание Красной армии!

И опять тот же сценарий — выступил рейхсвер, армия осталась верной правительству… Уже 5 мая очередная «месячная Республика» приказала долго жить. Пять дней на улицах Мюнхена шли кровавые бои, восстание было подавлено, вожди расстреляны. И вместе с ними — сотни участников… Не принесли мировой Революции счастья политые царской кровью драгоценности. Недаром я не хотел их везти.

Все эти события наблюдал недавно вернувшийся с фронта в Мюнхен демобилизованный нищий ефрейтор. Его звали Адольф Гитлер.

Расстрел великих князей

Я в это время, повторюсь, был отозван в Москву.

В революционной России начинался красный террор.

Мы не забыли Розу и Карла, погибшие Республики, расстрелы рабочих. Ильич решил кроваво ответить «международным мучителям рабочего класса». «Им мало крови семейки Николая Кровавого? Они получат щедрую добавку. И мученические тени Розы и Карла увидят возмездие!» — прокричал тогда Зиновьев.

По нашей замерзающей голодной столице опять поехали моторы.

Царских сановников брали ночью, свозили к нам в гараж на Морской, где их ждал очередной безумный матрос с сумасшедшей улыбочкой и револьвером. Для окончательного потрясения врага было решено расстрелять и четырех великих князей, содержавшихся в Петропавловской крепости. Смерть за смерть! Расстрел четырех Романовых, дальних родственников кайзера, — наш ответ убийцам Розы и Карла…

В те дни, открывающие красный террор, мне надо было готовиться к отъезду в Венгрию, на этот раз с драгоценностями, конфискованными у великих князей и царских сановников.

Эти ценности были свезены в Петропавловскую крепость и находились у коменданта. Я приехал в крепость ночью забрать «улов», как раз когда великих князей выводили на расстрел.

Ветер с Невы — белая пурга. И в свете качавшегося на ветру фонаря в одних пиджачках, окруженные солдатскими шинелями, шли они — четверо великих князей. Мне сказали, что один из них очень болен. Был даже приказ нести его на расстрел на носилках. Но он отказался…

И вот теперь, обняв за плечи двух братьев, он ковылял на расстрел. Все трое были как на подбор — высокие красавцы, истинные гвардейцы. Четвертый великий князь подкачал — слишком полный, обрюзгший и какой-то штатский, он шел сзади с котенком на руках. Но он-то и был самый известный из них — великий князь Николай Михайлович, историк и главный либерал в романовской семье. Накануне наш знаменитый писатель Горький, живший тогда в Петрограде, написал письмо Ильичу: «Великий князь Николай Михайлович прозван в обществе Герцогом Равенство. (Герцогом Равенство (Эгалите) звали в дни Французской революции примкнувшего к народу герцога Орлеанского, голосовавшего за казнь короля.) Наш Эгалите — большой критик Николая II, знакомец Льва Толстого, сослан царем в имение после убийства Распутина. Но главное — он

известнейший, либеральнейший историк…» Просила за историка и Академия наук.

Ильич ответил насмешливо и кратко: «Революции не нужны историки».

Об этом рассказал мне несколько лет спустя Коба. Он не знал, откуда эта фраза, но я был в курсе. Я много читал в юности о Французской революции, будто предчувствовал — пригодится! Ильич попросту процитировал фразу прокурора, отправившего в дни террора на смерть великого Лавуазье со словами «Революции не нужны ученые».

Но обо всех этих тщетных просьбах о помиловании и об ответе Ильича я узнал много позже. Потому удивился, когда Николай Михайлович, проходя мимо меня, вдруг остановился. Он, видно, понял, что я здесь человек не случайный и к солдатне не отношусь.

Он сказал мне:

— Передайте, сударь, вашему господину, что он весьма заблуждается. Историки очень нужны Революции. Хотя бы для того, чтобы рассказывать вам, господа революционеры, чем она для вас всех. — Он повторил с нажимом: — Для ***вас всех*** закончится.

Конвойный красногвардеец грубо велел ему не останавливаться. Великий князь, будто не слыша, погладил котенка и осторожно опустил на землю. Помню, котенок опрометью бросился назад в теплое помещение.

И только после этого князь продолжил путь к месту расстрела…

Стоял невыносимый ночной декабрьский холод, но они шли, не ежась, в своих легких пиджачках.

Их расстреляли за стеной крепости на Кронверкском полигоне, близ Головкина бастиона. Подвели к вырытой могиле, где уже лежали расстрелянные заложники. Из-за стены на них глядел собор, в котором были похоронены их предки.

Тогда любили символы. По замыслу Ленина тени погибших в крепости революционеров и повешенного брата Ильича вместе с тенями их убийц, покойных царей, должны были увидеть это возмездие нашей Революции…

Расстрельный взвод во главе с бывшим царским тюремным надзирателем исполнил постановление ЧК о расстреле «бывшей императорской романовской своры» — так назвала приговоренных великих князей «Петроградская правда». В грязной яме близ Головкина бастиона до сих пор находится тайная братская могила Романовых.

Самого расстрела я не видел. Точнее, не захотел видеть. Не

потому, что чувствовал угрызения совести. Просто было поздно, мне требовалось выспаться перед дальней дорогой. Но потом я часто вспоминал фразу великого князя.

И опять горькие деньги и кровавые бриллианты не помогли. Пока я добирался до Будапешта по стране, охваченной гражданской войной, наступил конец очередного миража. Венгерская республика пала. Драгоценности Романовых понадобились товарищу Беле Куну и его сподвижникам только для того, чтобы бежать в Австрию.

Товарищ Бела, фанатичный коммунист (как я восхищался им тогда!), нашел приют у нас. (Через двадцать лет этого беспощадного отца венгерского коммунизма расстреляет другой беспощадный коммунист, мой друг товарищ Коба.)

Странная смерть черного дьявола

В том же кровавом марте 1919 года умер самый доверенный человек Ильича — Яков Свердлов.

Каждый раз, возвращаясь в страну, я слышал имя Свердлова, связанное с самыми кровавыми событиями. Он подавлял мятеж левых эсеров, беспощадно расстреливал казаков, конфисковывал хлеб в деревне… Но мы, старые партийцы, знали: все это приказывал Ильич… Ильич был мозгом Свердлова, Свердлов — руками Ильича. Помню, Ленину сообщили о восстании крестьян в Пензе. Он тотчас набросал на бумажке распоряжения Свердлову: «Начать беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев… организовать концентрационные лагеря». Все моментально исполнил неутомимый Свердлов. Мы преклонялись перед его умением исполнять беспощадные ленинские приказы, «якобинские приказы» — как называл их сам Ильич.

Когда Ленин болел, заседание Совнаркома проводил Свердлов. Однажды я присутствовал на таком заседании (меня отправляли в Берлин с царскими драгоценностями). В перерыве Троцкий, приехавший с фронта, спросил Свердлова:

— Кто все-таки решился расстрелять всю царскую семью?

Свердлов помолчал (я был в комнате). Но потом посмотрел на меня и громко ответил:

— ***Мы*** тут решили. Екатеринбург должен был пасть, и Ильич считал, что нельзя им (белогвардейцам) оставлять ***живого*** знамени.

Он давно перестал разделять себя и Ильича. Они с Ильичем стали «мы». И он хотел, чтобы все об этом знали.

Я был в Германии, когда эсерка Фанни Каплан стреляла в Ленина. Мне рассказали, как раненый Ильич лежал в кремлевской квартире, и Троцкий, всегда чувствовавший себя наследником, немедленно примчался с фронта. Но Свердлов отверг все попытки назначить «исполняющего обязанности Председателя Правительства».

Он сам занял ленинский кабинет и, в ожидании выздоровления Вождя, лично подписывал документы его именем. Пока Ленин приходил в себя, Черный Дьявол (он все чаще так себя называл) организовал месть — беспощадный красный террор. Расстреливали царских сановников, священников и просто аристократов. Пятьсот человек были убиты за одну ночь в Петрограде. Говорилось, что цель этого — «ужаснуть врага». А на деле — связать всех нас круговой порукой. Теперь впереди нас ждали победа или смерть.

Я вернулся из Берлина, когда Ильич начал выздоравливать. Доложил обстановку Свердлову. Мне удалось тогда многое, наша агентурная сеть заработала. Революционное движение в голодной Германии с пришедшими с фронта изувеченными нищими калеками было перспективным. Но Свердлов попросил меня забыть на время о Германии:

— Наше положение очень тяжелое. Ильич тревожится. Мы… — (опять «мы»!) — подумали здесь: организовать группу товарищей-боевиков… Вы должны обеспечить безопасность, если Ильичу и руководству партии придется бежать. — И добавил: — Если со мной что случится, паспорта и прочее — там… — Он указал на огромный сейф в углу кабинета.

Как я потом узнал от Кобы, «прочим» были золотые царские червонцы, часть царских драгоценностей из Екатеринбурга, кредитные билеты на огромнейшую сумму и заграничные паспорта.

Я, как и все мы, считал, что Ильич души не чает в воистину верном псе…

И вот Свердлов умер. Одни говорили, что это была жалкая простуда и он попросту «сгорел» на работе, организм не выдержал ночных бдений и постоянной революционной ярости, в которой пребывал. Другие называли «испанку», косившую тогда людей. Я был на похоронах. К моему (и общему) изумлению, прощаясь с любимым соратником, Ильич произнес лишь сухие, обязательные слова: «Товарищ Свердлов один исполнял работу огромного коллектива…» и так далее.

Все решили, что это весьма обычное свойство необычного человека: Ленин попросту сердился на Свердлова за то, что тот так не вовремя умер, лишив его верного помощника…

Место оказалось вакантным. «Мы» более не существовало. Но было ясно: Ленин уже не мог без «мы». Требовался столь же работоспособный товарищ, умеющий так же безоговорочно воплощать в жизнь ленинские решения. Все знали — Ильич его тотчас начал искать.

Эта ленинская сухость совпала со странными разговорами, вскоре поползшими по ЧК. Вдруг начали вспоминать и обсуждать обстоятельства прошлого покушения на Ленина. И удивляться… Дело в том, что покушавшаяся злосчастная эсерка Фанни Каплан была полуслепой (во время какого-то эсеровского теракта ее задело собственной бомбой). И тем не менее она, с трудом различавшая предметы, умудрилась не только ранить Ленина, но и ловко исчезнуть! Задержали Каплан… через несколько кварталов от места преступления! Удивлялись и тому, что взамен кропотливого расследования было торопливое следствие,

закрытый суд и смертный приговор. И это странно поспешное следствие проводили люди Ягоды, одного из руководителей нашей ЧК и… мужа родной сестры Свердлова. Да и сам расстрел Каплан показался всем тоже очень странным. Большой друг Свердлова комендант Кремля Мальков вывел полуслепую Каплан во двор Кремля. Как рассказали находившиеся при этом наши сотрудники, было ощущение, что она не знает, зачем ее вывели. Шла спокойно, как на прогулку. И тут Мальков немного отстал, вынул револьвер и сзади торопливо выстрелил ей в голову…

Я не сомневался, что все эти слухи ***кем-то*** и ***зачем-то*** пущены. Именно тогда я вновь увидел Кобу.

Он окончательно покинул Царицын. Его призвал Ленин.

Коба сказал мне, усмехаясь:

— Мижду нами говоря, жид Свердлов попросту решил убрать Ильича и заменить его другим жидом — пламенным Львом. Поэтому Троцкий тотчас прискакал с фронта. Вызвал его телеграммой Свердлов… Но, узнав, что Ильич всего лишь ранен, Свердлов поспешил разыграть комедию преданности. Спрашивается, зачем это было нужно товарищу Свердлову?

Я уставился на Кобу в недоумении.

— Ильич не верит более в мировую Революцию. Он хочет построить социализм в России. Они же, помешанные на прежней идее, считают его изменником. Так что, видимо, решились. Но Ильич узнал обо всем. Точнее, ***ему открыли глаза.*** — На лице Кобы была знакомая, очень опасная улыбка. — И Свердлов… ***приказал долго жить,*** — закончил он. Потом, усмехнувшись, добавил: — Мижду нами говоря, теперь Ильичу позарез нужен новый, но действительно верный Свердлов.

Я до сих пор гадаю: неужели и то была очередная шахматная партия моего великого друга?

Начало великой провокации

Весь двадцатый год я продолжал организовывать разведывательную сеть в Европе.

В Лондоне часто виделся с великой княгиней. И это знакомство служило мне охранной грамотой и в Лондоне, и в Берлине.

Однажды во время очередного визита в гостиную вошла служанка и что-то торопливо прошептала княгине. Извинившись, та удалилась «сделать кое-какие распоряжения по дому». Пока она отсутствовала, я кое-что успел. Дело в том, что, когда я вошел в гостиную, она с некоторой поспешностью положила в ящичек секретера бумагу. Ей конечно же показалось неудобным запереть секретер на ключ (о, люди XIX века!), она лишь задвинула ящичек. Излишне говорить, что, как только за нею закрылась дверь, я ящичек выдвинул, правда, лишь на мгновение, ибо услышал ее торопливые шаги. Дерзость часто бывает вознаграждена. Я успел прочесть всего одну строчку, но какую! «Во главе стоит г-н Якушев, прибывающий из Москвы…»

Великая княгиня, вернувшись в комнату, застала меня любующимся в окно чудесным стриженым английским газоном. Я хотел увидеть того, к кому она, вероятно, выходила. Но служанка принесла чай, и мне пришлось покинуть «наблюдательный пункт».

На следующий день я начал действовать. Якушев — довольно популярная русская фамилия. Якушев, приехавший из Москвы, мог быть или из «бывших», получивших право эмигрировать, или, что правдоподобнее, «наш». В это время уже вовсю налаживались экономические связи с Германией.

«Товарищи по несчастью», — назвал наши страны Черчилль. По Версальскому миру Германия была раздавлена победившими союзниками, нас же вчерашние союзники попросту не признавали. Так что мы, «страны-изгои», активно торговали друг с другом.

Будучи князем Д., я начал действовать через русских эмигрантов. В Берлине их обреталось множество. После окончания войны тысячи немецких семей лишились кормильцев. В просторных буржуазных квартирах оказались пустые комнаты, которые дешево снимали беглецы из России. Жизнь в разоренной войной, обобранной победителями Германии была очень трудной. Бедствующие наши эмигранты стали частью моей агентуры. Через них я быстро нашел некоего Якушева, приехавшего недавно из Москвы. Но он оказался жалким стариком-эмигрантом, которого

выпустили умирать. Явно не тот!

Другого Якушева, прибывшего также из Москвы, я легко разыскал через наше торгпредство!

Из «бывших» — действительный статский советник, перешедший на сторону Советской власти. Теперь он занимал очень ответственный пост в каком-то наркомате, приехал в Германию заключать торговое соглашение.

Через моих агентов я установил, что он был принят великой княгиней. Я сообщил о нем в центр.

Так я заочно познакомился с будущим героем одной из величайших провокаций в истории разведки. Но об этом — после.

Большой сюрприз

В ноябре двадцатого года я вернулся в Москву. Вернулся в исторические дни.

Я застал Кремль опустевшим: Ленин и все наши вожди укатили в Петроград праздновать трехлетие Октября. Готовились праздновать шумно. Еще бы! Произошло то, во что до конца не верил никто, даже мы сами! «Утопия» — так называл наш новый строй остальной мир. Но Утопия выжила и победила. Трехлетняя годовщина победы в Октябре совпала с победой в гражданской войне. Последний оплот Белой армии, Крым, пал под ударами нашей нищей, босой Красной армии. Интервенцию всей Европы, походы отборных частей царской армии, возглавляемой лучшими царскими генералами, — все мы выдержали, все превозмогли! Величайший эксперимент в мировой истории готовился отметить победу.

Я узнал, что Коба — в Москве. И понял: в Петроград его не взяли.

Ведь бедный Коба формально не участвовал в Октябрьском перевороте. К тому же он не дождался победы в гражданской войне. Совсем незадолго до победы он попросил отозвать его с фронта. Лавры снова достались Троцкому и его окружению.

Мне нужно было срочно получить деньги для нашей агентуры в Германии. Так что, не повидав Кобу в Москве (да и чем он мог теперь помочь!), я отправился в Питер…

В Петрограде хозяин красного Питера Зиновьев придумал грандиозное зрелище — «Ночь взятия Зимнего дворца». Участвовали балет, цирк и солдаты Красной армии.

На трибуне, напротив Зимнего дворца, сидели победители — вожди и участники Октябрьского переворота. Тысячи людей черной массой толпились на ночной площади и близлежащих улицах. Это были делегации заводов — питерский пролетариат, а также части Петроградского гарнизона.

Историческую ночь начали воскрешать выстрелом «Авроры». И тотчас случилась нелепость: вместо того, чтобы повторить свой легендарный выстрел, «Аврора» стала палить непрерывно. Бедный Зиновьев тщетно кричал: «Остановить безобразие! Расстреляю!» — обычная присказка в те годы. Его крики и приказы на «Авроре» не слышали — отказал телефон. Только посланный на корабль чекист на велосипеде прекратил канонаду (оказалось, на историческом судне слишком рьяно отметили юбилей — перепилась команда).

Наконец-то замолчала неугомонная «Аврора», и тогда

красногвардейцы ринулись на штурм. Они должны были взять баррикаду, за которой прятались враги — балерины, исполнявшие роли бойцов женского батальона, и циркачи, игравшие юнкеров.

Баррикада успешно пала, балерины врассыпную побежали во дворец, циркачи в юнкерских мундирах — за ними. Их преследовали доблестные красногвардейцы. И тут осветился Зимний дворец. Это и был главный сюрприз. За белыми занавесками в окнах возникли тени, воспроизводившие бой внутри. Бой силуэтов! Красные били белых. И хотя мы, сидевшие на трибуне, знали, что никакого боя тогда там не было, все радостно аплодировали…

Финал был совсем торжественный — прожектора устремились на красное знамя, благополучно взвившееся над Зимним дворцом…

После исторического представления последовала череда заседаний и чествований, газеты дружно печатали воспоминания героев Октября.

Но нигде не упоминалось имя Кобы. И я понял: несмотря на все удачные шахматные партии, звезда моего бедного друга невозвратно закатилась…

Однако на четвертый день торжеств меня ждал сюрприз. Мне удалось встретиться с Дзержинским, курировавшим разведку. Я попросил денег. К моему удивлению, он сказал:

— Вы хотите слишком большую сумму. Я такими суммами теперь не распоряжаюсь. Вам следует написать заявление и все обосновать. Мы разберем его на коллегии и попросим о выделении средств соответствующее ведомство…

Но деньги нужны были в Берлине немедленно. Мы могли завербовать одного из влиятельных деятелей Веймарской республики. Он покупал дом, и ему позарез требовалась финансовая помощь. Короче, представился счастливый случай. Я объяснил ситуацию.

И тогда Дзержинский меня изумил:

— Если дело действительно такое срочное, вам сумеет помочь сейчас только один человек. — И я услышал имя своего друга.

Но потрясения продолжились. Тогда же в Петрограде я узнал, что лишь два человека имеют право входить в кабинет Ленина без всякого доклада. Один — Троцкий, второй вождь Революции, чьи портреты висели на улицах, чьим именем называли города и заводы… Но второй! Вторым был… мой друг Коба! Коба, которого никто тогда не знал в лицо! Ближайшие ленинские друзья Зиновьев, Каменев, Бухарин, столь популярные в партии,

именуемые «вождями», красовавшиеся на страницах газет, на плакатах и картинах… не удостоились такого права!

Я понял: всего через три года наша Революция стала безвозвратным прошлым. Она умерла вместе с гражданской войной. От революции осталось балетно-цирковое представление с нелепо стрелявшей пушкой «Авроры»… И — тени! Настоящее, реальность — это большевистское государство. Родившийся могучий ребенок. Совсем недавно он был весь в крови гражданской войны. Но теперь его обмыли, и он начал быстро расти. А вместе с ним неправдоподобно стремительно росла новая бюрократия и… Коба!

Умный Коба! Великий Коба! Он опять все просчитал и все сделал вовремя. Вовремя поспешил с фронта. Вовремя сообразил: пора военных подвигов ушла в прошлое. Полями сражений, местом подвигов становились теперь кабинеты! И он сумел занять главную кабинетную должность — должность покойного Свердлова, должность верной ленинской тени!

Коба в Кремле

В тот приезд я сумел повидать своего друга только однажды — в воскресенье.

Коба жил теперь в Кремле. Страшен был Кремль в те годы — много разрушений. С въездной арки Спасской башни жалко глядела икона со старательно разбитым стеклом и лампадой. Но знаменитые часы на Спасской башне научились играть «Интернационал»…

Новые вожди страны поселились в бывшем Кавалерском корпусе, против Потешного дворца.

Улицу в Кремле, где они жили, назвали Коммунистической.

В квартирах вождей стояла великолепная мебель прежних владельцев — тех, кто сбежал за границу или (куда чаще) уже лежал в могиле.

Когда я шел к Кобе, встретил Бонч-Бруевича. Он пригласил меня к себе на чашку чая. От чая в те голодные годы не отказывались. В его кабинете стояло великолепное бюро карельской березы со множеством потайных ящичков. Бонч был известный специалист по русскому сектантству и большой почитатель Распутина, о чем после революции он предпочел забыть. Он радостно показал мне Евангелие XVII века, которое обнаружил в секретере. Как и положено в те голодные годы, Евангелие произвело на меня куда меньшее впечатление, чем чай с редким тогда куском сахара и еще более редким бутербродом — белый хлеб с маслом и настоящей колбасой, «как при царе».

…Чай Бонча я вспоминал потом долго. У Кобы чая не водилось.

Тот сидел один, мрачный. С женой Надей он поругался. Выглядел ужасно: осунувшийся, с землистого цвета лицом…

И квартира не лучше — продавленный диван, убогая мебель.

Я поинтересовался:

— Кто здесь жил прежде?

Он понял, усмехнувшись, ответил:

— Не знаю. Но вся эта господская роскошь мне ни к чему!

(Его жена Надя потом поведала мне: квартира была обставлена прекрасной мебелью, но накануне, войдя в нее, Коба мрачно спросил:

— Я все думаю, зачем здесь стоит буржуйское великолепие? — И пнул сапогом огромное зеркало в гостиной.

Оно упало и разбилось. Она сказала:

— Это плохо… дурная примета. К смерти.

Он не ответил и велел отправить «буржуйское великолепие»

на помойку! Когда туда вынесли так нравившиеся ей бронзовые каминные часы и всю дворцовую мебель — знаменитый ампир XIX века, Надя ушла к родителям.

Как я слышал потом, мебель эту тотчас подобрала заведовавшая кремлевскими музеями жена Троцкого. Ей и принадлежит авторство шутки, быстро ставшей популярной: «Он не понимает, что такое стиль ампир. Ему куда ближе наш революционный стиль вампир!» Но ни она, ни Надя не поняли того, что понял мой умный друг: партийная масса мрачно следила за быстрым вхождением своих вождей в барскую жизнь.)

Я сказал:

— Плохо выглядишь. Не болен?

— Работы много… Что у тебя? Только кратко.

Я изложил. Он моментально написал резолюцию: «Выдать всю сумму».

После чего я сообщил:

— Все мои добровольные агенты — немецкие коммунисты — очень встревожены. Говорят, у нас принята какая-то секретная резолюция, покончившая с партийной демократией?

— Принята резолюция, запрещающая фракции и фракционную деятельность внутри партии. Будем карать за нее, гнать из партии.

— Подожди, но как же теперь с «другими мнениями»?

— Их не будет, — сказал он насмешливо.

— Но это невозможно для демократической партии.

— Ильич сделал резолюцию секретной. Публично мы все обязаны ее отрицать… Но в секрете нам предстоит обустроить свой дом. Никакой мировой Революции в ближайшее время не предвидится. Мы остались одинокой крепостью внутри чужого, враждебного мира. И мы должны заботиться о безопасности в этой крепости. Потому о мировой Революции забудь! Денег на нее я тебе больше не дам. Нынче нашей главной, точнее, единственной целью является безопасность Республики. В первую очередь — от эмиграции. У вас теперь новые задачи: разложение эмиграции, вербовка агентов среди эмигрантов и, наконец, физическое уничтожение главных вождей. Главным местом действий твоей агентуры должны стать города, где имеются скопления эмигрантов, — Париж, Берлин, Стамбул.

Обо всех своих действиях ты будешь докладывать лично мне. И только после этого непосредственному начальству — в ЧК. Им станешь передавать лишь ту информацию, которую я тебе разрешу передавать. Это не мое пожелание. Это приказ Ильича. В ближайшее время в партии появится новая должность — генерального секретаря партии. При нем будет работать

разведывательное подразделение с очень широкими функциями…

В это время в кабинет вошел начальник охраны Ильича некто Беленький.

Мое удивление все возрастало.

Сначала я услышал целую речь о том, как горячо любит Кобу наш Ильич. После чего Беленький сказал:

— Ильич говорит, что в вашей квартире в Кремле вы плохо спите. И мне приказано перевести вас в спокойную квартиру. Но хорошо Владимиру Ильичу приказывать, а как мне исполнять? Вам не хуже моего известно, как перенаселен Кремль руководством партии. Не могу же я кого-то выгнать! Я ему все это объяснил, и он потребовал, чтоб вас поместили… в Большой Кремлевский дворец! В исторические парадные комнаты! Но жена товарища Троцкого категорически протестует! И мы не имеем права ее не слушать — она заведует нашими кремлевскими музеями. Однако Ильич поручил мне уладить конфликт в два дня…

Коба с усмешкой прервал его:

— Не понимаю: что вы хотите от меня?

— Я нашел, пожалуй, единственный выход. Я обратился к другу Ильича товарищу Серебрякову. Он согласился переехать в город и передать вам свою квартиру… Она в Потешном дворце. Это очень спокойная квартира, там много комнат. Правда, небольших, но обставленных отличной старинной мебелью. Может, согласитесь?

— Товарищ Сталин на все согласен. Даже жить в прежней квартире согласен. Товарищу Сталину много не надо.

— Спасибо. Вы сняли с меня большой груз. — И, уходя, Беленький добавил: — Ильич просил напомнить вам постановление Политбюро: «Обязать вас проводить три дня в неделю на даче».

…Через полтора десятка лет Коба расстреляет и заботливого Беленького, и сговорчивого друга Ильича Серебрякова.

Беленький ушел, и Коба тотчас перешел на грузинский:

— Ильич все время мирит нас с этим жидом, который меня ненавидит. Но как только я начинаю мириться с Троцким, Ленин начинает тревожиться, потому что сам ненавидит Троцкого куда больше, чем я. Он ревнует к нему партию. Она для него, как жена… Он и Зиновьева не любит. Никого из них не любит. Он меня любит, потому что партия меня не знает… «Три дня на даче» — а сам навалил гору дел… Когда же отдыхать? Ну просто товарищ Мария-Антуанетта… Ей говорят: «Крестьяне голодные, нет хлеба», а она: «Пусть кушают пирожные…» Три дня на даче! Как же!

И в этот момент позвонил Ильич. Коба поговорил, положил трубку.

— Меня завтра кладут на операцию. Он хочет, чтоб оперировал его доктор.

— Ты не прав. Ильич трогательно заботится о тебе…

— Это потому, что я ему сейчас необходим. Ильич заботится только о деле. И если я умру во время операции, он забудет обо мне на второй день… Как когда-то в Туруханске. Вчера он вдруг сказал: «Вы что-то не ухожены, батенька. По-моему, вам надо жениться… Знаете, я даже подумал о сестре Маше. Хоть она и настоящая революционерка, но варит замечательный борщ. Среди революционерок, поверьте, это большая редкость». И очень удивился, узнав, что я женат. Хотя я рассказывал ему о Наде тысячу раз и столько же о том, что мы ждем ребенка… Но он не слышит. Не слышит, если говоришь не о делах. Однако я сейчас очень нужен делу. — Коба помолчал. — Страна устала от голода… Требуется передышка. Поэтому Ильич решился, конечно, временно… на невероятное. Вернуть рынок. — И Коба уставился на меня, ожидая реакции.

— Выпустить на свободу рыночного дьявола?! — Я почти закричал.

— Да, будет объявлена новая экономическая политика.

— Но это конец Революции! Конец великой Утопии!

— Смотри, как ты сразу заорал! Вот такой реакции Ильич ожидает от всех вас, старых партийных идиотов. Вот так же заголосят все великие партийные жиденыши… И хотя он будет клясться «нашим багдадским ослам», — (так Ильич все чаще называл старых партийцев,) — что это временная мера… и, как только окрепнем, мы появившихся буржуев чик-чик — всех перережем… разве будут его слушать? Им бы только побузить. А Ильич очень устал… Он болен.

Я удивился:

— Чем же он болен?

— Никто этого не знает. Его мучают странные, нестерпимые головные боли. А он должен готовиться к партийному бунту… Вот почему он заставил принять эту секретную резолюцию. Но он понимает — не поможет. Все наши партийные боги жаждут выкрикнуть свое мнение, обязательно отличное от мнения Вождя. Со всем этим надо кончать. Им нужны великие споры, а нам — великое пролетарское государство-крепость. Мы — армия, окруженная врагами. В армии не обсуждают, в армии слушаются… Мы с Ильичем считаем, что партию нужно обновить. — Так я вновь услышал знаменитое свердловское ***«мы».*** — Вместо кичливых, мешающих управлять страной

партийных болтунов в руководство должна прийти послушная молодежь. Ильич на днях сказал мне: «Мы — товарищи пятидесятилетние… А вы — товарищи сорокалетние. Нам надо думать и готовить смену — тридцатилетних и двадцатилетних: их нужно набрать и подготовить к руководящей работе»… Я говорил тебе: скоро в партии появится особый пост — Генеральный секретарь партии, который поможет Ильичу построить ***обновленную*** партию…

Давно я не видел Кобу таким страстным, яростным. Он волновался, переходил с грузинского на русский. Видимо, он очень хотел убедить — не меня, а себя… Ведь если говорить прямо, Ильич устраивал заговор против собственной партии. Тогда у нас самым страшным было обвинение в бонапартизме. А это и выглядело, как чистой воды бонапартизм, пахнущий расстрелом.

Коба умел читать мысли. Он поглядел на меня подозрительно, враждебно. Но не унизился, не предупредил: «Если ты посмеешь кому-нибудь рассказать…»

Он просто долго смотрел на меня. И мы молча обнялись. Мы — два грузинских парня, живущих в чужом городе и умеющих ценить дружбу. Если бы Коба задумал взорвать Кремль, я был бы с ним.

— У меня гнойный аппендицит… Если умру под ножом, позаботься о Наде и Якове. — Это был его сын от той, от первой, от Като. — Яша живет в семье Сванидзе, привези его в Москву. Надя его воспитает… мы с ней договорились.

На следующий день Кобу, действительно, повезли в больницу, а я поехал на поезд, отправлявшийся в Берлин.

В Берлине я узнал: Кобе успешно сделали операцию, и Ильич послал его отдыхать на Кавказ. Я написал ему, попросил проведать в Тифлисе мою мать. Она тяжело болела.

Вернувшись в Москву летом следующего, 1922 года, я понял: величайший переворот начался. Ленин ввел новый пост — Генеральный секретарь партии.

На этот пост он провел Кобу.

Еще одна революция — тайная

Я говорил тогда со многими, но никто из наших партийных бонз не понял, что значит этот пост… Все решили, что это должность для скучного трудяги, который согласится заниматься пугающе возраставшим партийным делопроизводством, бюрократической бумажной канителью. И потому все в партии были уверены, что Генсеком назначат моего старого знакомца Молотова. Он был секретарем ЦК. На заседаниях Политбюро всегда сидел рядом с Ильичем — оформлял решения, писал бесчисленные директивы, короче, на нем держался весь бюрократический поток. Ильич ценил его работоспособность и фантастическую усидчивость. И нежно называл его «каменной жопой». Молотов всегда знал свое место. Во время заседаний Политбюро Ленин писал ему записочки, если надо было выступить против кого-то. И под насмешливым взглядом Троцкого, сидевшего наискосок от Ильича, Молотов выступал и, не стесняясь, повторял слова из записочек. Говорил дурно, заикался, и Троцкий, смеясь, обращался к Ильичу:

— У вас опять нашлась затычка в виде Молотова?

Короче, когда Ильич предложил Генеральным секретарем Кобу, ожидали, что Молотов возмутится. Ибо это была его епархия. Но тот с готовностью уступил этот пост Кобе, как когда-то уступил ему место редактора. Он умел безропотно подчиняться сильнейшему. Молотов остался просто секретарем ЦК при Генеральном секретаре ЦК Кобе.

Вернувшись в Москву, я узнал, что мать моя умерла, но Коба успел повидать ее перед смертью. Я позвонил ему, и мы договорились встретиться.

— Приходи к полуночи. Товарищ Сталин теперь работает до утра. Проклятая должность. Нет времени поговорить с другом…

Стояла летняя жара. Раскаленный город покинули все вожди. Зиновьев, Бухарин отправились в Ессентуки, Троцкий безвыездно жил на подмосковной даче, Ильич плохо себя чувствовал и переехал в Горки. На «хозяйстве» в Москве осталась только рабочая лошадка — Генеральный секретарь Коба.

Было за полночь, когда я пришел к нему на Воздвиженку, где помещался тогда секретариат ЦК. Ночью жара немного спала, огромные окна в кабинете Кобы были открыты, и легкий ветерок более или менее спасал от духоты. Кабинет тонул в полутьме, горели только три настольные лампы под стеклянными зелеными абажурами. За столом у стены восседал Коба. Он был в рубашке, на стуле висел его френч.

К столу, поставленному буквой «Т», был придвинут длинный стол для заседаний. За столом сидели еще два участника этого ночного бдения…

Один из них — мой старый знакомец Молотов. Несмотря на невозможную духоту, он был в пиджаке, поблескивал старомодным пенсне. Другого человека, совсем молодого, я не знал. Он явно рабски подражал Кобе. В таком же френче, с такими же усами, редкие волосы зачесаны назад, как у Кобы, — сквозь них сверкала лысина. Это был бывший сапожник из еврейского местечка — Лазарь Каганович. Местечко называлось Кабаны. Я запомнил это, ибо просматривалось что-то кабанье в его грузном большом теле, крупном лице, толстом носе. И главное, как потом выяснилось, — в безоглядном умении идти напролом по приказу моего друга.

Я подошел к столу Кобы. Он поднялся и обнял меня. Мы помолчали…

— Я видел ее накануне. Это из вашего сада…

У стола стояла корзина с фруктами.

— Она просила тебе отдать, сама собирала. Умерла во сне, считай, просто заснула. Слава богу, не мучилась, смерть праведника.

— Спасибо тебе, Коба…

— Знакомьтесь, — обратился он к присутствующим, — это друг мой Фудзи. Он не японец. Просто однажды я дал ему такую партийную кличку. А вот товарищу Молотову кличку дал Ильич — «каменная жопа».

Все, включая Молотова, угодливо засмеялись.

— Товарищ Каганович, с которым ты не знаком, тоже имеет почетную кличку, но уже от меня — «каменная жопа номер два». И мне надо дать такую же. «Каменная жопа номер три». Этих кличек мы достойны. Сидим, бумажки пишем, в бумажках тонем, пока наши вожди по курортам шмыгают, а разные Фудзи — по заграницам…

Только потом я узнал, что это за бумажки, которыми завалены были оба стола.

Здесь, на Воздвиженке, в полутемном кабинете мой великий друг придумал архимедов рычаг, которым троица сейчас переворачивала всю партию.

В это время мой друг Коба создал новую партийную должность — инструктор ЦК. Инструкторами назначались представители столь желанного Ильичу молодняка. После чего Каганович рассылал этих молодых инструкторов по провинциям писать отчеты о работе низовых организаций партии. Отчеты были скрытыми приговорами. Они решили судьбу сотен местных

партийных руководителей. Все, кто не разделял мнение Ильича, объявлялись в этих отчетах «не соответствующими должности». И незамедлительно следовали распоряжения об увольнении.

Новым партийным начальником назначался прямо из этого кабинета другой — послушный, управляемый.

Такими отчетами инструкторов и были завалены в ту ночь столы удалой троицы. За кратчайший срок, работая день и ночь, тройка перетряхнула всю нашу партию. Пока вожди отдыхали на курортах, в Москве происходила тихая кадровая революция. Теперь на места старых непокорных партийцев сели исполнительные молодые люди, преданные Ильичу.

Но еще более преданные тому, кто их назначил, — моему другу Кобе. Генеральному секретарю — хозяину кадров партии. Эти новые молодые партийные бонзы были наделены такой властью на местах, которая и не снилась царским генерал-губернаторам. Они и составили новую партийную бюрократию — управляемое агрессивное большинство на будущих съездах.

Но тогда я этого не понял. Я был рад покинуть душный кабинет…

Взял такси, повез домой фрукты из нашего сада. В корзине нашел маленькую икону. Это было изображение Богоматери с младенцем. Все, что осталось мне от мамы.

Новая Лубянка, новая разведка, новая партия

На следующий день я отправился к себе на Лубянку. Лубянка бурлила. Распространились слухи, будто на днях будет покончено с родной ЧК. Название, внушавшее ужас нашим врагам, перестанет существовать. Вместо ЧК наше грозное ведомство получит какое-то длинное бюрократическое название — Объединенное государственное политическое управление при Наркомате внутренних дел (ОГПУ). Так решил все тот же могущественный Секретариат ЦК. То есть Коба.

Я позвонил ему.

Он:

— А что тебе не нравится?

— Я просто не понимаю зачем.

— А ты и не должен понимать. Твоя работа — исполнять. Работа товарища Сталина — понимать… У тебя есть еще какие-нибудь вопросы, касающиеся НЕ работы товарища Сталина, но работы товарища Фудзи?

Вопросов было много. Пробыв в Москве всего несколько дней, я с изумлением слышал в наших коридорах только одно имя. «Это на подпись товарищу Сталину…» «Вы узнали мнение товарища Сталина?..»

Так что я решился попросить его подписать мне выделение средств для новых агентов.

Позвонил:

— Прости, что беспокою тебя по пустяковому вопросу…

— Да нет, вопрос как раз архисерьезный. Мы к нему скоро и непременно вернемся. А пока приходи ко мне с твоей бумагой, подпишу.

В конце недели нас всех собрали в зале. На Лубянку приехал Коба — делать доклад.

В зале сидели начальники отделов, главы разведки.

Коба начал:

— Какой слух должен дойти завтра до обывателя? — (Так мы называли все население страны, кроме партийцев.) — ***Нет больше грозной ЧК, начинается новая жизнь!*** Надеюсь, ваши сотрудники сумеют сделать этот слух популярным и у нас, и за пределами Родины. Когда товарищ Николай I основал Третье отделение, он дал Бенкендорфу платок. И сказал: «Это для того, чтобы утирать слезы несправедливо обиженным». Так и мы объявим про свой платок. Обыватель должен поверить: наступил

конец расстрелам в ЧК и красному террору. Теперь ОГПУ будет бороться только с особо опасными государственными преступлениями. И все!

Помню ропот аудитории…

Коба добро улыбнулся:

— Зачем шуметь? Не надо шуметь. Надо выслушать до конца. То, о чем я сказал, будет опубликовано в газетах. Но, мижду нами говоря, существует то, что опубликовано не будет. Секретный циркуляр, где записано: ОГПУ сохраняет право ЧК расстрелять любого, кого сочтет врагом.

Аудитория счастливо засмеялась, захлопала.

— Право расстреливать будет иметь «тройка», состоящая из местного руководителя ОГПУ, его помощника и следователя, ведущего данное дело…

(Уже позже я узнал, что все руководители ОГПУ утверждались Секретариатом ЦК, то есть все тем же моим другом Кобой.)

— И эти «тройки» получат право расстрелять любого гражданина… включая нас с вами, — закончил Коба.

Смех в зале и снова аплодисменты. Поняли — ничего не изменилось.

…Впоследствии эти самые «тройки» по приказу моего друга Кобы расстреляют почти всех сидевших тогда в зале. Так веселившихся.

Но я должен отметить: всюду, где появлялся Коба, возникала некая аппаратная стройность. Теперь вместо множества руководителей мы, разведчики, подчинялись Иностранному отделу, во главе которого и стоял Михаил Александрович Москвин (настоящая фамилия — Трилиссер) — щеточка усов, черные волосы, вид обычного провинциального еврея… Это был страстный, темпераментный человек. Как и Коба, сын сапожника, старый большевик — боевик в первую русскую Революцию.

Кобе понравилось, что он тоже сын сапожника. Они даже поговорили о детстве. Но, услышав, что отец Трилиссера очень его любил и ни разу в жизни не ударил, Коба потерял к нему всякий интерес.

Вместе с Кобой они перестроили всю нашу структуру. Теперь при всех посольствах были созданы резидентуры. Наши агенты числились дипломатами и работали под прикрытием всех посольств и торговых представительств СССР.

Но главное, что сумел сделать Коба: непосредственной частью нашей разведки стал Коминтерн.

Меч всемирной революции

Бюро Коминтерна на Манежной площади — любимое место для всех нас, старых большевиков, мечтавших о мировой Революции. Мы основали Коминтерн в голодном 1918 году. В тот день целый свет собрался в одном зале. Смешение всех языков — недаром Татлин предложил построить здание Коминтерна в виде Вавилонской башни. Мы объединились с мечтой о будущем, небывалом мире равенства и братства, созданном мировой Революцией. «Чтобы в мире без Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитием». Под грохот аплодисментов выступил Троцкий. Это была речь-клятва: «Международный пролетариат не вложит меча в ножны до тех пор, пока мы не создадим Федерацию советских республик всего мира!.. Коминтерн есть партия всемирного революционного восстания и всемирной победы пролетариата». Его яростный голос слушал со страхом старый, сытый мир…

Коба тогда редко выступал в Коминтерне. И если выступал, то при насмешливом молчании зала. Впрочем, Коба чаще помалкивал, попыхивая своей трубкой, слушал соревнование наших Цицеронов — Зиновьева, Бухарина, Каменева, Радека… Думал ли уже тогда мой молчаливый друг, что все это пестрое вавилонское многолюдье, всех этих кровавых европейских идеалистов через полтора десятка лет он отправит в могилу? Думал! Точно думал, этот мастер очень длинных шахматных партий!

Каменев как-то сказал:

— Я хочу одного: чтобы он забыл обо мне.

Коба мог многое. Не мог он только одного: забыть про намеченную жертву и про намеченную цель.

Да, Коба мало говорил, но много действовал. И прославленный Коминтерн с благословения Ильича также начал контролироваться все тем же Секретариатом, то есть моим неутомимым другом. Именно тогда Коба прочно соединил Коминтерн с Лубянкой. Он потихоньку приучал брезгливых западных радикалов к тому, что Коминтерн — это часть Лубянки. Отдел международных связей — так скромно назывался главный центр ОГПУ внутри Коминтерна. Отделом руководил товарищ Пятницкий, носивший партийную бородку «а ля Троцкий». Отдел вербовал преданных коммунистов по всему свету. И превращал их в подлинных шпионов-профессионалов. Лекции по организации уличных беспорядков, курсы тайнописи читали наши сотрудники и ваш покорный слуга в их числе. А потом наши новые агенты

расползались по континенту. В самом тесном содружестве работали теперь Пятницкий из Коминтерна и глава Иностранного отдела ОГПУ Москвин (Трилиссер). И я работал с ними обоими…

Но у Москвина-Трилиссера случилась беда. Он был слишком привержен идеям, слишком участвовал в партийных дискуссиях. И в конце 1929 года Коба убрал его из начальников Иностранного отдела. Коба сказал мне: «Если сотрудник ОГПУ услышал партийные споры, его задача — незаметно прокрасться к двери и убежать. Спорить вам не надо, вам надо выполнять».

Блестящего организатора Москвина-Трилиссера и исполнительного Пятницкого — обоих моих начальников мой друг Коба расстреляет в 1937 году.

Что ж, и Трилиссер, и Пятницкий знали, как убивать других. Я не раз получал от них «особые» шифрограммы. Одна у меня до сих пор хранится. В 1924 году, в Париже у меня была явка в портовом ресторане, которым владел француз-коммунист. Но вскоре я получил шифровку Трилиссера: «3970782850228702648600,3970782850228702648600 и 3970782850228702648615». Что означало: «Владелец ресторана слишком говорлив. Необходимо устранить его и его дочь. С ком(мунистическим) приветом…»

Пришлось…

Потихоньку, незаметно сменил Коба при помощи Ильича и главное лубянское начальство. Дзержинский, совмещавший множество должностей (нарком путей сообщения и глава бесконечного количества комиссий), отошел от прямого руководства. Точнее, при помощи назначения на эти многочисленные должности Ильич вытеснил его из ОГПУ. Он был слишком прямолинейный и честный фанатик. Теперь же требовался исполнительный и, главное, покорный руководитель с обычным, то есть гибким, позвоночником российского бюрократа. Умевший часто и вовремя гнуться. Не прошло и шести лет со дня Революции, как потребовалось наше вечное холуйство. То, что презирали, над чем смеялись еще недавно! Так что никто не удивился, когда вместо фанатика Дзержинского во главе ОГПУ встал мой берлинский знакомец Менжинский.

Ильич не ошибся. Менжинский и вправду был безмерно талантлив в нашем деле. Незаменим в разработке самых головоломных провокаций. Он участвовал в делах нашего горького красного террора, хотя брезгливо отсутствовал при расстрелах. Но главное (в чем не сомневался Ильич) — «талантливый мерзавец» был готов выполнять любые приказания Вождя.

Как же быстро все поменялось при Менжинском! В очередной

раз вернувшись в страну, я не узнал родную Лубянку. Из коридоров окончательно исчезли партийные фанатики и полуграмотные матросы. В кабинетах теперь сидели щеголеватые молодые карьеристы и весьма немолодые люди с подозрительной дореволюционной выправкой. Еще недавно таких мы доставляли в ЧК.

Я шел по коридору, когда увидел парочку, буквально потрясшую меня. Навстречу шествовал седой старый господин с безупречной выправкой кавалергарда, в каковом я узнал… самого Джунковского, знаменитого шефа жандармов при Николае II. Не менее интересен оказался его спутник. В прошлом жандармский полковник! Я не помнил точно его фамилии, но не забыл, как он меня допрашивал. Джунковский был в штатском — в потертом костюме и сильно поношенных сапогах, вчерашний жандармский полковник — в новенькой форме ОГПУ.

Я так и застыл, уставившись на них. Жандармский полковник вежливо-насмешливо поздоровался, Джунковский остался невозмутим, молча прошел мимо.

Я тотчас отправился к Кобе. Но и Кобу узнал с трудом. Он стоял важный, неторопливый, слушал меня, величественно набивая трубку. Эта трубка теперь постоянно была в той, искалеченной левой руке. Выслушав мои яростные вопросы, Коба ответил спокойно:

— Мы здесь пришли к выводу, что стоит взять на работу некоторых бывших сотрудников царской охранки. Мижду нами говоря, Джунковский нас давно консультирует по многим важным вопросам. Почему мы можем брать на работу царских специалистов — инженеров, а царских специалистов в области сыска не можем?

— Потому что царские инженеры нам морды не били.

Он чуть усмехнулся:

— И что отсюда следует, дорогой? Только одно: эти служить будут особенно преданно… Мижду нами говоря, использовав сейчас их знания, мы потом, как любит говорить Ильич, «чик-чик — и отрежем!». Это о них… Теперь о тебе. Могу посоветовать одно: поменьше связей с оппозицией.

Они ***доживают*** в партии. Теперь партия бдительно будет смотреть за своими членами. Мы с Ильичем тут проработали одно постановление. Почитай для самообразования… — Он протянул мне листок. Это было Постановление ЦК с грифом «Секретно».

Всех членов партии под страхом исключения из партии обязывали информировать ОГПУ о всех «непартийных» разговорах и партийных оппозициях. Короче, обязывали доносить

на своих товарищей по партии!

Вот так Коба вместе с Ильичем включили нашу Лубянку в борьбу внутри партии.

Страна не знала лица того, кто уже руководил ею

Итак, Ильич мог быть доволен. Выстроена новая партия и создана новая реальность — сила нового большинства. Теперь если кто-то из ворчливых кремлевских бояр смел не подчиниться этому большинству, его могли изгнать из партии на основании партийного закона — ленинского запрета фракций. Хотя тогда невозможно было в это поверить. Так сильна была в нас вера в великую неприкосновенность наших священных коров — старых партийцев.

Но рядом с новой партией возник новехонький карательный аппарат. И не только новая партия, но и этот беспощадный карательный аппарат всецело подчинялся теперь Ильичу… и Кобе.

Наконец-то вчерашние вожди Октября поняли, что произошло в тиши кабинета Кобы. Пока Троцкий и все они отдыхали на курортах или красовались на трибунах и яростно бились в партийных дискуссиях, Коба тихонечко сделал свое дело.

Парадокс: мой рябой друг, не очень грамотно, с акцентом говоривший по-русски, по— прежнему был неизвестен гражданам. ***Страна не знала лица того, кто уже руководил ею.*** Между тем всякому гражданину от мала до велика был знаком великолепный профиль Льва, его львиная грива. Над письменным столом у партийной молодежи непременно висел портрет Троцкого в военном френче. Но теперь кумир становился безвластен. И вместе с ним лишились власти все другие партийные знаменитости — Зиновьев, Каменев, Бухарин, чьи портреты бесконечно печатали газеты, чьи лица знал каждый партиец.

Безвластные кумиры поняли ситуацию, но, увы, поздновато.

И вот в этот момент заболел Ильич…

О его болезни я услышал совершенно случайно. Так засекречена вначале была информация о ней.

Подарок Ильичу

Случилось это в один из мартовских дней 1923 года. Меня срочно вызвали в Коминтерн.

Тогда Коминтерн продолжал осуществлять упрямую ленинскую мечту — сделать красной Германию. Родина Маркса оставалась вожделенной целью Ильича. Знакомый хаос по-прежнему царил в обнищавшей, тяжело переживавшей позор поражения Германии. По всей стране действовали хорошо организованные группы крайних левых. Все это время к ним ездили ленинские эмиссары Елена Стасова, Карл Радек и Бела Кун. Готовили восстание. Ездил туда и я, как и прежде, отвозил немецким «левакам» деньги и драгоценности.

В тот день в кабинете Пятницкого я застал Куусинена — главу финских коммунистов. Я хорошо знал этого лысенького финна. В Финляндии в 1917–1918 годах разгорелась жестокая гражданская война. Сначала верх взяли отряды наших «красных» финнов. Потом белофинны победили «красных». Изнуренные голодом и гражданской войной, мы не имели возможности тогда вмешаться в борьбу. Мы смогли их только приютить. Большинство «красных» финнов бежали к нам по льду Финского залива. Эту солидную армию расселили в бывших казармах Павловского полка. Революционная финская вольница жила в ожидании, когда мы вместе с ними отвоюем их родину.

В эти годы радикалы из Коминтерна были опасно своевольны. Но особенно этим отличались финские боевики. Из Павловских они казарм нетерпеливо требовали скорейшего похода.

Но их ЦК оставался глух. Члены ЦК припеваючи жили в «Слезе социализма» — так в двадцатых годах называлась гостиница «Астория». В «Слезе», несмотря на голод, финские руководители кутили на деньги Коминтерна, туда же они приводили голодных петроградских проституток. Ильич решил сменить руководство и усмирить финнов.

Коба отправил меня в Финляндию…

В Хельсинки находился тогда наш главный человек в Финляндии — Отто Куусинен. Это был вчерашний социал-демократ, несколько раз избиравшийся в парламент, член потерпевшего поражения революционного правительства «красных» финнов… Куусинен жил в подполье, на конспиративной квартире. Его молоденькая хозяйка смешно ревновала маленького лысого Куусинена. С гневом рассказывала мне, как он умудрился переспать со всеми нашими женщинами — связными, которых мы к нему посылали. Она его любовно

называла «проклятый финн с вечно задранным х…м».

Я передал Куусинену предложение Ильича переехать в Россию и навести порядок в Финской компартии. Куусинен ответил загадочно. Мол, он готов переехать к нам, но находящиеся в Петрограде руководители финской партии не позволят. Особенно его не любят братья Райхья. (Один из них — тот самый финн, с которым мы вели Ильича в Смольный. Другой при помощи братца прорвался к власти в Финской компартии и Коминтерне.) Изложив все это, Куусинен сказал, что тем не менее желание Ленина для него закон. И он постарается ***навести порядок*** в Финской компартии, не выезжая из Гельсингфорса.

Я передал загадочный ответ Ильичу. Дальше события понеслись стремительно. В Павловских казармах начали появляться незнакомые красногвардейцам финны. Они произносили пламенные речи о зажравшемся руководстве партии, которое тратит на шлюх и водку коминтерновские деньги, предназначенные на революционный поход в Финляндию. Это была спичка, и пламя загорелось. Финны принялись яростно митинговать. Вскоре наступила развязка. Во время очередного Пленума ЦК Финской компартии в зал ворвались финские красногвардейцы. Они деловито перестреляли весь президиум. Одним из первых был убит Райхья. Отстрелявшись, нападавшие не бежали, а сдались появившейся милиции. В тюрьме написали Ленину коллективное письмо о том, что они были не убийцами, но судьями. Ибо осуществили «суд финского народа над обуржуазившимися партийными ворами».

Исполком Коминтерна и взбешенный глава Коминтерна Зиновьев объявили расправу белофинским заговором. Хоронили финских товарищей торжественно на Марсовом поле. Помню, как я рассказал всю эту историю Кобе.

Он долго ходил по комнате, потом сказал:

— Хорошо иметь дело с умным человеком.

Уже вскоре Куусинен был в Москве. Все наивные смутьяны-убийцы навсегда исчезли в тюрьме. Лысенький Куусинен тотчас стал одним из руководителей Коминтерна и Финской компартии.

Таков был человек, которого я застал в кабинете Пятницкого…

Пятницкий сразу огорошил меня:

— Вы, конечно, не знаете, но Ильич тяжело болен. — Так я впервые услышал этот великий секрет. — Мы счастливы сегодня сделать ему настоящий подарок. Мечта Ильича сбудется, — и Пятницкий торжественно произнес: — Сегодня ночью случится то, что и вы и мы готовили почти пять лет! Революция в Германии! В полночь рабочие отряды в Берлине захватят ратушу,

министерства, полицейское управление, государственный банк, важнейшие железнодорожные станции. В эту же ночь восстание продолжится по всей Германии. Уже к утру все главные города перейдут в руки коммунистов. Это и есть наш великий подарок больному Ильичу…

Я с изумлением слушал его. Никто из моих агентов не сообщал ничего подобного. Я сказал ему это.

— Но ваши агенты не могли ничего знать. Гриша (Зиновьев) велел держать это в строжайшей тайне, — ответил Пятницкий. — Восстание готовил наш отдел. Через одного преданного коммуниста, личного агента Гриши мы передали… — И он назвал мне астрономическую сумму. — Этот человек вчера нам сообщил: «Все готово! Пора!» В Берлин уже выехали Радек и Стасова. Гриша велел начинать. Сейчас мы ждем условленной телеграммы из Берлина — о начале восстания.

Лубянка, как я уже писал, давно контролировала Коминтерн. И в какой бы тайне они ни готовили восстание, я не мог не узнать об этом. Созданная мною сеть была связана с немецкими рабочими отрядами. И тем не менее я ничего не знал.

Но зато я был знаком с их агентом — «преданным коммунистом, личным агентом Гриши». В одну из первых поездок в Берлин я, по заданию Гриши, передал ему деньги. Дело происходило на его конспиративной квартире. Там я увидел картину воистину фантастическую. Валюта лежала всюду. Банкноты торчали из книг, альбомы с фотографиями были переложены долларами. Валютой оказались набиты чемоданы, папки… Помню, под кроватью, почему-то в ночном горшке были сложены привезенные кем-то из Гохрана очередные бриллианты…

Вернувшись, я доложил обо всем Зиновьеву. Он грубо попросил меня не вмешиваться в дела, которые меня не касаются, если не хочу схлопотать пулю! По привычке первых дней Революции этот нервный трусливый паникер-интеллигент обожал грозить расстрелом.

Так началась эта удивительная ночь. Мы сидели в кабинете Пятницкого — в окна был виден Кремль.

— Завтра эти звезды будут гореть над Берлином, — мечтательно сказал Пятницкий.

Куусинен молчал.

Пятницкий и Куусинен беспрерывно курили и по коминтерновской привычке так же беспрерывно пили кофе. В клубах дыма лица казались призрачными… Постоянно звонил телефон. С больным Лениным, точнее, с женой Надюшей поддерживалась телефонная связь. Уже в полночь должна была

поступить телеграмма Радека о начале Революции. Ждал я сообщений и от своих агентов об этой внезапной Революции…

Полночь миновала — телеграмм не было! Час ночи — молчание, два, три часа — все еще ничего. Для поддержания духа Куусинен отлучался в свой кабинет, где дежурила молоденькая секретарша. Там же в кабинете стояли знаменитые брусья — Куусинен был не только женолюб, но и отличный спортсмен.

Под утро смущенный Пятницкий послал Радеку телеграмму: «Что происходит?» Через несколько часов пришел насмешливый ответ Радека: «Ничего».

Я ушел, не прощаясь.

Оказалось, восстание готовил все тот же агент Зиновьева — верный человек, «преданный коммунист», которому можно доверять. Он получал от Зиновьева огромные суммы. И все это время переписывался с ним шифровками, сообщал о подготовке восстания.

Но в судьбоносную ночь верный человек внезапно перестал отвечать… Короче, на этой затее мы потеряли большие деньги и десятки преданных людей. Жалкие группы рабочих, вовлеченные в авантюру, действительно начали действовать. В Берлине они попытались дестабилизировать обстановку, напали на полицейских и были рассеяны. В Гамбурге также началось выступление рабочих, которое тотчас было подавлено. Несчастных участников схватили.

Наследство больного Ильича

Через несколько дней после коминтерновского фиаско Коба вызвал меня в Кремль.

В кабинете Коба был один. Я спросил его о болезни Ильича.

Он мрачно сказал:

— Растрепали, бляди, не выдержали. Пятницкий, конечно? Да, Ильича мучают невыносимые головные боли, неврастения. Я советовал ему поехать к солнцу на Кавказ. Но он: «Боюсь дальней поездки, выйдет одно утомление, ерунда и сутолока. Нервы вместо лечения нервов». Сейчас лечится под Москвой, в Горках — в имении… — Тут Коба помолчал и закончил: — В бывшем имении Саввы Морозова. Тебе что-нибудь говорит это имя? — Взгляд уперся в мои глаза.

Как же он был сейчас непохож на того молодого, стоявшего у номера несчастного Саввы! Так что я честно ответил:

— Совсем ничего, Коба.

— Вот и хорошо. Секретариат, — (читай: он — Коба), — организовал приезд лучших немецких специалистов… Ильич не верит нашим врачам: «Врачи-товарищи — всегда идиоты…» Но и его любимые немцы ничего не могут толком объяснить. В партии кто-то пускает гаденькие сплетни, будто Ильич болен застарелым сифилисом и у него-де будет размягчение мозга. Я не советую тебе их повторять. Кстати, запомни: мы теперь строго наказываем за всякую безответственную болтовню. С партийной вольницей… — Он не договорил и сказал сухо: — Ну, об этом потом. А сейчас у меня к тебе дело…

В это время вошел секретарь. Сверкая лысиной в солнечных лучах, бьющих из окна, что-то прошептал Кобе.

— Зови, — сказал тот.

И они вошли. Первым был Менжинский, руководитель нашего ОГПУ.

Я не видел его со времен Берлина. По партийному обычаю мы с ним обнялись и поцеловались.

Он уселся, тяжело дыша и поглаживая пышные усы. К астме, как я узнал потом, у него добавилась беда с позвоночником.

Следом за ним в кабинете появился еще один. Худой, с длинным носом, до смешного похожий на ищейку. У него тоже были усы, точнее, какие-то продувные усики… И если Менжинский, даже согнутый, сохранял осанку барина, то этот радостно демонстрировал лакейство. По мере приближения к столу он стал как-то уменьшаться, съеживаться, лицо его нелепо расплылось в улыбке…

Этим человеком являлся заместитель Менжинского Генрих Ягода. Был он голубых большевистских кровей — женат на сестре самого Свердлова. Во время красного террора этот бывший фармацевт занимался больше хозяйственными делами. Особой крови за ним не числилось. Только потом я узнал, что с первых дней появления в ЧК Ягода руководил делом куда более перспективным, чем расстрелы. Он опутывал страну сетью осведомителей. В нашем ведомстве Ягода был известен и своим женолюбием. Если он начинал охоту за чьей-нибудь женой, то горе мужу. Помню, он увлекся юной красоткой, супругой дипкурьера. Дипкурьера обвинили в шпионаже и расстреляли… Все сотрудницы дрожали, когда он вызывал их в кабинет. «Ягодка» — так нежно называл его Коба. В тридцатых годах, когда в страну вернулся Максим Горький, Ягода переспал с рыжеволосой женой его сына.

После чего обманутый муж довольно быстро умер. Ягода положил начало этой похотливой традиции чекистских вождей, которую продолжат и Ежов, и Берия. Но работал он усердно, горел на работе. Формулу Ленина «каждый партиец должен быть чекистом» быстро расширил. Он стремился сделать так, чтобы чекистом стал каждый гражданин. Приглашение на роль осведомителя постепенно превратил в предмет гражданской гордости — знак доверия партии. И потому Коба, знавший все его художества, прощал ему. ***Тогда*** прощал…

Итак, они вошли: сладкая парочка — Менжинский с Ягодой. «Сиятельная Провокация об руку с Холуйским Доносом», — как острил Радек. Уселись.

После чего Коба и обратился ко мне с поразившей меня речью:

— Мы сейчас вместе с товарищами Менжинским и Ягодой занимаемся помощью Коминтерну… Там обнаруживается большая неразбериха, если не сказать разгильдяйство. Ты близко связан с Коминтерном. И потому к тебе у нас есть много вопросов…

Я по-прежнему стоял, а они, устроившись рядком за столом, принялись спрашивать. Начал Коба:

— Мы хотели бы услышать от тебя, куда ушли огромные суммы и драгоценности, которые выделялись в Коминтерн на Революцию в Германии.

Что случилось с попыткой восстания в Берлине и Гамбурге? И правда ли, что в Берлине попросту украли наши деньги и драгоценности? Садись и все напиши…

Я удивился. Коба всегда насмешливо относился к драгоценностям, к деньгам. Он и вправду мечтал, чтобы золотом

мостили мостовые, а денежные банкноты лежали в уборных вместо туалетной бумаги. Когда Надя, его жена, на праздник надела бабушкино жемчужное ожерелье, он снял его и спокойно выбросил «буржуазную побрякушку» в окно. И вот теперь, в присутствии двух руководителей ОГПУ, Коба заботился о «побрякушках».

— Уж не думаешь ли ты, что я…

— Я ничего пока не думаю. Я помню один твой рассказ о квартире зиновьевского агента. Вот про это и напиши.

— Но зачем писать, если ты и так все помнишь?

— Теперь все надо писать, запомни. Теперь, товарищ Фудзи, нужны документы. Как любит говорить Ильич, «мы с вами, батенька, уже не в Смольном»… Вот перед тобой здесь был товарищ Куусинен. Он очень подробно все изложил. Сколько было драгоценностей, кто куда повез, по какому адресу и что приказал им тогдашний глава Коминтерна Зиновьев… Теперь твоя очередь. Садись и пиши все, что знаешь. Ничего не упускай.

Начав писать, я спросил насмешливо:

— Про деньги, которые я переводил на заграничные счета Ильича, Зиновьева и Каменева, про них тоже писать?

— Разве товарища Фудзи кто-то просит об этом? Но и умничать товарища Фудзи тоже никто не просит. По-моему, товарищ Фудзи забыл об ответственности за болтовню? — И Коба взглянул на меня желтыми глазами.

Я молча принялся излагать то, что он требовал. Это было донесение о зиновьевском «преданном коммунисте», о его фантастической квартире, где повсюду была разбросана валюта и бесценные драгоценности хранились в ночном горшке.

Так что уже тогда Коба собирал материалы против кремлевских бояр, хотя Зиновьев все еще являлся его главным союзником…

Коба прочел написанное мною и молча передал Менжинскому.

— Безобразие с деньгами дошло до того, что этот самый зиновьевский агент накануне якобы подготовленной Революции преспокойно сбежал с миллионами и драгоценностями, — сообщил Менжинский.

— И что ж предпринято? — спросил Коба.

— Ничего, — ответил Менжинский.

— Почему?

— Руководство Коминтерна думает скрыть всю эту историю. Уж очень они наивны и смешны в ней.

— Я думаю, товарищи, мы поступим совсем иначе, — сказал Коба. — Товарищ Фудзи отправится в Германию. С ним поедет

еще один наш товарищ. И они завершат историю с «преданным коммунистом». Все наши агенты на Западе должны узнать, что мы не любим, когда с нами шутят. И всем, кому в будущем станешь передавать наши средства, рассказывай конец этой истории.

Я собрался уходить, но он меня задержал.

— Сиди. Можно говорить при нем, — бросил Коба Менжинскому.

Тот начал с усмешкой:

— Троцкий собирается ехать к больному Ильичу — обсуждать «новую ситуацию, которая возникла в партии». Об этом он говорил Каменеву по телефону.

— А тот?

— Тот, — усмехнулся Менжинский, — что-то промычал. Знает, что телефоны прослушиваются. Но вчера, как сообщила Фотиева, — (любимый секретарь Ленина), — они все-таки переговорили с Троцким. И Троцкий потребует у Ильича ограничить власть Секретариата партии.

Я был потрясен. Оказывается, даже телефоны вождей… прослушиваются!

— Троцкий почему-то думает, что Ильич очень любит его, — продолжал Менжинский.

— Это немудрено, — сказал Коба. — У Ленина много выдержки. Он хорошо умеет скрывать истинное отношение к людям. При этом мало к кому хорошо относится… точнее, ни к кому не относится хорошо. — Он не добавил: «Даже ко мне». Но я понял: «великой дружбе», видимо, приходит конец.

В этот момент вошел секретарь и передал Кобе запечатанный конверт. Тот вскрыл его и… замолчал. Лицо его изменилось. Помолчав, сообщил:

— Час назад случился парез — неполный паралич правых конечностей. Полное расстройство речи. Он не может говорить.

Имение застреленного нами Саввы не принесло счастья Ильичу…

Менжинский и Ягода молчали. И вдруг Коба… оживился. Странная полуулыбка забродила по его лицу. Что же творилось в его душе, если великий актер Коба не мог скрыть свои эмоции! Это бывало в тех очень редких случаях, когда побеждал его буйный, постоянно скрываемый темперамент. Да, всего пару лет назад смерть Ленина означала бы конец Кобы. Но теперь… Теперь все было наоборот. Коба оставался с грозной, невероятной силой, накопленной им для Ильича. Да, он создал то, чего ни Свердлов, ни сам Ленин создать не сумели, — управляемую партию. А если к этому прибавить послушнейший ОГПУ… И управляемый Коминтерн… Всем этим собирался распоряжаться Ленин. Но

теперь не было Ленина. И он, Коба, становился единственным наследником всего богатства.

— Надо ехать в Горки — спасать Ильича, — сказал Коба. — Они убьют его разговорами о политике. И, прежде всего, глупая Селедка. Секретариат и Политбюро должны строго наблюдать за его здоровьем. До свиданья, товарищи… Фудзи, останься.

Ягода с Менжинским пошли к дверям.

Уходя, Ягода, так и не проронивший доселе ни слова, молча положил на стол перед Кобой какие-то бумаги.

— Плохо с Ильичем… очень плохо, — сказал Коба, просматривая бумаги. — Скоро я попрошу тебя выполнить ***одно очень важное задание…*** А пока мы с тобой немного развлечемся…

Коба собирает досье

Усмехаясь, он начал читать вслух оставленные Ягодой бумаги. Это были донесения агентов Ягоды о шалостях кремлевских бояр.

«…Товарищ А. Енукидзе (секретарь ВЦИК) в 15.30 встретился интимно с товарищем Х. (следовала фамилия), солисткой балета Большого театра. Одновременно он продолжает встречаться с товарищем О., другой балериной того же театра…»

Авель Енукидзе был наш с Кобой очень близкий друг со времен подпольной работы в Закавказье. Он являлся крестным отцом Нади, жены Кобы, — по нашим понятиям почти родственник. Старый большевик, организатор знаменитой подпольной типографии, после Революции Авель не лез в первые ряды… Коба насмешливо рассказывал, как предложил ему войти в Политбюро, а тот в ужасе замахал на него руками. Коба назначил его секретарем ВЦИКа. На этом посту Енукидзе щедро раздаривал квартиры, дачи и прочие блага нашей новой бюрократии. Сам же продолжал жить в небольшой квартирке в Кремле, наслаждаясь свободой от политических интриг и, главное, любовью. Высокий, вальяжный, с огненной шевелюрой и огненным темпераментом, он был знаменит своими бесчисленными любовными похождениями и очаровательно легким, веселым характером. Правда, огненная шевелюра сильно поседела и выцвела, но его широкое рябое лицо по-прежнему всегда улыбалось, и глаза заговорщически блестели при виде любой хорошенькой женщины…

Коба все читал… Оказывается, бывший крестьянин Калинин с его рязанским носом уточкой тоже разделял слабости великих князей — и у него имелась любовница балерина…

Многое в тот день прочитал мне вслух Коба — в том числе про приезды в актерский клуб наркома просвещения Луначарского, вчерашнего богоискателя. «После многократных тушений света, сопровождаемых женскими визгами, товарища Луначарского вынесли на руках в автомобиль… куда с ним села товарищ Розонель — актриса, состоящая с ним в связи…»

— Мижду нами говоря, наши товарищи после лишений дореволюционного времени очень хотят наслаждаться жизнью и сильно подразложились… Впрочем, и мой друг Фудзи не отстает от разложившегося Авеля. Спал с антисоветской сучкой. И просит Ягоду выпустить ее за границу…

Только теперь я понял, зачем он мне все это читал. Да, он все про всех теперь знал, мой друг Коба. И про мою любовную

историю тоже.

Внучка царя и она

В 1919 году я устроил в Публичную библиотеку в Иностранный отдел уже немолодую женщину (ей было тогда сорок семь лет). На работу ее оформили под именем Дарьи Евгеньевны Лейхтенберг. Была она воистину величественна. Помню гордо откинутую голову на высокой шее, украшенной ниткой великолепного жемчуга. Сотрудники тотчас поняли: эта из «бывших». Поняли и возненавидели. Держала она себя на редкость независимо. Когда на митинге кто-то провозгласил: «Да здравствует мировая Революция!», Дарья Евгеньевна прилюдно усомнилась, что будет мировая, ибо для этого просто не хватит евреев. И конечно, ее тотчас вычистили из библиотеки с опасной формулировкой «За то, что не изжила черт своего класса — высокомерия и антисемитизма». Но через Кобу я ее восстановил. Если бы в Библиотеке знали, кем была эта «бывшая»! Но знали лишь трое — мы с Кобой и Ильич.

Это была знаменитая княгиня Долли, принцесса Дарья Лейхтенбергская-Богарне, правнучка Николая I, праправнучка императрицы Жозефины и внучка пасынка Наполеона Евгения Богарне. Дело в том, что Мария, любимая дочь палача декабристов Николая I («Николая Палкина», как мы его именовали), вышла замуж за внука Жозефины герцога Лейхтенбергского. Их сын Евгений и был отцом нашей Долли. Ее нянчил царь Александр II. Но Александр III очень не любил ее. «Она похожа на своего развратного деда Макса Лейхтенбергского и поганит, как и он, свое тело», — говорил примерный семьянин, когда ему докладывали о бесконечных романах Долли. После революции она благополучно проживала за границей, где мы с ней и встретились.

Но началось наше с ней знакомство драматично. В одном из модных берлинских кафе я ждал своего связного. И тогда ко мне за столик подсела она.

— Это вы князь Д.?

— Именно так, сударыня.

— Мне много рассказывала о вас великая княгиня Мария Павловна. Я так обрадовалась ее рассказу… Я живу в Австрии. Но как только узнала, что вы в Берлине, тотчас поспешила сюда. Дело в том, князь, что я с вами однажды переспала. Неужто запамятовали? — Она с усмешкой смотрела на меня. Я промолчал. Она продолжала: — Надо вам сказать, что настоящий князь Д. был прелесть. Мы встретились в Тифлисе. Я жила тогда в дядином дворце. Если вы еще помните, дядя был наместник на

Кавказе — великий князь Михаил Николаевич. Я переспала с князем Д. в первый же день нашего знакомства, так он был хорош. Помню, ради меня тот, настоящий князь Д., пропустил дежурство во дворце. И великий князь должен был его наказать, но, узнав про нашу связь, сказал: «Бедняга! Он и без того ужасно наказан!» — И она расхохоталась: — Каково?

— Остроумно, — заметил я, переживая не самые лучшие минуты.

— Итак. Я могу вас выдать, и, скорее всего, вас расстреляют… Могу, наоборот, подтвердить, что он — это вы. Чем сильно облегчу вашу жизнь… Я догадываюсь, что вы предпочли бы второе?

Я вздохнул.

— Но «второе» нужно заработать. Для начала расскажите, кто вы. Только всю правду. Иначе…

И я рассказал, ума хватило, точнее, интуиции.

— Замечательно! Я ведь знала Ленина через Инессу Арманд… Она божественна. Но, к сожалению, ограниченна — любит только мужчин… Итак, я хочу вернуться в Россию. Что делать, видимо, тоскую. И кроме того, меня бешено интересует ваш эксперимент…

Короче, она стала работать на нас. Или нас дурачила. Я так никогда не смог до конца ее понять. Одно точно: она и вправду безумно хотела снова жить в России, и я это устроил.

Я обратился к Ильичу. Ее впустили по его личному разрешению.

Считалось, что гражданка Дарья Лейхтенберг приехала в СССР по линии австрийского Красного Креста и осталась у нас, полюбив и приняв нашу Революцию. Особых услуг она нам не оказала, кроме той, первой, когда не погубила меня. Иногда она полезно консультировала ОГПУ, помогая будущим нашим сотрудникам осваивать светские манеры, особенно во время операции «Трест», о которой еще расскажу. Когда наша голодная страшная жизнь становилась невыносима, ей давали возможность уезжать за границу. Как бы в отпуск. Так, летом 1921 года она ездила в Финляндию и жила в доме барона Маннергейма. Кажется, с этим кавалергардом у нее тоже что-то когда-то было. Знаю, что через Маннергейма она помогла получить гражданство Вырубовой, бежавшей в Финляндию (финны долго не давали той гражданство). Однако, побыв за границей, Долли всегда возвращалась, как она говорила, «в немытую уже в буквальном смысле» Россию.

В квартире Долли я и встретил Н.

Н. была высокой молодой женщиной с прекрасной фигурой,

некрасивым лицом и огромными глазами. Сочиняла стихи, на самые простые вопросы не могла ответить просто.

Я:

— Как мне вас звать? Здесь вас все зовут по имени… Когда с человеком мало знаком, следует по имени и отчеству.

Она:

— Зачем? Отчество — это самооборона, ограда от фамильярности. Зовите меня, как вам удобнее, приятнее.

— Тогда по имени.

В тот вечер она читала стихи о принце Лозене — любовнике Антуанетты, гильотинированном революцией. С усмешкой спросила меня:

— Вы, вероятно, не знаете, кто такой Лозен?

Долли возразила:

— Он знает. Он особенный, очень начитанный коммунист из приличной семьи.

И Н. начала читать, яростно глядя на меня. Когда она закончила, Долли аплодировала.

Я:

— Наверное, радостно читать монолог принца Лозена в лицо коммунисту?

Н.:

— Жаль, что в лицо вам, а не Ленину…

Я пошел ее провожать. Взял под руку. Она сказала:

— Вы очень хотите меня погубить? Женщина-поэт, встречая мужчину, бросает писать стихи и начинает целоваться… Поэт-женщина, встречая мужчину, продолжает писать стихи, но тоже начинает целоваться. — Помолчала и опять глаза-омуты — на меня. — Что вам нравится во мне?

— Ваши глаза. И ваши стихи.

— Будьте проще: длинные ноги, высокая грудь, тело… Но тело, порой — постоялый двор, где побывали многие. Постоялый двор, иногда превращающийся в колыбель.

Я знал, что она нас ненавидит, и это было опасно для нее. Ненависть у таких женщин слишком близка с любовью. Я рассказал ей то, что она хотела услышать: о крымском походе, где будто бы я отпускал офицеров и защищал женщин, — этакую бесхитростную повесть о добром коммунисте.

Она слушала восторженно. Теперь я был тем, кем она хотела меня видеть.

Поднялись к ней в комнату. Все неприбрано, по-холостяцки. Она легла на диван. Я сел рядом, и она… заснула под мои благородные рассказы. После постоянного голода она слишком много съела у Долли (это был мой паек). Я потушил свет

(лампочку без абажура под потолком) и снова сел возле нее. Сидел в темноте. Она спала. Дышала, как дети, но спала чутко. Разбудил ее, чуть дотронувшись до плеча:

— Я пойду. Хочу, чтобы вы меня хорошо помнили!

И аккуратно накрыл ее пледом, заботливо подоткнул под нее, чтоб не дуло. Холодно было в ее нетопленой комнате. Она заплакала:

— Никто, никто, слышите, никто, кроме погибшего мужа… — (кстати, этот погибший муж оказался потом живым), — меня не укрывал! Никто! Я всех укрывала… А вы после трех лет фронта, звериной ярости — накрыли!

…Я ее не тронул. Уходил от нее, зная, что этого она никогда не забудет. Я ее сразу понял…

Встретились в тот день, когда я должен был уехать в Берлин. Я обнял ее. Она сказала:

— Учтите, это опасно. Вы разбудите мою тоску, мою слабость и заодно всю стихию и весь хаос, целую смуту. Выдержат ли ваши уши, руки и, главное, душа? Знаете, в химии есть перенасыщенный раствор. Так вот, у меня перенасыщенный раствор ненависти. Подобные вам убили моего мужа… Коли пересплю, буду себя ненавидеть и мечтать убить вас…

— Не успеете, я уезжаю.

Шептала:

— Еще не поздно, дружочек, родной, остановиться. Ну, встретились, постояли рядом — бывает! Не дайте мне ввыкнуться в вас. Мне нужен врач для души, а не любовник. Мужчина может выбить перо из моих рук и дух из ребер! — И чтобы ничего не было, бесстыдно рассказала: — Вы все — остальные для меня, даже не вторые, третьи, а сотые. Мой первый, единственный убит… — (Она безумно любила его мертвого, но уверен: совершенно охладела, когда он оказался жив). — Один из сотых пришел ко мне, как и вы, случайно, так же встретив меня в гостях у Долли, больше я ни к кому не хожу. Пошел со мной… Дальше — просто. Он, как и все вы, сначала делал вид, что ему нравятся стихи. Как и все, попросту хотел переспать со мной, потому что, как потом узнала… днем он отвез в больницу свою любовницу. В два часа отвез ее в больницу, вечером был у Долли и после — у меня. Сказал мне просто: «Не могу без женщины». Я приняла это не столько за оскорбление, сколько… как бы это сказать — за отсутствие вкуса. Но зато хотя бы честно. Потом узнала, что ***та*** умерла одна, томилась по нему, звала его в агонии. И я его выгнала… из-за того, что, скрыв ее существование, заставил меня грабить мертвую… меня, так страдающую от чужой боли…

В темноте она шептала:

— Я всегда хотела любить, всегда исступленно мечтаю вериться, быть не в своей воле. Слабо меня держали, оттого и уходила… А сейчас, пожалуйста, уйдите вы.

Я ушел, когда она спала. По привычке разведчика пошарил в комоде, где прячут документы. Наткнулся на записную книжку. И там все это прочел. Дословно. Она записала это ***прежде*** в записную книжку. Все, что мне наговорила. Я был всего лишь частью ее фантазии.

Пришел к ней через год, когда вернулся в очередной раз из-за границы.

Она даже не удивилась. Будто час назад расстались.

— Прибивает меня к тебе, как доску к берегу. Бока уже обломаны о тебя… Я всю жизнь, как затравленный зверь. Чуть ласково заговорят, и сейчас же слезы на глазах. Насколько я лучше вижу человека, когда не с ним! Без тебя я тебя ненавидела… но приходишь ты…

Я плохо слушал, потому что знал: она цитирует записную книжку…

После спрашивала:

— Чего во мне нет? За что меня так мало любят? Слишком первый сорт?

И читала стихи, которые я понимал с трудом.

Я все боялся, что с этой недотепой что-нибудь случится без меня. Ничего не случилось. В последнюю встречу она сказала мне:

— Я не могу жить здесь. Задыхаюсь. Подала просьбу — эмигрировать.

Я решил помочь, пошел к Ягоде.

— Мы не можем ее выпустить. Она наверняка догадывается, кто вы.

— Она ничего не знает, кроме любви и своих стихов.

— Мы не можем, — отрезал Ягода.

И я сказал Кобе:

— Она сумасшедшая. Разреши ей эмигрировать.

— А если сумасшедшая там тебя встретит?

— Тогда я ее убью. Клянусь тебе. А сейчас отпусти.

— Ну если друг просит… Пусть едет.

Я хорошо знал наши правила игры. И потому вопрос у меня был один — уберут ли ее до отъезда?

Он понял:

— Пошел на хуй! Твою не тронут.

Так она уехала за границу. С ней я еще встречусь…

Но вот бедную Долли никогда более не видел.

В 1937 году, летом, в столовой на Лубянке знакомый

следователь сказал мне:

— Представляешь, привезли правнучку Николая I! Жила у нас. Оказалось, австрийская шпионка. Признаваться не хочет, но я ей говорю: «Если не шпионка, зачем вы к нам в голод-холод приехали? И главное — каким образом приехали?» А она: «Приехать разрешил мне один господин». — «Кто таков?» И сумасшедшая контра отвечает: «Ленин!»… — Он расхохотался.

Я ждал тогда, что придут и за мной. И промолчал.

Княгиню Дарью Лейхтенбергскую, правнучку Николая I, расстреляли летом 1937 года.

Следователя расстреляли в 1939 году.

Но вернемся в двадцатые годы.

Лаборатория ядов

Тотчас после разговора с Кобой я выехал в Берлин на «охоту». Вместе со мной должен был отправиться «Товарищ из лаборатории Х».

С 1921 года я знал об этой удивительной лаборатории. Ее основал сам Ильич. Это была лаборатория… ядов! Парадокс: радикал Ленин основал средневековую лабораторию! Со времен Медичи никто не пользовал яды так, как мы, большевики. Сначала руководил лабораторией некий товарищ, старый большевик. Он так и умер безымянным товарищем Н. И безымянным, без таблички, был захоронен по приказу Ильича в Кремлевской стене…

Вот из этой лаборатории и направили ко мне сотрудника. Он был неразговорчив. Молча положил передо мной берлинский адрес того самого «личного агента Гриши», «преданного коммуниста»…

Но в Берлине мерзавца не оказалось. Через своих немецких агентов я сумел выяснить — он веселится в Венеции. Об этом сообщила его любовница, немецкая коммунистка.

Отправились в Венецию. Там получили записку от его возлюбленной: «В пятницу на мосту Риальто в полдень».

В тот день он, видно, что-то покупал в дешевых магазинчиках, облепивших знаменитый мост Риальто. И сейчас беспечно вышагивал, обнимая за плечи ту самую немецкую коммунистку, которая его сдала. Весело что-то рассказывал ей, когда увидел меня. Узнал, замолк, отчетливо побледнел… Но бояться надо было не меня. Переодетый итальянским матросом товарищ из лаборатории, изображая пьяного, умело упал на него… и уколол шприцем. Лаборатория Х даром хлеб не ела: мерзавец умер на мосту.

Любовница привела нас на их квартиру. Но там мы обнаружили жалкие остатки валюты.

Комиссия ЦК, созданная Кобой, обсудила мой отчет. Все констатировали хаос и бесконтрольность в Коминтерне и недопустимую халатность товарища Зиновьева.

Гриша был в бешенстве.

Коба начинает прощаться с друзьями

В 1922 году я приехал в родной Тифлис. И там встретил нашего друга Камо. После Революции он, как и многие герои Революции, стал каким-то неприкаянным. Он не знал, что ему делать. В первые годы Коба о нем заботился. Велел приехать в Москву, устроил учиться в Военную академию. Но Камо совершенно не мог учиться. Помню, как навестил его в общежитии. Он сидел над книжками.

— Трудно понимать науку, — огорченно говорил он, поглаживая ладонью какой-то учебник. — Рисунков мало. Надо делать в книгах больше картинок, чтобы сразу было понятно. К примеру, что такое дислокация? Ты знаешь, что это такое?

Я сказал, что не знаю. Но он был хитер.

— Вот видишь, ты знаешь, а я нет. Хотя я уже два раза про нее читал, запомнить не умею. — Улыбнулся. Улыбка беспомощная, детская.

Потом Камо бросил академию, решил вернуться в Тифлис. Перед отъездом мы все встретились: я, Коба и он.

Камо вдруг спросил Кобу:

— Зачем ты стесняешься наших подвигов? Нехорошо, брат.

Коба мрачно посмотрел на него и ничего не ответил…

В Тифлисе Коба устроил его работать в грузинском Наркомате финансов. По-моему, это был все тот же черный юмор Кобы: назначить банкиром того, кто умел только грабить банки!

Камо и здесь был очень несчастен. Продолжал жить в нашем прошлом и мог говорить о нем часами.

— Нас обвиняют в том, что мы убивали невинных людей… Я редко это делал. Помнишь, во время той экспроприации на Эриванской площади, я должен был бросать бомбу, и мне показалось, что за мною следят двое сыщиков? До броска оставалась какая-то минута. Я слез с пролетки, подбежал к ним: «Убирайтесь прочь, я сейчас взрывать буду!» И они убежали.

— А почему сказал? Жалко стало?

Но Камо знал: жалеть нам, большевикам, не положено. Он покраснел:

— Ничего не жалко! Они ведь были небогатыми, семьи кормили…

Тогда же в Тифлисе он со мной впервые поделился:

— Со всех сторон просят: напиши, дорогой, воспоминания. Может, и вправду попробовать? Коба, конечно, будет против. Он отрекся от наших подвигов… почему-то.

Я, в отличие от Камо, знал: Кобе пришлось отречься. Дело в

том, что еще до революции произошел скандал. Меньшевик Мартов заявил, что Коба не имеет права занимать руководящие посты в РСДРП, ибо причастен к экспроприациям, осужденным партией. Кобе пришлось назвать это «гнусной клеветой». Теперь, став Генеральным секретарем, он конечно же не хотел никакого упоминания о наших подвигах. Особенно в изложении простодушного Камо.

Я объяснил это Камо. Он долго молчал. Потом сказал:

— Нет, я все-таки должен написать, чтобы напомнить и про наши идеалы, и про то, для чего была кровь. Мы мечтали создать воистину новый справедливый мир, мечтали отменить деньги и государство. Но опять вокруг нас бедные и богатые. И мир мы не изменили. Мы заперлись в собственном доме, уже не мечтаем о мировой Революции. Зачем тогда убивали?!

…Когда я вернулся из Тифлиса, меня вызвал Коба. Он, как всегда, все знал.

— Значит, наш глупец решил писать мемуары? Жаль. Каждый должен делать свою работу. Когда Камо убивает, он большой молодец — загляденье смотреть… Когда он что-то напишет — от стыда убежишь! Убивает — мудрец, пишет — глупец!

Он взглянул на меня. Его желтые глаза погасли, в них была бездна. И та, опасная полуулыбка начала бродить по лицу.

Я опять уехал в Берлин. А вернувшись, узнал про конец нашего друга Камо…

Это случилось через пару месяцев после нашего разговора с Кобой..

15 июля того же 1922 года Камо ехал на велосипеде по Тифлису. В этот момент на холме показался редкий в Тифлисе грузовик и направился прямо на Камо. «Удар был настолько силен, — писала тифлисская газета, — что товарища Камо отбросило с велосипеда, и, ударившись головой о тротуарную плиту, он потерял сознание. В больнице, не приходя в себя, он скончался…»

Я был на его похоронах. «Какая насмешка судьбы!» — сокрушался Мамия Орхелашвили, один из тогдашних вождей Закавказья. Насмешка судьбы? Или усмешка моего друга Кобы?

Коба на похороны не приехал, но послал цветы.

Мамию Орхелашвили он впоследствии расстреляет.

По возвращении в Москву меня снова вызвал Коба. Но я — ничего. Только решился пересказать ему последние слова нашего друга Камо: «Мы заперлись в собственном доме, уже не мечтаем о мировой Революции. Зачем тогда убивали?!»

Он презрительно прервал меня.

— И ты сочувствуешь этой глупости? Вы сидите на

малюсеньком холмике, но чтобы увидеть то, что видит Ильич, смотреть нужно с горы. Мы просто изменили тактику. Мы мало говорим сейчас о мировой Революции. Но думаем о ней. Наша новая задача — обмануть «глухонемых» — так Ильич зовет мировую буржуазию. Жажда денег делает их глухими. Сейчас они увидели, что в России воскрес рынок, здесь можно нажиться. И бабочки уже летят на наш огонь, и он сожжет их… Мы должны научиться обниматься с ними, чтобы потом задушить их в объятиях. И тогда они услышат топот рабочих батальонов. И… «только советская нация будет, и только советской нации люди…» Я верю: мы увидим это. — Он помолчал, вздохнул и сказал. — А Камо наивный был. Мои враги уже начали его использовать. Ты что думаешь, товарищ Сталин не понимает, почему Орхелашвили толкал его писать? Товарищ Сталин все понимает. Наш друг Камо был настоящий коммунист. Если бы его спросили: что надо делать с хорошим человеком, которого могут использовать враги? Как ты считаешь, что он ответил бы? То-то! В одном жиденок (Троцкий) прав — мы особые люди. Мы — соль земли, и у нас особые понятия о жизни и о смерти… Бедный Камо!

Да, я должен был признать: это был взгляд с горы. И опять я с гордостью слушал своего великого друга. Уже уходя, я увидел ту нашу фотографию, которая по-прежнему стояла на письменном столе Кобы. Здесь Камо… уже не было! Фотография была переснята, на месте, где прежде находился Камо, теперь зияла чернота. Так бедный Камо открыл список наших исчезнувших друзей. Зато не разделил судьбу Енукидзе и прочих, бывших на фотографии. Он остался в летописи нашей Революции, стал ее романтической легендой. Коба дал ему возможность умереть героем Революции вместо того, чтобы умереть ее врагом. Коба любил Камо.

«Активное мероприятие»

Перед очередным отъездом в Германию меня вызвал Коба. В его кабинете сидели Менжинский, Ягода и черноволосый с черной бородкой приятный молодой человек. За все время разговора этот человек не проронил ни слова.

Говорил Коба:

— Направление главного удара кардинально изменилось. Кто является для нас главной опасностью? Эмигранты, РОВС… — (Русский общевойсковой союз, объединявший эмигрантов-военных), — Врангель и его генералы. Они решили начать подпольную войну, готовятся засылать сотни агентов, практически смертников. Поэтому разработка эмигрантов и их организаций, предотвращение террора — это на сегодня главное направление.

— Мы только что ликвидировали Центральную монархическую организацию. Сегодня будет статья в «Правде» о победе наших чекистов… — доложил Ягода.

— Статьи не будет никакой, — прервал его Коба, — поэтому я вас позвал. Мы с товарищем Менжинским проговорили одну идею, о ней он расскажет сам.

Менжинский начал говорить. Это был поток, вдохновение! Он распрямился, глаза загорелись. То, что он придумал, впоследствии на языке Лубянки будет называться «блестящее легендиро-вание». Жертвы назовут это иначе — «блестящая провокация». На официальном языке эти «блестящие провокации» звались скромно: «активные мероприятия».

— Мы ничего не сообщим об уничтожении Монархической организации, — сообщил Менжинский. — Наоборот. Отдел дезинформации… — (он был недавно создан на Лубянке), — передаст на Запад легенду о существовании разветвленной Монархической организации, охватившей всю страну. Эта мощнейшая организация будто бы действует под вывеской нэпманских фирм. Называться она будет кратко — «Трест»… Скоро на Западе, — продолжал упоенно Менжинский, — должен состояться конгресс эмигрантов. Наш человек на конгрессе выступит от имени этого «Треста» и объявит: «То, что не смогли сделать Белая армия и Антанта, происходит в России сейчас с помощью экономических рычагов и мощной подпольной организации „Трест“. Благодаря рыночным отношениям „Трест“ начал успешно разлагать советскую систему. В то же время боевая организация „Треста“ ведет активную подрывную деятельность. Боевики „Треста“ проникли во все сферы — в Красную армию, в

пограничные службы, в наркоматы… — (Кстати, Коба воскресит эту легенду в 1937 году. Только место монархистов в его легенде займут старые партийцы). — Строй перерождается. В России готовится революция сверху. На место Ленина придет коренной русак. К примеру, это может быть один из партийных лидеров — Пятаков. Любимый Лениным блестящий экономист, он… человек „Треста“!» Далее постепенно мы убедим их: связи «Треста» настолько мощны, что у него есть даже «окна» на границе, контролируемые его агентами. И через эти окна эмигрантские вожди могут беспрепятственно приезжать в Россию… Увидите, как охотно поверит конгресс в легенду о «Тресте»… Потому что они хотят верить в сопротивление народа большевикам. Вначале для проверки они пришлют своих представителей. Те осядут у нас, и мы соединим их с нашими агентами, которые продемонстрируют им мощь «Треста» и дадут вернуться беспрепятственно на Запад. Далее приедут главари побольше. Наша цель — постепенно выманить и арестовать главные фигуры эмиграции. Я надеюсь увидеть на Лубянке главных руководителей эмиграции: любимца белых офицеров — дядю царя, великого князя Николая Николаевича и самых опасных боевиков — террористов Савинкова и Сиднея Рейли.

— Мне кажется, товарищ Менжинский роет в правильном направлении, — сказал Коба. — Остается решить: кто будет этот человек, который выступит на конгрессе от имени «Треста»?

Я думал, что они назовут меня. Ягода действительно предложил мою кандидатуру, но Менжинский посмотрел на черноволосого, сидевшего в углу. Тот поморщился.

— Нет, — сказал Менжинский, — здесь существует угроза разоблачения. Мы не можем провалить такую идею. Думаю, что этим человеком должен быть настоящий дворянин. Есть только один человек, способный на такое. Его зовут Александр Александрович Якушев. Он действительно организовал подпольную монархическую организацию. Сейчас сидит у нас в камере смертников… — И опять взгляд на черноволосого. Тот одобрительно кивнул. — Я его знаю по Петрограду, не раз с ним тогда встречался. Ему сорок шесть лет, дворянин, окончил Императорский Александровский лицей. Работал в Министерстве путей сообщения, действительный статский советник, занимался Царскосельской дорогой, его хорошо знал царь. Вождям эмиграции он прекрасно известен. Вот он и должен стать главой «Треста». Я думаю, к нему в камеру мы подсадим вас, «князь Д.». Вы ведь первым сообщили нам о нем, он вас знает. Вам будет о чем поговорить.

Черноволосый в углу улыбнулся…

Этого черноволосого звали Артур Христианович Фраучи (партийный псевдоним Артузов). Он был сыном швейцарского сыровара с итальянскими корнями; мать его отчасти латышка, отчасти эстонка, отчасти шотландка. Жизнь перемешала все крови в этом человеке, ставшем истинным отцом нашей разведки. О нем тогда уже говорили: «У него пылкое воображение итальянца, спокойствие, невозмутимость прибалта и стойкость и смелость шотландца».

Он с блеском окончил металлургический институт, когда свершилась Революция. И, как десятки других молодых людей, бросил профессию, вступил в партию и в новую волнующую неведомую жизнь. Теперь он принадлежал нам — строителям этой новой жизни. С 1919 года работал, а потом и возглавил знаменитый Особый отдел ВЧК, боровшийся с контрреволюцией и, как положено в Революцию, проливший много крови. В 1930 году он руководил нашей внешней разведкой, был назначен главой Иностранного отдела ОГПУ, и я какое-то время непосредственно подчинялся ему, пока не перешел в ведение Кобы.

Артузов оказался гениальным руководителем. Он не только собрал блестящую команду профессионалов в самых разных областях — он еще и умел их слушать. С ним работали бывший царский генерал, бывший знаменитый польский разведчик, перевербованный Артузовым, бывший царский офицер и бывший боевик-анархист…

Все решения вырабатывались коллегиально этими «бывшими». А он молча слушал и в конце подводил итоги, подчас самые неожиданные. Но они снова обсуждались… И он опять слушал и уже в конце делал решающий вывод. К этому моменту дискуссия окончательно исчезала в дыму папирос. Они все страшно курили. Моя жена заставляла меня вешать в прихожей пиджак, навсегда пропахший дешевым табаком.

Артузов был неизменно невозмутим и удивительно ровен. Все знали: его ничто не могло вывести из равновесия, ***кроме…*** Этот корпусной комиссар (соответствовало старому званию «генерал») выступал в концертах самодеятельности в клубе ОГПУ. Я увидел его однажды перед концертом и… не узнал. У него дрожали руки от страха, обычно бледное лицо горело — так он волновался!

Его считают отцом ложных организаций монархического подполья. Таких, как «Трест» и «Синдикат».

Но, повторюсь, я уверен: он был только соавтором. Главным автором наших провокаций являлся «талантливый мерзавец» Менжинский.

Так я оказался в камере с Якушевым.

(Об операции «Трест» я расскажу кратко, ибо не все еще можно рассказывать.)

Якушев меня сразу узнал. Спросил спокойно:

— Вас ко мне подсадили? Я ведь вычислил вас еще в Лондоне, несмотря на восторги великой княгини. Вас выдают много работавшие руки. Когда-нибудь князя Д. поймают, если их не отрезать. Я сказал о своих подозрениях ее высочеству, но она не поверила. Все вспоминала ваш героизм во время поездки… Я не смог ее убедить.

Я возразил, что он ошибается и я действительно князь Д., перешедший на сторону советской власти. После чего осыпал его градом знатных фамилий, сотрудничающих с большевиками. И в заключение добавил:

— Можно, конечно, заниматься диверсиями и прочими булавочными уколами. Но куда действеннее поступать, как я: ***будто бы*** капитулировать. После чего войти внутрь системы и начать медленно ее изменять, постепенно придавая Большевизии человеческое лицо. Другого для нас с вами выхода сейчас нет. Сотрудничать с ними, чтобы постепенно менять лицо большевизма!

Я увидел, что эта моя речь произвела впечатление. Теперь он очень хотел мне поверить… чтобы не быть расстрелянным. Моя идея придавала его капитуляции весьма благородный облик. И, добивая его, я сказал:

— Вас желает видеть один из бывших ваших знакомцев, а ныне вождь большевистского ОГПУ товарищ Менжинский.

— Это хитрейший подлец, — заметил он, — но большевики и вправду надолго, если он связался с ними.

После нескольких дней подобных разговоров он явно начал соглашаться.

И тогда я повез его домой к Менжинскому.

В квартире, обставленной ценной мебелью, мы втроем отлично отобедали. После обеда скрюченный Менжинский читал вслух Омара Хайама. Играл Моцарта. И в перерывах между чтением и игрой, как бы советуясь с Якушевым будто со сподвижником (великое доверие!), продумывал (давно придуманный) план. Наконец план был готов.

Якушев предстанет на Западе главой некоей мощнейшей монархической организации, которая успешно готовит переворот в России. У организации — свои люди уже повсюду и даже есть «окно» на границе, которое они контролируют… Короче, повторил все, рассказанное Кобе.

— А если я соглашусь, но за границей, как говорится, «дам деру»? — спросил Якушев Менжинского.

— Вряди ли, вы человек чести. Ну а если все-таки… тогда он вас тотчас убьет, — кивнул на меня Менжинский. — Он все время будет незримо с вами, как и другие наши люди. — И вдруг произнес как-то грубо, панибратски: — Ну что, согласен, ваше превосходительство? Или все-таки желаешь пулю? — И засмеялся.

И Якушев согласился. Я был в нем уверен. Я знавал таких людей. Коли дал слово — сдержит.

Я доложил Кобе о согласии Якушева.

— Что ж, пусть поработает, — сказал Коба, выслушав мой отчет. — Мы их потом всех, как говорил Ильич, «чик-чик — и отрежем!».

Смерть Кобы, рождение Сталина

1923 год — это рубеж в жизни Кобы… Мог ли кто-нибудь представить даже во сне, что Коба, верная тень Ленина, «левая нога Ленина», посмеет воевать с самим Лениным?

События развивались стремительно.

Началось с того, что к оправившемуся после удара Ильичу пожаловали Троцкий и Каменев. Эти, мягко говоря, ненавидевшие друг друга вожди на сей раз были единодушны. После разговора с ними Ленин понял: у любимой жены, то бишь у ЕГО партии, оказался любовник. Партия ему изменила. И с кем? С его тенью! С его холуем! С полуграмотным азиатом! Его партия управляется Кобой!

Ильич пришел в такую ярость, что пришлось вызывать врачей.

Великий боец Ленин тотчас начал войну против Кобы. И не выдержал напряжения ненависти. Инсульт раскроил мозг. Те, кто видел в те дни Ильича, рассказывали с ужасом, что он не просто лишился речи — великий Вождь, мозг партии впал в детство! Его отвезли в Горки — Политбюро решило укрыть его от любопытных.

История улыбалась: царь сделал тайной болезнь наследника престола. Теперь мы сделали тайной болезнь хозяина большевистского престола…

По предложению заботливого Кобы Пленум ЦК принял решение «об абсолютном покое больного Ленина». Охранять покой Вождя партии должен был конечно же Генеральный секретарь партии. Но, зная новое отношение Ильича к Кобе, ему об этом заботливо не сказали.

Все эти события произошли в мое отсутствие, я был тогда в Берлине.

Тотчас после моего приезда пошли слухи: произошло чудо — к Ленину вернулись речь и разум.

Едва выздоровев, он начал часто… встречаться с Троцким. Когда не встречались — переписывались. Письма носила Крупская. Оба легендарных вождя явно объединялись.

Вскоре я был вызван в кабинет Кобы. Точнее, в комнату для секретарей перед кабинетом. Прежде здесь бывало пустовато. Теперь толпилось множество людей — провинциальные секретари, руководители ОГПУ, люди из Коминтерна. Через два часа, не менее, подошла моя очередь.

Коба стоял у стола с трубкой в руках.

— Ты, конечно, уже слышал наши сплетни. Чешем языками, а

враги слушают, ухмыляются, ищут лазейки! Кто бы мог подумать — Ильич воюет с товарищем Сталиным! Чем ему не угодил товарищ Сталин? Разве не товарищ Сталин пахал на него всю жизнь? Разве не товарищу Сталину он поручил создать партию, послушную Вождю товарищу Ленину? Разве не товарищ Сталин выполнил все, что хотел он? В чем товарищ Сталин провинился?.. Ну что молчишь?

— Может, тебе объясниться с ним?

— С кем? Это ведь нынче не Ленин. Был великий Ильич! Ошибся, не великий, а величайший! Таких, как Ленин, возможно, было трое-четверо во всей истории человечества! Но тот гений ушел от нас. После последнего удара от него осталось воспоминание. Кусочек еще не съеденного болезнью мозга… Может ли товарищ Сталин относиться серьезно к настроениям «останков Ильича»? Когда Вождь был Лениным, он любил товарища Сталина. Во всем доверял Сталину. Когда после первого удара он восстановился, кого тотчас вызвал? Сталина! И Сталину открылся. Оказывается, он припер к стенке врачей. Он умел это делать. И хотя врачи ему до конца не сказали правду, он ее почувствовал. Ильич признался тогда товарищу Сталину: «Новый удар может последовать в любую минуту, мне надо поторопиться. Жить инвалидом — не для меня. Вы должны мне помочь — мне нужен яд…» Но товарищ Сталин его спас. Ответил Ильичу: «Ваша просьба понятна, но совсем не своевременна. Ваше положение, как говорят врачи, резко улучшилось». Вижу, Ильич заметно повеселел, но все-таки спросил: «Не лукавите?» — «Когда же вы видели, чтобы Сталин лукавил? Сталин грубоват, может, жесток порой, но Сталин правдив». И Ильич успокоился. Вот они — факты. И ты… рассказывай о них. А то мерзавцы болтают о какой-то борьбе Ленина с его другом товарищем Сталиным. Рассказывай смелее и, главное, почаще…

В этот момент пришла Фотиева (секретарь Ильича). Она приехала из Горок.

Коба тотчас отослал меня из кабинета, но велел подождать.

Я уже понял, что все, происходящее в Горках, тотчас докладывается Кобе. Значит, и Фотиева тоже с Кобой.

Я вернулся в переполненную приемную.

Вскоре Фотиева вышла, и Коба позвал меня обратно.

Я вошел, когда он разговаривал по телефону. Коба был в ярости и оттого говорил с ужасным акцентом (видно, Фотиева ему что-то сообщила, и он не смог сдержаться — позвонил).

— Партия назначила товарища Сталина… Нет, это вы уж меня послушайте! Партия назначила товарища Сталина следить за здоровьем дорогого нам всем Ильича. Очень дорогого. Именно

поэтому партия запрещает ему сейчас заниматься политической деятельностью. К примеру, общаться с товарищем Троцким, к которому вы усердно носите его письма. Учтите, Сталин все знает, потому что партия все знает. И партия все может!

Повесив трубку, Коба закричал в ярости по-грузински:

— Кто ей дал право выговаривать Генеральному секретарю?! В чем таком ее заслуга? В том, что она ходит на один толчок с Ильичем?

Я с ужасом понял, что только что он грубо кричал… на Крупскую! На саму Крупскую! Посмел кричать!

Он продолжал в гневе:

— Эта баба не понимает! Партия вправду все может. Если она будет вредить здоровью Ильича, партия даст Ленину другую жену.

Он сказал это громко. Властно! Чтобы слышала переполненная приемная. Он знал, что теперь фразу передадут. И действительно, мне рассказывали, что слова Кобы дошли до Крупской в тот же день и «в ярости она каталась по полу».

Теперь я окончательно понял: Вождь Ленин для Кобы исчез. И вместе с ним исчез и Коба. Он уже не был тенью Вождя, ибо не было Вождя. Верный Коба умер. Вместо Кобы явился товарищ Сталин, с отличием закончивший ленинские университеты… (Но для меня он остался Кобой до его смерти.)

Когда я уходил, он сказал мне:

— Фотиева сообщила, что Ильич приготовил для меня бомбу. — И показал на несколько листиков, лежащих на столе.

Но в чем заключалась «бомба», Коба не пояснил.

Фотиеву Коба не тронет. Все окружение Ильича погибнет, а Фотиева останется жить.

В 1938 году, когда мой друг расстреливал сподвижников Ильича, он отправил ее на работу в музей Ленина. В музее, окруженная мраморными Ильичами и ретушированными фотографиями, с которых аккуратно изъяли почти всех сподвижников Ленина, она рассказывала экскурсантам о великой дружбе двух Вождей.

Фотиева дожила до девяноста лет. Пережив ленинскую гвардию, она переживет и Кобу. Переживет всех из своего поколения, кроме меня. Только в семидесятых я узнал о ее смерти.

От тех дней у меня остались записи. Но последовательность событий могу перепутать. Вам ее придется проверить.

Воскресший Ильич

Грубый разговор Кобы с Крупской воскресший Ильич тотчас использовал, чтобы избавиться от надзора Кобы. Он написал ему гневное письмо.

Я был в кабинете, когда Кобе его принесли. Он прочел его вслух. Не знаю, позволил ли мой друг сохраниться этому письму в архивах. Так что привожу его (надеюсь, память не подвела):

«Уважаемый т. Сталин! Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу вас взвесить, согласны ли вы взять сказанное назад или предпочитаете порвать между нами отношения. С уважением, Ленин. Копии — тт. Каменеву и Зиновьеву».

Каков боец! Разослав копии членам Политбюро, Ильич взорвал ситуацию. Разве может надзирать за ним человек, с которым он порывает отношения? Но сделал он это напрасно и поздно. Мой друг Коба, как и положено великому шахматисту, просчитал будущие ходы противника. И за пару недель до этого письма попросил Политбюро освободить его от опеки над больным Лениным. Но он отлично знал, что и Зиновьев и Каменев смертельно напуганы попытками больного Ильича встречаться с Троцким (мог возникнуть опаснейший блок обоих вождей Революции!). И они не позволят Ленину уйти из-под строгого надзора Кобы. Так все и случилось. Несмотря на смиренные просьбы Кобы избавить его от контроля за Ильичем, большинство в Политбюро постановило: «Отклонить».

Волею партии Коба останется ленинским надсмотрщиком до смерти Ильича.

Вслед за письмом в кабинете появился один из врачей, приставленных Кобой к Ленину. Он только что примчался из Горок. И торопливо объявил:

— Сегодня ночью Ильич вновь потерял дар речи, только шептал отрывочные слова и звуки. Под утро, к счастью, речь вернулась, но частично.

— Вы знаете, что это такое? — Коба помахал письмом перед носом врача.

— Нет, товарищ Сталин.

— Это письмо товарища Ленина к товарищу Сталину. Зачем мы там вас держим? Вы не имели права давать ему ручку и бумагу! Надеюсь, вы не нарочно это делаете? Надеюсь, вы не сознательно губите Вождя?

Врач побледнел.

— Это не мы, это она… — забормотал он.

— Но спросим с вас. Если это повторится… Помните, вы на боевом посту!

После ухода врача он сказал мне:

— Садись и пиши.

И начал диктовать мне письмо, которое конечно же не хотел доверить секретарям.

«Товарищ Ленин!.. Я сказал по телефону товарищу Крупской приблизительно следующее: „Врачи запретили давать Ильичу политинформацию… Между тем вы, оказывается, нарушаете этот режим, нельзя играть жизнью Ильича…“ и прочее.

Я не считаю, что в этих словах можно было усмотреть что-либо грубое, предпринятое „против вас“. Впрочем, если вы считаете, что для сохранения отношений я должен взять назад сказанные выше слова, я их могу взять назад, отказываясь, однако, понять, в чем тут дело, где моя вина и чего, собственно, от меня хотят».

Это письмо оказалось последним письмом бывшей ленинской тени умиравшему кумиру. Последним письмом исчезающего верного Кобы, который уже превратился в товарища Сталина.

Он сказал мне:

— Поедешь в Горки и доложишь обстановку.

Ехать и докладывать не пришлось. Уже днем позвонили из Горок. Бешенство и ярость после чтения ответа Кобы сделали свое дело. Последовал удар, и Ильич в очередной раз лишился разума и речи.

Мой друг и тут не ошибся с верным ходом.

«Согласны на все…»

Я уехал в Лондон и вернулся в Москву только летом. В Москве стояла несусветная жара. Солнце плавило асфальт и в каком-то кровавом мареве висело над городом. Вожди разъехались по курортам. Коба продолжал просиживать дни в кабинете… Помню, я пришел к нему по своим делам. Несмотря на жару, он сидел за столом в вечном темно-зеленом френче. От него (это часто бывало) пахло потом, он редко мылся. Но никто не смел сказать об этом обидчивому Кобе.

Я мало думал прежде о нашем сходстве. Я к нему привык. А тут будто впервые посмотрел на Кобу со стороны… И отметил: ведь и вправду похожи. Мы оба одинаково небольшого роста, с чересчур длинными руками, коротким туловищем и толстой шеей. У нас одинаково широкие плечи. На самом деле широкоплечий я, а Коба узкоплечий. Но его узкие плечи так не подходят к толстой шее. Поэтому он носит френч с подложенными плечами. И оттого не любит его снимать.

У нас простоватые, «народные» лица с аккуратными чертами — пожалуй, можно назвать их привлекательными. У обоих прямой, немного толстоватый нос, желто-карие глаза, бурые рябинки на лбу, по щекам и даже на подбородке… Только я румяный, а у него лицо бледное, землистое от постоянной работы в кабинете (хотя перед смертью у него появился розовый склеротический цвет кожи). И я — с модными в Германии гитлеровскими усиками над губой, а у него пышные, холеные усы, скрывающие верхнюю губу. И волосы — у него зачесаны назад, а я опроборен по европейской моде. Вот эта прическа и усики здорово скрывают наше пугающее сходство (в дни нашей боевой молодости, когда это сходство нам служило, он тоже иногда носил пробор). Отличны у нас и руки. Мои — большие, мозолистые, с тонкими пальцами. У него же маленькая, почти женская рука с короткими толстыми пальцами… И еще у него родинки под правым глазом и левой бровью. (Когда нам требовалось абсолютное сходство, эти родинки мне приходилось рисовать. Так же как «исправлять» уши… Они у Кобы торчали, и мне при помощи особой гуттаперчевой накладки удавалось создавать такие же уши.)

Я смотрел на него, и у меня возникло странное чувство: будто я смотрел и разбирал… себя!

…Коба усмехнулся:

— Вот получил письмо от наших великих вождей — Бухарчика и Зиновьева. Оторвались, видно, наши вожди от

курортной ебли и вспомнили о деле. Пишут: «Хотя Ильич не умер, но можно считать, что его уже с нами нет». Это они так о живом и любимом Вожде! «И нам надо думать о будущем…» — Повторил: — ***«Нам».*** — И прыснул в усы. — Ворчат, просят поделиться властью. — Добавил насмешливо: — Властью делиться?! Они, интересно, поделились бы с Кобой? — И опять смешок в усы. Он бывал порой очень смешлив, когда мы оставались вдвоем. — Садись, записывай ответ.

Я сел за машинку, и он начал диктовать письмо к Зиновьеву и Бухарину (видно, не хотел диктовать секретарше).

— «Счастливые вы, однако, люди, — диктовал Коба. (В машинке испортилась буква „Ч“ — выходило по-детски: „састливые“.) — Имеете возможность измышлять на досуге всякие небылицы… А я тяну здесь лямку, как цепная собака, изнывая и задыхаясь в жару. Причем я же оказываюсь виноватым. Этак можно извести хоть кого! С жиру беситесь, друзья мои. Действуйте, как хотите, а я, пожалуй, все брошу и уеду тоже в отпуск. Устал, переутомился. Всего хорошего. Ваш Коба».

Я был еще в Москве, когда пришла ответная телеграмма. Коба с усмешкой прочел ее вслух:

— «Согласны на все. Не обижайся. Оставайся. Считай, что все улажено».

…Интересно, когда их расстреливали, вспомнили ли они свое ***«Согласны на все»?***

Помню, тогда Коба засмеялся, презрительно бросил телеграмму в корзину у стола.

— Видишь, как заторопились. Еще бы, вместо болтовни и восторженных блядей — корпеть над бумагами! Не хотят даже ради власти… Как-то в ссылке товарищ Каменев процитировал мне любопытные слова товарища Гамлета: «На флейте трудно играть, а на человеке еще труднее». Но товарищ Гамлет тут сильно ошибся. И мы его поправим. На человеке куда проще, чем на флейте. Люди, как камешки в море, легко обкатываются, Фудзи… И политик, — он поднял поучительно толстый палец, — должен это учитывать. Особенно если знать, что сказал о русских один умный вельможа в восемнадцатом веке: «Нам, русским, хлеба не надо. Мы друг дружку едим и тем сыты бываем». Это в такой же степени касается и жидов, родившихся в России.

Я возвращался домой и думал: и вправду Кобе несложно с ними управляться. Зиновьев, Каменев и Бухарин смертельно боялись одного: что Троцкий станет главой партии. Они все завистливо ненавидели Троцкого и тайно — друг друга. Троцкий открыто ненавидел их всех! При этом Каменев был женат на его сестре, что не мешало сестре… ненавидеть брата! Уверен, в

случае победы они перестреляли бы друг друга, как потом перестрелял их Коба! Потому что мы все были родом из Революции, то есть из крови и ненависти… Так что для всех них оставался единственный подходящий выбор — Коба! Глупцы по-прежнему не воспринимали его всерьез. Они считали Кобу примитивным азиатом, потешались между собой над его смешным акцентом, детскими попытками обсуждать теоретические проблемы. Коба был для них грубым солдатом партии, которым несложно управлять. Самое забавное: то же самое думали о Наполеоне те, кто продвинул его во власть.

Нет, он никогда не был примитивным, мой друг Коба. Он был великим актером, который умел казаться таким, каким хотел видеть его собеседник. На самом деле он был нервный, коварный, ибо действительно — азиат. Но главное его отличие от всех Зиновьевых и Каменевых — это его беспощадная воля к власти! Таковой обладал только Ильич.

Но у нас, у революционеров, борьба за власть — это ***борьба за жизнь.***

Бомба для Кобы

Между тем Ильич еще раз доказал свою невозможную любовь к власти. Произошло невероятное. В разгаре лета умиравший, парализованный Ленин опять пошел на поправку.

Он вновь начал ходить, опираясь на палку, и вновь возвращались речь и разум. Уже передавали знаменитые ленинские ругательства. Уже Зиновьева и Каменева за сношения с Кобой он привычно обозвал «политическими проститутками».

И в октябре, когда я вернулся из Парижа, ночью Коба вызвал меня в Кремль. Там теперь находился его кабинет.

Охранник провел меня по пустому, безмолвному Кремлю…

Коба с трубкой разгуливал по кабинету:

— Вот, работаю по ночам. Сподвижники Ильича, как ты знаешь, отдыхают… И недавно узнал еще об одной благодарности Ленина. — Он перебрал какие-то листочки на столе. — Оказывается, Ильич на случай смерти составил «Письмо к партии». Письмо это должна зачесть Селедка съезду, который соберется после его смерти…

В беседах она называет это письмо «Завещанием Ильича», а чаще — «бомбой для товарища Сталина». В этом письме Ильич просит съезд в благодарность за все, что для него сделал товарищ Сталин, за то, что батрачил на него, жену безденежьем уморил, пока оне благоденствовали в Женевах, за то, что хлеб в голодный год привез в подыхавшую от голода столицу… короче, за все «передвинуть» товарища Сталина с поста Генерального секретаря.

Он подошел к окну. Постоял, поглядел вниз, на часовых, стоявших в свете фонарей у подъезда, и продолжил:

— Товарищу Сталину следовало бы возмутиться… Однако! Однако в этом «Завещании» есть загадочное «но»… Кроме товарища Сталина Ильич в письме дает нелестные характеристики всем остальным руководителям партии. Троцкому, Зиновьеву, Каменеву и так далее. Уничижительные характеристики, прямо скажу. Я переслал копию этого «Завещания» Троцкому. Он тотчас попросил меня… засекретить его. Потому что самым хорошим в этом «Завещании» выглядит знаешь кто? Не догадаешься вовек! Товарищ Сталин! Ильич обвиняет Сталина только в грубости, нетерпимости. И за эту грубость и нетерпимость просит передвинуть с поста Секретаря. Смешно, да? Когда это грубость считалась недостатком большевика? И разве нетерпимость — не главное наше достоинство? Мы революцию делали в Смольном институте благородных девиц, но сами мы не оттуда! При всем почитании

Ильича на основании такого обвинения съезд откажется убрать с поста товарища Сталина. Все знают о наших постоянных столкновениях с Крупской. Так что товарищи попросту решат, будто больным Ильичем руководили личная обида и его жена. Тогда возникает главный вопрос: мог ли Ильич, опытнейший Ильич всего этого не понимать? Ведь «Письмо» составлено сразу после первого приступа, когда мозг его работал на все сто! И пункт второй. Это «Письмо» Ильич приказал хранить в Секретариате в обстановке величайшей секретности… — Коба помолчал, еще походил по комнате. — Но неужели Ильич стал таким наивным? Неужели он мог поверить, что это письмо, эта «бомба», переданная в Секретариат, останется неизвестной товарищу Сталину? Неужели он не понимает, что слуги редко выполняют приказы больных господ? Нет, не мог он этого не понимать. Слишком велик интеллект товарища Ленина. И пункт третий. Требуя «перемещения Сталина с поста Генсека», он почему-то забыл рекомендовать партии, кем заменить грубого товарища Сталина! Но это означает хаос! Неужели Ильич обо всем этом не подумал?! Не мог не подумать… ***Тогда что же это за «Письмо»?*** — Он замолчал и посмотрел на меня.

И я сказал:

— Понял.

— Я думал, ты поймешь раньше. Да, Фудзи, Ильич, даже больной, остался великим конспиратором. Он специально оставил это письмо в Секретариате, понимая ненадежность сотрудников и зная, ***кому*** они его передадут. Это ***не настоящее*** «Завещание» Ильича. Это всего лишь «Завещание» Ленина для товарища Сталина! Чтобы твой друг Коба потирал руки и преспокойно ждал съезда. Но тогда?.. Тогда должен существовать иной текст, ***не для товарища Сталина.*** Подлинная бомба против Кобы. Ты уже понял задание друга?

Я кивнул.

После чего Коба передал мне заготовленный мандат за своей подписью. «Товарищу Фудзи поручается вскрыть опечатанный кабинет Ленина». Мандат следовало предъявить охраннику, дежурившему в ту ночь у кабинета. Коба протянул мне ключ.

— Поищи внимательно в книжном шкафу. Раньше у него была такая привычка. Может, оно лежит и не там. Но без него не возвращайся.

Я уехал домой за инструментами. Это особый набор, он есть у каждого разведчика и у каждого вора-домушника. Уже через час я вернулся в Кремль…

Коба проводил меня на третий этаж Сенатского дворца. Здесь находилась квартира Ильича под многозначительным номером

один и в том же коридоре — его кабинет Председателя Совнаркома.

Коба ушел, а я направился по коридору, соединявшему квартиру с кабинетом. В коридоре стоял молоденький часовой. (В самом начале Ильич доверял этот пост только латышским стрелкам; но уже летом 1918 года там встали кремлевские курсанты, которым для строгости было запрещено говорить с кем-нибудь, кроме своего начальника. Теперь эти времена прошли.) Увидев меня, часовой вытянулся.

— Товарищ Сталин?

В полутьме он принял меня за Кобу. Однако быстро понял ошибку. Я предъявил мандат. Часовой на всякий случай решил позвонить Кобе. Тот подтвердил.

Этого часовому не надо было делать. Утром он сменился, думаю, навсегда!

Я вошел в ленинский кабинет. Не стал зажигать света. Вскоре глаза привыкли. Фонарь хорошо светил с улицы. Умело вскрыл стол, не повредив замка. В ящике лежали семейные фотографии, много пустых конвертов и одеревеневший сухарь белого хлеба. Но ничего другого я там не увидел. Начал искать на книжных полках. Искал долго… Коба не ошибся. На самой верхней полке, заложенный немецким томиком Маркса, прятался у стены объемистый пакет, запечатанный сургучными печатями. Конечно же я не посмел его вскрыть. На ощупь там было полсотни страниц. Ильич любил и умел писать…

Я вернулся в квартиру Кобы. Молча положил пакет.

— Этого я тебе не забуду. — И Коба обнял меня.

Зная характер друга, я понимал, что могут значить эти слова в будущем. Я вздрогнул…

Вечером следующего дня я уехал Берлин.

По возвращении узнал, как развивалась очередная шахматная партия, задуманная великим шахматистом. Сначала слух об исчезновении охранника, дежурившего у кабинета Ильича, дошел до Горок. Ильич, наслаждавшийся чудом — возвращением речи, сразу забеспокоился и потребовал отвезти его в Кремль. Его повезла сестра Маша. В Кремле он прошел в свой кабинет и… не нашел там того, что искал. Видимо, тогда он подумал, что память ему изменила. Он отправился искать в свою квартиру в Кремле. Когда не нашел и там, у него начался приступ ярости. Расчет Кобы оказался правильным — с Ильичем случился новый удар.

Сестра Маша, отвезшая его обратно в Горки, рассказала врачам, что он «чего-то очень важного не нашел в кабинете…»

Слухи о ее рассказах тотчас дошли до Кобы.

Помню, при мне он позвонил в Горки, к телефону подошла

Крупская. Очень ласково Коба спросил:

— До меня дошли какие-то дурные толки. Что случилось в Кремле?

Крупская что-то долго говорила.

— Спасибо за разъяснение. Прошу помнить, что товарищ Сталин всегда к вашим услугам, — сказал он вдруг церемонно. Потом повесил трубку и сообщил: — Товарищ Крупская объяснила ситуацию. Ильич болен и оттого все представляет в несколько искаженном виде. Мария Ильинична иногда слишком некритична к его настроениям. Они обе просят забыть все, что говорила Мария Ильинична… Вот видишь, Фудзи, мы с тобой не правы. Нам не понадобится давать Ильичу другую жену, сойдет и эта! — И он прыснул в усы.

Битва у постели вождя

Накануне смерти Ильича мы с Кобой виделись мало. Я почти все время жил в Европе, где создал обширную сеть «наших друзей». Конечно же я читал газеты. Тогда уже вовсю шла борьба за наследство умирающего Ленина. «Правда» печатала бесконечные дискуссии… Троцкий набросился на руководство партии, то есть на Кобу, Зиновьева и Каменева. Обвинил в том, что оно переродилось в партийную бюрократию, требовал взять «новый курс» — на партийную молодежь (убрать престарелую «птицу-тройку», как он насмешливо называл блок Сталина, Каменева и Зиновьева).

В ответ Коба, к восторгу Каменева и Зиновьева, продемонстрировал силу созданного им нового аппарата: ЦК осудил Троцкого («партийного вельможу», как назвал его Коба).

Население с изумлением читало газеты, не понимая причин столь яростных дискуссий между вчерашними соратниками. Но самое страшное — не понимали тайного смысла происходившего и сами сражавшиеся участники. А происходило неизбежное: мы начали повторять вечный путь Революции.

Бог Революции — языческий бог Сатурн потребовал крови своих сыновей.

Агентурная сеть накрывает Европу

Передвигаться по Европе в двадцатые годы стало просто, и это было очень важно для нашей работы… Никогда люди в Европе не путешествовали так много, как в тот период. Особенно молодежь. Они будто спешили вознаградить себя за все, что потеряли во время войны. И человек счастливо терялся на улице в этом многоязыком потоке туристов…

Особенно легко было работать в Берлине. В Германии закончилась инфляция. Вместо биллионов обесцененных марок вошла в оборот крепкая «новая марка». Все возвращалось к норме. Бары и распивочные, встречавшиеся вчера на каждом шагу, исчезали, бордели ушли в подполье, условия бизнеса нормализовались. Теперь люди могли точно подсчитать (важно для немцев), кто сколько выиграл и сколько проиграл. Конечно же большинство проиграло. И ощущение, что их обманули, что сбережения, нажитые трудом, не просто исчезли, а кем-то присвоены и стали частью чужого несметного состояния, вызывало ярость и у разорившихся обывателей, и у левых интеллектуалов.

Для «леваков» СССР являлся страной осуществленной мечты — здесь не было богачей, этих гнусных мешков с деньгами, и раздражающих вилл миллионеров, не было ненавистной власти денег. Вечно нуждавшиеся западные интеллектуалы жаждали помочь нашей удивительной стране. Я глядел вперед и разными ухищрениями заставлял их подписывать агентурные донесения. И не ошибся. Процессы тридцатых годов в СССР сильно поменяют их настроение, но пути обратно для многих уже не будет.

Однако главными нашими агентами на Западе стали… эмигранты! Тоска по родине, неумение жить за рубежом, нищета и унижения в чужой стране толкали их к нам. Действовало и любимое иррациональное заклинание: большевики пришли и уйдут, но Россия останется. Они мечтали вновь увидеть древнюю матушку златоглавую Москву, византийскую роскошь церквей, услышать неумолчный звон колоколов. Они не знали и не хотели знать, что уже нет ни той Москвы ни тех церквей и давно умолк колокольный звон. Все двадцатые-тридцатые годы в Москве с невероятным энтузиазмом рушили церкви. Мне было странно, что Коба, который должен был стать священником, так беспощадно уничтожал храмы. До сих пор слышу этот грохот и радостный рев многотысячной толпы, когда сбрасывали на землю вековые колокола… Еще не разрушенные церкви превращали в склады. Чего только в них не хранили! Господь и апостолы в алтарях

глядели на кучи мороженой гниющей картошки, на пирамиды из кочанов капусты. Коба велел разрушить и главный московский храм — Христа Спасителя, чью златую главу я видел, подъезжая к Москве…

Храм был огромен, и разрушали его слишком медленно. Кобу это злило. Он приказал взорвать его. Думаю, дело было не только в торопливости. Он хотел, чтобы уничтожение главного храма слышала вся Москва. Это был как бы салют в честь погребения религии. Он поручил снять все на пленку. Вечером при мне Кобе показали съемку. На экране была столица в день разрушения. Транспаранты на зданиях с надписью: «Религия — опиум для народа». И взрывы… один, второй, третий. Чтоб пошумнее было… Медленно, как-то задумчиво, оседала, падала в прах гигантская голова храма… Облако каменной пыли закрыло небо!.. Эту съемку он распорядился показывать в информационных киножурналах, демонстрировавшихся перед фильмами.

Я все-таки спросил его тогда:

— Зачем все это, Коба?

— С тобой не посоветовались, прости, — угрюмо ответил он.

Но однажды, когда я был у него в кабинете, он молча положил передо мной папку.

— Читай.

В папке оказался всего один документ, отпечатанный на машинке на серой, грязноватой бумаге (на такой обычно печатались документы в голодном 1918 году). На нем стоял наш любимый штамп «Совершенно секретно», но сам документ назывался почти дружески: «Указание».

— Читай! — приказал Коба.

И я прочел: «Необходимо как можно быстрее покончить с попами и с религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады». И подпись — «Ленин».

Он молча забрал папку. Вдруг спросил:

— Скажи, Фудзи, правду ли говорят, что ты все записываешь?

Он знал и это! Откуда!? Я никому никогда не говорил, даже жене! С какого-то времени я действительно начал записывать некоторые разговоры, свидетелем которых становился. Отпираться было бессмысленно.

— Очень выборочно — для истории.

— Так вот, запиши для истории: Ильич — гениальный человек. Точнее, был им до болезни. В тысяча девятьсот восемнадцатом году все колебались, что делать с царской семьей.

К примеру, Троцкий хотел открытого суда. Ну понятно — жид-балаболка решил покрасоваться на суде. Свердлов предлагал их обменять на валюту. Ну понятно — жид, сын торгаша!.. Ильич спокойно предложил: расстрелять. Причем всю семью. И сына и дочерей. Жестоко? Да! Но тогда в дни наших поражений необходимо было сплотить партию. И вправду после этого расстрела все поняли: нас ждет победа или возмездие. И это действительно сплотило ряды, заставило биться до конца! Понимал Ильич и то, как опасна прежняя религия. Ибо у нас есть новая. Марксизм — наша религия. И как всякая религия, она ревнива. Она не терпит соперничества. Это запиши, но дальше — все! Более никаких записей… чтобы товарищу Сталину не пришлось… Ты понял?!

Он замолчал. Потом добавил:

— Новая религия не может быть без Бога. России нужен новый Бог… — Он помолчал и добавил: — Бог и царь… Как из века в век!

Вознесение Боголенина

Вскоре на моих глазах Коба придумал удивительный обряд. Умиравшего Ильича начали навещать представители самых разных профессий. Одну такую встречу мне довелось увидеть.

В Москву приехал наш агент Ф. — немецкий профессор, истинный фанатик Ленина (таких тогда было множество среди европейских интеллектуалов). Я решил порадовать его встречей с любимым Вождем…

В тот день больного Ильича посещала группа красноармейцев, и мы с профессором присоединились к ним. Встреча должна была состояться во время его ежедневной прогулки.

Нас выстроили в конце асфальтовой дорожки. Отсюда был виден великолепный дом с колоннами, принадлежавший знакомому мне Савве Морозову. От дома по направлению к нам двигалась процессия. Огромного роста чекист, переодетый санитаром, вез коляску. Рядом шла сгорбленная седая старушка с выпученными базедовыми глазами — Крупская. В руках у нее была большая корзина.

В коляске (как же ужасно было увидеть это!) вместо стремительного, лобастого Ильича полулежал счастливый идиот в нелепо съехавшей набок кепке. На лице его застыла блаженная улыбка. Он был занят любимым делом — собирал грибы. На рассвете их набрали в лесу и аккуратно высадили в вырытые ямки вдоль дорожки, по которой сейчас катили коляску. В руке у Ильича была палка. Коляску катили медленно, и Ильич, довольно мыча, сбивал палкой грибы, а Крупская клала их в корзину… И вдруг лицо Ленина исказилось, и он с ненавистью разбил палкой очередной гриб! Страстно, грозно замычал, и мы явственно услышали сквозь мычанье: «Ерт! ерт! ерт!»

Это было «черт». Он, видимо, понял, что грибов слишком много и, едва тронутые палкой, они как-то быстро валятся. Сообразил — надувают! Эта недооценка его разума вызвала бешенство! Все в нем уже умерло, но остатки великого интеллекта угасали последними.

Крупская что-то сказала санитару. Коляску развернули и вновь подвезли к нашей группе. Остановили.

Из группы тотчас вперед вышел красноармеец. Он вытянулся перед коляской, вынул бумажку, разгладил ладонью, как-то причмокнул и торжественно начал читать:

— «Дорогой Ильич, от имени нашего Третьего кавалерийского полка нашей героической Красной армии навеки

зачисляем тебя в почетные кавалеристы…» — И дальше вместо привычного пожелания выздоровления он прочитал довольно странный текст: — «Пусть ты скоро уйдешь от нас, но навечно останешься в одном строю с нами, доблестными красноармейцами», — оптимистически пообещал он.

Однако Ленин не слушал, он продолжал размахивать палкой, грозно мычал, тыча туда, где лежал последний поверженный им гриб. Он бунтовал, требовал возмездия! Его увезли…

Мой профессор был в ужасе. Он конечно же не смог оценить фантастический замысел вчерашнего семинариста Кобы, который осуществлялся на наших глазах.

Но я его начал понимать. В газетах описывалось, как ежедневно к умирающему в Горках Ленину приходят самые разнообразные делегации, направленные неутомимым выдумщиком Кобой.

Режиссер Коба, поставивший великое зрелище — встречу Вождя на Финляндском вокзале, представил новое зрелище — проводы Вождя на тот свет.

После героической армии Ильича посетил любимый пролетариат. Вечный персонаж тогдашних делегаций — «старый рабочий» — от имени мирового пролетариата произнес очередную клятву-эпитафию: «Я кузнец, Ильич. Но когда ты уйдешь от нас, мы клянемся выковать намеченное тобою. Мы построим новый мир!»

Профессор, читавший об этом в газетах, приставал ко мне с вопросами, говорил о бессердечности таких посещений несчастного больного. Но я не мог объяснить западному радикалу и конечно же атеисту слова Кобы: «России нужен новый Бог».

Сейчас мой друг осуществлял величественный обряд — вознесение на небеса большевистского Бога, которому присягает страна. Взамен ниспровергнутого большевиками Господа он решил подарить нам нового атеистического — Боголенина.

Я окончательно понял это, когда по стране пополз фантастический слух: Ленина решили не предавать земле, а мумифицировать. Тело выставят в специально воздвигнутом Мавзолее, и трудящиеся смогут его посещать, как прежде посещали в церквях мощи нетленных святых.

Уезжая в Берлин, я спросил Кобу:

— Как здоровье Ильича?

Коба помолчал. Потом ответил:

— Старик мучается. Селедка приходила ко мне просить яда. — Странное выражение блуждало на его лице. Он повторил: — Мучается старик… Но товарищ Сталин не даст яд своему другу Ленину. Пусть этот вопрос решает Политбюро.

Уходя, я все-таки сказал:

— Ходят невероятные слухи, будто мертвого Ильича не положат в могилу, а выставят в некоем Мавзолее на обозрение трудящихся.

Коба молчал и презрительно глядел на меня.

— Но это невозможно! — воскликнул я.

Коба произнес важно:

— Мижду нами говоря, миру пора уже привыкнуть: товарищи большевики любят творить невозможное.

В это время в кабинет вошли Зиновьев и Каменев. Благообразный Каменев — с седой бородкой, типичный университетский профессор, и Зиновьев — с всклокоченными волосами, нервный, вечно возбужденный, этакая пародия на Троцкого, только с жирным бабьим лицом. Они вошли, помолчали, выразительно глядя на меня.

— Фудзи — наш человек, — сказал Коба.

После некоторого колебания разговор начал Зиновьев. Говорили они, ***пропуская*** главные слова, но понять пропущенное было несложно.

Каменев:

— Какие известия… (из Горок)?

Коба:

— В любой момент… (может умереть). Вопрос часов или ближайших дней.

Каменев:

— У нас есть достоверное сообщение: к нему собирается вельможа… (Троцкий). Ловкий господин хочет вложить в уста… (умирающего любые угодные «последние слова»).

Коба молчал, курил трубку.

— В твоих возможностях все это предотвратить, — поторопился Зиновьев.

— Скорее в ваших, — возразил Коба. — Предложите… (на Политбюро) постановление об абсолютном покое… (Ильича). После посещения бесконечных делегаций… (Ильич) очень ослаб. И контроль за исполнением решения попросите возложить… (на товарища Сталина). Одновременно обсудим вопрос о похоронах… (Ильича).

— Я представляю, каким бенефисом будет… (смерть Ильича для Троцкого). Какие высокопарные речи нас ждут, — заметил Зиновьев.

— Нас ничего не ждет, — мрачно сказал Коба. — Как говорит русская пословица: «Утро вечера мудренее».

Был рассветный час, когда по приказу Кобы я привез в Кремль врача, лечившего Троцкого. Коба просил меня сурово молчать в

дороге. Так что врач был очень напуган, когда я ввел его в кабинет.

— Как здоровье товарища Троцкого? — ласково спросил Коба. — В последнее время оно очень тревожит Политбюро. Нам кажется, что товарищ Троцкий истощен непомерной работой, не так ли?

Врач испуганно согласился и начал что-то говорить, но Коба его прервал:

— Не кажется ли вам, что следует незамедлительно рекомендовать товарищу Троцкому отдых на юге?

Врач нервно закивал.

— Завтра вы все это подробно расскажете на заседании Политбюро. Надеюсь, вам не надо объяснять, что ваш приезд сюда…

Врач снова торопливо кивнул.

— Запомните: от вашего выступления очень многое зависит…

Он не добавил: «В вашей жизни». Но отвозивший врача обратно начальник охраны Кобы, думаю, ему это объяснил.

Я был на том заседании Политбюро. Мой вопрос значился последним, и Коба поручил мне кратко стенографировать заседание.

В начале выступил Зиновьев и предложил:

— Мы должны строго-настрого запретить беспокоить визитами слабого Ильича. И в первую очередь запретить это самим себе…

Приняли единогласно. Ответственным по предложению Каменева был назначен конечно же Коба.

Следующим выступил Коба.

— Нам дорого здоровье не только товарища Ленина. Нас беспокоит здоровье и другого нашего вождя — товарища Троцкого. Особенно теперь, когда нас может покинуть Ильич. К сожалению, товарищ Троцкий варварски, не по-партийному относится к своему самочувствию. Именно об этом вынужден был сигнализировать в Политбюро его личный врач. Я предлагаю заслушать врача товарища Троцкого.

Выступил врач с подробным описанием болячек Троцкого и рекомендациями незамедлительного отдыха. Заботливым постановлением Политбюро Троцкому предлагалось срочно выехать на лечение и отдых в Сухуми. Мне показалось, Троцкий… был растроган!

После чего Коба вновь попросил слово — сообщил о многочисленных письмах «товарищей из провинции»:

— Нам пишут одно: «Не хотим расставаться с любимым Ильичем, даже если, не дай Бог, он умрет». Думаю, есть смысл

указать товарищам на отсутствие Бога. — Смех. — Но тем не менее мы не имеем права не думать о возможном уходе от нас Владимира Ильича, об этих многочисленных требованиях простых людей, рядовых членов партии. Товарищи простодушно пишут в письмах: «Если что… не хороните нашего Владимира Ильича. Необходимо, чтоб Ильич физически оставался с нами. Товарищ Ленин очень любил простых людей. Как же нам, простым людям, жить без него?!» Я думаю, есть смысл попытаться удовлетворить эти народные пожелания.

— Я не понял, — изумился Троцкий, — как же вы собираетесь сделать это?

— Очень просто… точнее, очень непросто, Лев Давыдович. Мы бальзамируем тело Ильича.

— То есть как бальзамируете? — продолжал изумляться Троцкий. — Вы что же, в двадцатом веке собираетесь превратить Ильича в нетленные мощи?

— Я думаю, мы проголосуем, — спокойно сказал Коба.

Все, кроме Троцкого, проголосовали за такое предложение.

— По-моему, это чудовищно! — заявил Троцкий.

— Это только по-твоему, — насмешливо ответил Зиновьев.

Коба промолчал…

Когда все разошлись, он сообщил мне:

— Возникла небольшая проблема. Ты был знаком с Парвусом. Последнее время он нас беспокоит. Придумал приехать к нам за благодарностью… Ильич слышать об этом не хотел. Но Парвус грозит. Неумный оказался человек. Видно, постарел…

Я молчал.

— Ильич очень беспокоился. — Коба усмехнулся. — Я хотел бы успокоить Ильича…

Но успокоить его он не успел. Пока я готовился ехать в Берлин, Ленин умер.

Коба подготовил величественную церемонию. Сначала к радости остальных вождей обманули Троцкого: ему телеграфировали в Сухуми, где он лечился, что похороны будут на следующий день, то есть он не успевал приехать. На самом деле похороны состоялись 27 января, однако ненавистный Лев не смог продемонстрировать свое красноречие над гробом.

Для Ильича построили временный склеп. Ночью в центре Красной площади промерзшую землю взорвали динамитом, образовалась трехметровая яма. Над ней в центре площади воздвигли странное сооружение — временный Мавзолей для тела Ленина. Это был уродливый грязно-серый деревянный куб с надписью, выложенной черными брусками, — «ЛЕНИН». По бокам куба стояли будки с часовыми, охранявшими вход и выход.

Я был в Колонном зале, когда в девять часов утра Коба, Зиновьев и, конечно, представители любимого Ильичем пролетариата — несколько простых рабочих — вынесли гроб с телом Ленина на улицу.

Его понесли на Красную площадь. Я последовал за процессией.

На Красной площади траурную эстафету приняли другие любимцы Ильича. Пар валил на морозе. Разожгли костры прямо на площади. Еле видные в морозном дыму Каменев, Рудзутак и Томский установили гроб на деревянном помосте перед кубом-склепом. В морозном облаке перед гробом прошли маршем, этакими призраками, красногвардейцы. После плохо слышных на морозе речей вождей глава комиссии по похоронам Дзержинский и все будущие убиенные Томский, Зиновьев, Бухарин, Каменев, Рудзутак вместе со своим будущим убийцей Кобой внесли гроб во временный склеп.

Помню, как вошел туда я…

Внутри в мерзлой яме в гробу под стеклянной крышкой лежал Ильич.

Коба велел украсить его наградой, на груди у него красовался орден Трудового Красного Знамени и значок члена ВЦИК.

Орден на Ильиче вызывал недоумение, ибо он всегда был категорически против награждений самого себя и никаких орденов не имел. Но поэт Коба нашел поэтический выход: оказалось, некий герой гражданской войны, проходя мимо Ильича, снял с себя награду и возложил на грудь любимого Вождя.

Вернувшийся в Москву обозленный Троцкий выяснил, что это был орден, которым недавно наградили Клару Цеткин. Автор идеи Международного женского дня находилась в Берлине и не успела получить его. Орден оказался свободным.

Прощание с Парвусом

Почти через год после смерти Ильича мне удалось пробиться к Парвусу.

Я приложил много трудов. Сначала сообщил Толстяку, что добрый Ильич перед смертью просил разрешить ему въезд в СССР, что у меня есть для него приглашение. Недоверчивый (точнее, хорошо нас знавший) Парвус все колебался.

Наконец согласился встретиться…

Он жил на острове на озере Ванзее.

Озеро Ванзее — райский уголок в окрестностях Берлина, место отдыха горожан. На озере — два острова. Великолепная вилла Парвуса стояла на меньшем — Лебедином острове.

Дверь мне открыл дворецкий. Он провел меня в кабинет…

У камина стояли два кресла, на одном сидел Парвус, второе было для меня. Я не видел его восемь лет. Парвус изменился. Он еще больше, безобразнее растолстел, и теперь жирное чудовище не помещалось на обычном стуле. Он сидел на специально сделанном для него двойном кресле, тяжело, со свистом дышал. Огромный подбородок висел, будто манишка, закрывая грудь.

Я еще раз сообщил Толстяку, что его просьба удовлетворена и ему дадут визу. Он поблагодарил, но предупредил, чтоб с ним не шутили. Если что-нибудь с ним случится в СССР, тотчас будут опубликованы документы о получении нами немецких денег…

Далее все было просто и скучно. Он пил чай, когда я захотел ознакомиться с документами. Он встал и отправился за бумагами.

И получил мою добавку к чаю. (В нашей лаборатории ядов создали первый бесследный яд, о котором расскажу в дальнейшем. Этот неопределимый в организме яд провоцировал «событие» уже через час.)

Он допивал чай, пока я читал его опасные документы — просьбы Парвуса о выделении денег Ленину и нашей партии, сообщение немецкого штаба о перечислении этих денег. Прочитав, вернул бумаги, тепло простился с Парвусом.

Ночью мои люди посетили виллу и документы изъяли.

Парвус, недвижный, лежал в кресле и смотрел незрячими глазами на то, как аккуратно открывали сейф, вделанный в стену в его кабинете. (Он оказался предусмотрителен. Изъятые документы оказались копиями. К сожалению, подлинники неприятных бумаг, как я уже писал, хранились в немецких архивах и будут опубликованы после войны.)

Известие о смерти Парвуса я прочитал в газетах. Газеты сообщали, что он умер от обширного инфаркта 12 декабря 1924

года.

Газеты эти я сохранил.

Я вернулся в Москву в начале 1925 года.

Коба вызвал меня в Кремль в полночь. Теперь он окончательно переключился на работу ночью, и ночная жизнь стала для него дневной.

Я уже знал, что на первом после смерти Ленина съезде Коба единогласно был переизбран Генеральным секретарем. Мне было очень интересно услышать от него, что произошло на съезде. И я все танцевал вокруг да около… Наконец он заговорил сам.

Начал насмешливо:

— Товарищ Крупская торжественно передала съезду «Завещание Ленина», где он просил убрать товарища Сталина с поста Генерального секретаря. Мижду нами говоря, все товарищи вожди были против чтения письма Ильича съезду, — (еще бы, он их там так поносил!). Догадываешься, кто настоял? Товарищ Сталин. Когда письмо прочли, в зале было большое недоумение. Почему дорогой Ильич ругает всех вождей, никого не предлагая взамен? Почему надо гнать товарища Сталина из Генсеков, если его не в чем упрекнуть, кроме грубости? И отчего это утверждение, будто «товарищ Сталин сосредоточил власть в своих руках»? Ведь все знали, что это товарищ Ленин придумал сосредоточить власть в своих руках руками товарища Сталина. Всем было неловко. Выходило, что за политическими нападками стояла простая обида жены Ильича. — Коба прыснул в усы и продолжил: — И тогда товарищ Каменев высказал то, что думали все: «Болезненное состояние дорогого Ильича не позволило ему быть справедливым. Стоит ли разбирать предложение больного Ильича?» И кто ему тотчас возразил? Товарищ Сталин ему возразил: «Нет, — сказал товарищ Сталин, — воля Ильича для меня священна. И я прошу об отставке». После чего товарищи вожди в ужасе посмотрели друг на друга. Мижду нами говоря, товарищи вожди ненавидят друг друга. Они насмерть перепугались, что кто-то из них займет место товарища Сталина. ***Единодушно*** упросили товарища Сталина остаться. Товарищу Сталину пришлось выполнить их просьбу. — Надо было слышать, с каким печальным вздохом он произнес это ***«пришлось».*** — Что касается болезненного состояния Ильича… При вскрытии одно полушарие было здоровым и полновесным, другое так сморщилось, что стало не больше грецкого ореха…

Коба задумался, и я увидел, как он постукивает трубкой по столу. Так бывало всегда, когда некая опасная мысль овладевала им…

Он походил по кабинету и сказал:

— Сходи в Мавзолей. Товарищ Сталин дал задание ученым, просил их работать день и ночь. Ты увидишь, как они выполнили беспрецедентное бальзамирование к открытию первого партийного съезда без Ильича. Товарищ Сталин сам повел депутатов встретиться с любимым Ильичем в Мавзолее. Они пришли. И что сказал брат Ильича? «Это невероятно! Ильич живой… будто спит!» И заплакал. Вот так товарищ Сталин подарил делегатам встречу с Лениным. Вот так мы, большевики, опять победили… Керенского победили, белых генералов, голод! И теперь мы победили саму смерть! Запиши все это в своих Записках… Но еще раз предупреждаю: прекрати их писать.

— Скажи, Коба, тебе не кажется, что этот Мавзолей жалко смотрится на Красной площади рядом с великолепным православным храмом? И когда люди видят это…

— Хорошие люди видят то, что им разрешает видеть партия. С плохими разберемся. Что же касается внешнего жалкого вида… Скоро перестроим. Мавзолей будет сделан из самых драгоценных материалов. Он станет воистину великим храмом, где лежит вечно живой Ильич, — закончил Коба важно.

Утром я пошел в Мавзолей. Ильич действительно лежал совершенно живой в своем зеленом френче. Он мирно спал. Послышались осторожные шаги. Это пришла поклониться Ленину очередная делегация Коминтерна…

Делегацию вели оба ученых, создавших мумию. Один был типичный русский барин, дородный, вальяжный, этакий толстовский Стива Облонский, другой — совсем молодой и тоже типичный — еврей с гривой иссиня-черных волос.

Стараясь не дышать, делегация встала вдоль саркофага.

— Я слышал, товарищи, что многие из вас говорят, будто мы попросту сделали восковую куклу, — сказал молодой ученый и нажал какую-то кнопку.

Стеклянная крышка саркофага приподнялось. Теперь голова Ильича лежала на подушке совсем рядом со мной и делегацией.

И тогда молодой как-то по-свойски ущипнул Ильича за нос. После чего легонько повернул голову мертвеца направо и обратно. Это был не воск. Это был Ильич, воинствующий атеист, ненавидевший Бога и теперь превращенный моим другом Кобой… в святые мощи!

В сетях «Треста»

Все это время я жил в Берлине и Париже, участвуя в операции «Трест».

Операция шла блистательно. Как бывает с непрофессионалами, Якушев действовал безукоризненно. В существование могущественной подпольной монархической организации поверили все столпы борьбы с нами. В «Трест» верил сам глава РОВС (Русский общевоинский союз) генерал Кутепов.

Вскоре первые крупные рыбы попались. И какие!

Как я уже писал у «Треста» были две ближайшие цели: заманить двух знаменитых врагов Советской власти — английского шпиона Сиднея Рейли и легендарного Бориса Савинкова, бесстрашного эсера, убийцу великого князя Сергея Александровича. Уверен, это был приказ Кобы. Он боялся этой парочки. Боевик Коба понимал, на что способны бесстрашные и беспощадные убийцы.

Савинков клюнул на удочку довольно быстро. Он засиделся без опасностей. Для прирожденного террориста жизнь начинается у края пропасти…

Его хороший знакомый князь Х. (мой давний агент в Париже) посоветовал ему выйти на князя Д., у которого будто бы были дела с «Трестом». Так состоялась моя встреча с Савинковым в парижском кафе «Ротонда», где при царе собиралась большевистская эмиграция, а теперь, при большевиках, эсеро-белогвардейская.

Я рассказал Савинкову, что по семейным обстоятельствам мне пришлось нелегально бывать в СССР. Причем дважды я пересекал границу при помощи людей из «Треста». Однако умелая легкость, с которой они это делали, внушает мне большие подозрения… Это или действительно мощнейшая подпольная организация, или мощнейшая гигантская провокация. И пока это не станет окончательно ясным, я посоветовал Савинкову оставить столь опасное предприятие.

Излишне говорить, что моя осторожность его только раззадорила. В Россию потянулись эмиссары Савинкова проверить сведения о «Тресте»… Первого, Ш., мы арестовали. Как и предполагалось, он согласился сотрудничать с нами. Ему продиктовали нужные письма, которые он отослал Савинкову. Следующего савинковского посланца (кажется, по фамилии Фомичев, но лучше проверить) представитель «Треста» долго возил по «нелегальным квартирам». Он встречался с настоящим членом Всероссийского центрального исполнительного комитета,

причем в помещении ВЦИК. Было решено дать этому Фомичеву возможность благополучно вернуться во Францию. Накануне отъезда в Париж в ресторане «Метрополь» ему устроили встречу с первым эмиссаром Ш. Надо сказать, что Ш. сыграл свою роль с большим энтузиазмом. Он был весел, много шутил, рассказал, что приготовил отличные нелегальные квартиры для шефа в обеих столицах. Короче, старательно зарабатывал право на жизнь.

Но благополучнейший рассказ вернувшегося эмиссара почему-то встревожил Савинкова. Видно, чутье старого террориста подсказывало, что все излишне идиллично! И он послал своего ближайшего помощника, полковника Павловского, для последней проверки. Мы повторили операцию с Ш. — арестовали Павловского. С ним пришлось повозиться. Но в конце концов и он в обмен на жизнь согласился сотрудничать. Впрочем, здесь присутствовал не только страх смерти. Это было все то же: жизнь на чужбине опостылела… Короче, он написал Савинкову письмо о том, что нелегальная квартира действительно готова и они с Ш. будут ждать его на границе, где у «Треста» есть безопасное «окно».

Но Савинков по-прежнему колебался.

И тогда в Париж вернулся я. Дело в том, что при Савинкове у меня состояла сладкая парочка агентов — муж и жена. Муж — его сподвижник по террору (убивавший когда-то Гапона), а жена… У Савинкова была особенность — он влюблялся в жен своих друзей и, как правило, жил с ними. Теперь он жил с этой красоткой. Мужа она не бросила, но их союз стал теперь идейным. Оба задыхались в эмиграции, зверели от речей парижских монархистов. Завербовал я их довольно легко — обещал возвращение на родину и хорошую работу там, если сумеют все это заслужить здесь.

Для начала приказал окончательно склонить Савинкова к поездке в СССР и вместе с ним перейти границу. Это должно было стать их индульгенцией по возвращении в СССР.

Сперва она отказалась. Пришлось угрожать обнародованием нашей с ними связи. К тому же я пообещал ей: если арестованный Савинков признает советскую власть, его помилуют — ведь он великий революционер. И они втроем, припеваючи, заживут на родине… Вынудил согласиться.

Вскоре дело было сделано: моя сладкая парочка уговорила его. Савинков решился. Вместе с этой «святой троицей» границу должен был переходить я.

Но мне следовало сохранить лицо после их будущего ареста. И я, князь Д., в присутствии нескольких наших общих знакомых в кафе «Ротонда» продолжил отговаривать Савинкова от поездки.

Я хорошо изучил его характер. Он был непреклонен, если что-то решил. Как и я… когда-то. Он, как и следовало, назвал меня трусом и предложил мне выйти из игры. И тогда, «скрепя сердце», я согласился отправиться с ними.

В СССР переходили вчетвером через «окно» на польско-советской границе.

И когда переходили, началась стрельба. Я упал «раненый», их троих взяли. По дороге представление продолжилось: конвоиры остановились на ночлег с арестованными в приготовленной нами избе, сотрудник ОГПУ сыграл роль представителя «Треста»… Он «тайно» передал Савинкову бумагу и карандаш. Сообщил, что я ранен, но сумел бежать, что наш провал есть результат предательства одного из людей «Треста». Он взялся переправить письмо Савинкова в Париж. Савинков написал письмо ко мне, сообщил о своем пленении и пожелал мне удачи, коли я остался жив.

Теперь я мог действовать дальше. Я вернулся в Париж с рукой на перевязи и рассказом о несчастном Савинкове. Сказал, что по-прежнему не верю в «Трест», хотя они клянутся спасти Савинкову жизнь.

В это время арестованного Савинкова уже везли в Москву…

Его доставили на Лубянку. С первых дней ареста в игру вступил отец «Треста» Менжинский. Он был знаком с Савинковым в царские времена.

Менжинский явился к нему в камеру, объявил, что добьется отмены приговора, каким бы он ни был. «Будет безумием, если знаменитого революционера расстреляют в стране победившей Революции… Как бы вы ни относились к нам, вы не можете отрицать, что мы революционеры!»

После чего исполнили знакомый уже номер. Савинкова начали привозить на квартиру Менжинского. И опять полусогнутый Менжинский предложил все из меню обольщения: играл Моцарта, читал Омара Хайяма… Заодно доказывал, что большевики нынче исполняют мечты и программу эсеров — партии Савинкова.

В августе состоялся знаменитый суд над Савинковым.

Савинков признал свое поражение в борьбе с Советской властью. Свою речь на суде он начал знаменитым вступлением, которое перепечатали газеты всего мира: «Я, Борис Савинков, член бывшей Боевой организации социалистов-революционеров, друг и товарищ Егора Сазонова и Бориса Каляева, участник убийства Плеве и великого князя Сергея Александровича, участник многих террористических актов, всю жизнь работавший только для народа и во имя его, обвиняюсь ныне

рабочекрестьянской властью…»

Савинкова приговорили к смерти. Он выслушал приговор спокойно-насмешливо. Он уже был приговорен в свое время к смерти царским судом.

И вскоре Верховный суд ходатайствовал перед ВЦИК о смягчении приговора. Расстрел отменили. Заменили приговором — десять лет. Менжинский, продолжая игру, сообщил Савинкову, что и тюремный срок отменят. Ведь такие люди, как Савинков, нужны советской власти. Между прочим рассказал, что меня все-таки схватили и я сижу здесь же, на Лубянке. Меня в тюремной одежде провели мимо камеры Савинкова. Он смог увидеть меня через глазок. Менжинский сообщил ему, что меня на днях расстреляют. Савинков попросил заступиться. Менжинский обещал, хотя заметил, что заступаться за князей в стране революции не принято. Но вскоре сообщил, что я помилован… из уважения к Савинкову. В конце концов убитый постоянным благородством вчерашнего врага Савинков сказал: «Воля народа — закон. Прав он или не прав, я всегда ему подчинялся». И заявил: «После тяжкой, долгой и кровавой борьбы с советской властью, в которой я сделал, может быть, больше, чем другие… я признаю безоговорочно советскую власть и никакой другой».

Его перевели в камеру, похожую больше на гостиничный номер, стали выводить на прогулки. В камеру приходила и она — парижская любовница.

Но вскоре меня вызвал в свой кабинет Ягода. Он сообщил, что Савинков не хочет разоружаться и сотрудничать! Ему предложили одно дельце. Отказался. Предложили сдать свою сеть. Отказался!

— И вот что я придумал, — сказал Ягода. — Мы покажем Савинкову… тебя! И расскажем, что ты, бесстрашный князь Д., согласился работать с нами! Это будет для него потрясением.

— Не выйдет.

Ягода только улыбнулся:

— Знаю. Это не моя идея. Но если это не выйдет, тогда поговорим с ним по-другому. Хватит с ним цацкаться!

Я услышал голос Кобы!

Ягода ушел хмурый. Ночью мне позвонил Коба:

— Тебе передали?

— Савинков не тот человек. Он не будет предавать своих. История со мной у него не пройдет, он все поймет. С ним надо совсем иначе.

Коба сказал по-грузински:

— Что значит — не будет? Не будет — заставим. Мижду нами говоря, слишком с ним цацкаются. Комната с коврами, даже его

блядь приводят. Может, он у вас в санатории? Буржуазные разведки не стыдятся пользоваться пытками, почему у нашей, пролетарской, такие слабые нервы? Ладно, задание получил — исполняй.

Финал наступил в день, когда я исполнил задание. Дело происходило в кабинете Пилляра, заместителя тогдашнего начальника КРО (контрразведывательного отдела). Точно помню число: 7 мая 1925 года (но все-таки проверьте).

Савинкова привели с прогулки. Его теперь ежедневно возили по городу — соблазняли волей. После чего в кабинете Пилляра он обычно пил чай, пока ждал охрану — для возвращения в камеру.

В тот день его возили, кажется, в Царицыно…

Его сопровождали несколько человек охраны, двое привели его в кабинет Пилляра и теперь ждали под дверью.

Принесли, как обычно, чай. Но чая он не пил. Стоял у окна, разговаривал с Пилляром, когда вошел я. Я ничего не успел сказать.

Он усмехнулся и, продолжая смотреть в окно (окна выходили во внутренний двор), заговорил:

— Кого я вижу… Вас поставили мне в пример. Сказали, что вы раскаялись. Я им ответил, что вы раскаялись, видимо, намного-намного раньше. К сожалению, я этого тогда не понял… — Он был в бешеном возбуждении. Меряя большими шагами кабинет, продолжал: — Значит, вы тоже! Значит, и она тоже? Конечно! И она тоже. И муж тоже! Все — тоже! — Он ходил по комнате все быстрее и быстрее и говорил, говорил: — Сегодня, дорогой князь, ваш руководитель соблазнял меня будущей работой. Я объяснил товарищу, что просто не знаю, чем мне ***у вас*** заниматься. Занять его скромную должность мне как-то маловато… — (самое смешное: Пилляр смотрел на него, выпучив глаза; он решил, что тот всерьез), — а вот другой товарищ, повыше, пришел ко мне в камеру и предложил «убрать»… он так приятно называет убийство… убрать Троцкого! — (Ягода! Так вот, чего хотел от Савинкова мой друг!) — Я говорю: зачем это делать мне? Вы скоро сами его уберете! И тогда он осмелился мне угрожать, — засмеялся. — ***Он — мне!*** Когда эта мразь фармацевтом служил, я со смертью в прятки играл!

Тут я перехватил его взгляд, направленный в окно. Я уже понял, что он хочет сделать, и… не посмел ему помешать. Кабинет находился на пятом этаже. В этом кабинете когда-то были балкон и балконная дверь. Теперь балкон снесли, дверь была наполовину заложена. Образовалось небольшое окно (чуть выше уровня стола) с низким подоконником, оставшимся от балконной двери… Думаю, он давно все рассчитал. Его ведь

после прогулки всегда приводили сюда.

Он заметил, куда я смотрю.

— Да… пора на волю. — Он засмеялся и вдруг одним движением бросил свое тренированное тело в окно — головой вперед. Пробив стекло, полетел на улицу с пятого этажа… Так он оказался на воле — на асфальте в луже крови.

Пилляр в оцепенении остался стоять у стола.

…В 1937 году Коба расстреляет и верного Пилляра.

Был схвачен и мой английский коллега, знаменитый шпион Сидней Рейли. Безумная биография, достойная нашего безумного века!

Еврей Розенблюм, рожденный в Одессе, он стал агентом английской разведки. Сменил множество имен и кличек, приобрел английское имя Рейли, но оттопыренные уши и необоримый одесский акцент оставались у него до смерти. Он считался непревзойденным мастером убийств. Делал это весьма разнообразно — мог застрелить, задушить, отравить… Ни один шпион в истории английской разведки не обладал таким легендарным влиянием. Этот человек начал свою войну против нас. Он искренне нас ненавидел. После нашей революции объявил: «То, что происходит в России, страшнее и важнее всех войн, которые вело человечество. Эту войну мы должны выиграть. Мерзость, народившуюся в России, мы уничтожим любой ценой! Человечество должно объединиться против этого полночного ужаса».

В 1918–1919 годах он организовал в России несколько дерзких и, слава богу, безуспешных заговоров. В его заговоре участвовали дипломаты Англии, Франции и США. Он собирался арестовать Троцкого и Ленина, вывезти их в оккупированный англичанами Мурманск. Заговор провалился, он бежал, заочно был приговорен к расстрелу. Ленина и Троцкого он не вывез, но сумел благополучно вывезти из России Александра Керенского, с которым очень хотели расправиться и мы и белые. Я видел Рейли в Лондоне в ресторане. Не запомнить его лицо было невозможно (что опасно при нашей профессиии). Это было узкое беспощадное лицо с высоким покатым лбом и мертвыми, неподвижными глазами…

Мы попытались его убить в Париже, в отеле «Риц», но исполнителя нашли задушенным в номере. Его пистолет Рейли положил ему на лицо.

В это время он вел себя слишком шумно, писал книги о себе и вообще помешался на собственной славе. Английская разведка отстранила его от своих операций. Он успешно занялся бизнесом, женился, выходил в свет, дружил с самим Черчиллем, но, как я и

предполагал, тоже сгорал от скуки и жажды действовать. Они с Савинковым были одной породы. Здесь и таилась их западня. Я сообщил о его «муках»…

«Трест» вышел на Рейли. И великий шпион клюнул на удочку «Треста».

Несмотря на провал Савинкова, Рейли верил (точнее, хотел верить) в существование «Треста».

Особое впечатление произвела на него встреча с некоей Марией З.

Дело в том, что «Трест» сумел вступить в переписку с Кутеповым. Его доверреннейшее лицо — Мария З. — приехала в Союз вместе со своим мужем, белогвардейским офицером Р. Тот был моложе ее, видно, очень ее любил, она открыто помыкала им. Стройная, высокая, сухая, со следами удивительной иконописной красоты… Успела закончить столь близкий нам, большевикам, Смольный институт благородных девиц.

Она была женщина-ртуть. Горела жаждой действовать. С началом гражданской войны пылко включилась в кровавую круговерть. Как и другая смолянка, атаманша Маруся, Мария З. прославилась беспощадными расстрелами и безумной храбростью. Награждена Георгиевским крестом. Я редко видел такую ненависть. В этой ненависти к нам она была бесстрашна до безумия. Помню, на второй день после того, как перешла нашу границу, Мария начала готовить террористические акты. С трудом Якушев уговорил ее отложить взрывы во имя дела — дескать, «надо, наоборот, усыпить чекистов». Ее мы, конечно, выпустили обратно в Париж, и она сообщила Кутепову самые благоприятные сведения о мощи «Треста».

Чтобы как-то унять эту безумную активность, ей предложили стать связной между «Трестом», польской, английской разведкой и РОВС.

Теперь Мария смело ездила в Варшаву, Париж и Москву, перетаскивая к нам белогвардейских офицеров. Сначала все они жили под Москвой около станции Лосиноостровская. Но по мере появления новых офицеров, селившихся по всему Подмосковью, за ними становилось все сложнее следить. Якушев с трудом уговорил ее умерить пыл. Якушева она сильно недолюбливала, ведь он не разрешал ей начать террорную работу…

Легкость ее поездок восхитила Кутепова. Он передал сведения великому князю. Николай Николаевич было собрался, но… все-таки не поехал! Этот гигант с громовым голосом оказался столь же нерешительным, как и все последние Романовы. Он продолжал колебаться…

Иначе поступил Рейли. По моим сведениям, он побеседовал с

Марией З. в Париже. Обрадовал ее, что едет начинать серьезное дело. Серьезное — это террор. Террор, осуществляемый маленькими, независимыми группами или одиночками-смертниками против важнейших представителей советской власти. Цель этого будущего террора двоякая. Первая, менее существенная, — устранить видного деятеля и вторая, важнейшая, — разбудить общество, всколыхнуть сонное царство, болото, разрушить легенду о твердости большевистской власти, бросить ту самую искру, из которой рождается пламя.

Мария пришла в восхищение от его планов, о чем сообщила мне, князю Д.

Она вернулась из Парижа в Подмосковье, и Рейли начал готовиться к переходу границы.

«Трест» должен был организовать ему встречу с «представителями монархического подполья». Рейли собирался проинспектировать ситуацию, наметить боевиков и через несколько дней вернуться обратно в Лондон, чтобы начать готовиться к «серьезному». Во всяком случае, наш агент передал, что он сообщил жене о предстоящей поездке, как сообщают о прогулке за город: «Пожалуй, я прокачусь в Петербург и Москву денька на три».

На совещании у Артузова было решено дать ему возможность вернуться в Лондон для того, чтобы воскресить веру в могущество «Треста», пошатнувшуюся после ареста Савинкова. Поездка Рейли должна была многое решить. Мы все понимали: после его удачного возвращения, скорее всего, к нам приедут самые желанные гости — глава РОВС (генерал Кутепов) или сам великий князь Николай Николаевич!

Продолжая игру, я, то бишь князь Д., сказал в Париже:

— Если Рейли благополучно вернется, я поверю в «Трест».

Все складывалось отлично. Рейли без помех перешел границу, Якушев встретил его, посадил на поезд и привез в Подмосковье. Рейли даже успел отправить шифрованные письма о надежном канале перехода через границу… Ему устроили встречу в подмосковной Малаховке с «руководством подпольных монархических организаций». Это было прелестное сборище, где вместе с нашими сотрудниками сидели настоящие монархисты, приехавшие с Запада белогвардейцы и, конечно, Мария З.

Но накануне этого сборища произошла катастрофа. Коба вызвал Ягоду, Москвина (Трилиссера) и Артузова и велел немедля схватить мерзавца Рейли и расстрелять.

— С Дзержинским согласовано, — сказал Коба.

Артузов попытался объяснить выгоду возвращения Рейли в Лондон, но Коба уже отвык от возражений. Он пришел в ярость.

— Вы жалкие дилетанты! Вы полтора десятка лет не работаете в разведке, а Рейли — великий убийца! Он ваших шпионов-комсомольцев наверняка раскусит и уйдет. По дороге привет вам пошлет — пристукнет парочку наших ответственных товарищей. И уже больше вы такую рыбу не словите. Короче! Мы приговорили его к смерти. Решение большевистского суда должно быть выполнено. Расстреляйте гада… Дальше сами думайте, как вам выкрутиться перед вашими зарубежными… друзьями. — Он явно хотел сказать «хозяевами».

Это был шок! Коба срывал операцию. Тогда я думал, что он этого не понимает.

Было решено объявить, что Рейли не выполнил предписаний «Треста» при переходе границы и погиб. Для этого создали телеграмму, которую я позволил «захватить» польской разведке. Я до сих пор храню эту историческую шифрограмму, отправленную Москвиным. «29 сентября с. г. во время перехода границы б[ыл] задержан англичанин 3854005058 (Сидней Рейли), проникший в Ленинград из Финляндии под подложным паспортом Николая Михайловича 5427700744654704745 (Штейнберга); два его товарища во время перестрелки были убиты. 385400505 (Рейли) тяжело ранен…»

В наших газетах напечатали о пограничном инциденте: при нелегальном переходе финской границы один нарушитель застрелен, остальные схвачены.

Через те же польские каналы я сделал утечку информации — сообщил, что застреленным был Сидней Рейли.

Его привезли на Лубянку, обращались с ним мягко, уважительно. Очень хотели включить его в игру. Он, конечно, отказался. Тогда Ягода велел ему показать, что у нас не санаторий. Я услышал знакомый голос Кобы…

После пыток Рейли перестал упираться. В письме к Дзержинскому он сам предложил свои услуги. Стал рассказывать об агентах, об эмигрантских организациях… Я тотчас начал проверять его показания, попытался действовать по его наводкам и… чудом не провалился! Хитрец Рейли, видимо, как раз рассчитывал провалить ценного агента и быть обмененным. В это время в ответ на новые пытки он придумал симулировать психическое расстройство и галлюцинации… Даже сообщил Ягоде, что разговаривал о нем с Христом, но Христос велел говорить о Ягоде только с Иудой…

Коба приказал Дзержинскому: кончать.

Потом будет много легенд о его гибели. Как было на самом деле, мне рассказал один из исполнителей, С-н: «Расстреливали по личному приказу Дзержинского. Мы привезли его в

Богородский лес в Сокольники. Остановили машину, будто что-то испортилось, попросили Рейли пока выйти прогуляться. Он сразу понял и, усмехаясь, сказал: „Могли бы не говорить подобные глупости. Нужно уважать старших коллег“. Весело насвистывая, пошел по тропинке…»

Труп отвезли на Лубянку. В прозекторской его сфотографировали, так сказать, для истории. Закопан его труп у нас же, на Лубянке, во дворике для прогулок заключенных внутренней тюрьмы.

Но для Марии мы запустили версию о героической гибели Рейли, благополучно перешедшего границу и схваченного совершенно случайно на подмосковной даче в Малаховке.

После двух громких арестов как же трудно было воскресить веру в «Трест»!

В это время нам повезло: «Трестом» заинтересовался Василий Витальевич Шульгин (депутат царских Дум, один из организаторов белого движения). Его сын пропал после Революции. И он начал обдумывать поездку в СССР. Шульгин встретился с Якушевым. Потом переговорил с «бешеной Марией»…

Я тотчас пошел посоветоваться с Кобой.

На этот раз Коба оценил правильно:

— Вот этот мерзавец пусть вернется невредимым. Провезите его нужными маршрутами и покажите нужную нам Россию. Но вообще с этими играми надо кончать. Кучу недобитых белогвардейцев перетащили в СССР. К тому же торгующие с нами капиталисты ни хрена не понимают, что у нас творится. Что внушает им твой «Трест»? «Мы, монархисты, уже всюду. Нас уже не выскребешь из советского дерьма… С социализмом советская власть села в планетарную лужу…» Хотите вы или не хотите, но вы убеждаете, что наша власть не крепка… Мижду нами говоря, мерзавец Троцкий как-то написал: «Мы, большевики, так сильны, что если мы напишем декрет, чтобы все мужчины Петрограда явились в такой-то день для порки розгами, то 75 процентов встанет в очередь, а остальные побегут запасаться медицинскими справками». Вот в чем нужно убеждать мир! А у вас уже непонятно — кто кому служит… Кто-то делает вид, что разлагает наш строй. Кто-то под прикрытием «Треста» на самом его деле разлагает. Я говорю о Якушеве… Возможно ли все это? Запомни Фкудзи: ***«Если что-то возможно, значит, не исключено…»*** А вы потеряли бдительность… Теперь о Шульгине… Пусть Шульгин приедет, выпустите его обратно в Париж — он напишет книгу об увиденном и… хватит! Прикрывайте «Трест»!

Я понял: мой великий подозрительный друг арестовал Рейли,

потому что боялся! И его. И «Трест»!..

Но пока в Париже я переговорил с Шульгиным.

— Я слышал, вы ищете сына?

И посоветовал ему пообщаться с ясновидящей, жившей в Польше и много раз удивлявшей своими предсказаниями.

Он улыбнулся, пожал плечами. Однако вскоре я узнал: Шульгин выехал в Варшаву. Клюнуло!

Ясновидящая (наша сотрудница) рассказала ему, что сын его жив, находится на излечении в больнице, но он вряд ли его увидит.

После с ним «случайно» познакомился представитель «Треста»…

Совпадения подействовали. Шульгин решился.

В это время мы уже знали о смерти его сына. Шульгин отправился искать то, чего не было.

Он снова приехал в Польшу, и его перевели через окно люди «Треста» — бывшие царские офицеры (естественно, наши сотрудники).

Его долго возили по «нелегальным квартирам» наши агенты, исполнявшие роль подпольщиков-монархистов. Он встречался с Якушевым и правой рукой Артузова — бывшим генералом Потаповым… Разговаривать Шульгину с бывшим статским советником и бывшим царским генералом было легко.

Дальше началось его путешествие по Эсэсэсэрии. Так киевлянин Шульгин увидел три столицы — родной Киев, Петроград-Ленинград и Москву.

Он вернулся в Париж, не найдя сына. Именно тогда «Трест» взялся советовать ему написать книгу.

Он и сам мечтал об этом, но боялся навредить. Якушев уговорил его:

— Это необходимо. Глазами знаменитого Шульгина эмиграция наконец-то увидит мир сегодняшней России, который из Парижа кажется ей миром инопланетян…

Что же касается опасности выдать тех, кто ему помогал, пусть он не беспокоится. Свою рукопись пошлет Якушеву… Тот ее процензурирует.

Таким образом Шульгин сотворил новое детище — книгу «Три столицы». Но сначала рукопись отправилась к нам… И бывшего главу партии монархистов стали цензурировать большевики.

Рукопись читал Дзержинский. Потом я увидел ее на столе у Кобы. Коба вычеркнул нападки на Ленина. Все остальное понравилось. Еще бы! Шульгин сказал главное: «Я думал, что еду в умершую страну. Все оказалось иначе: я увидел пробуждение

мощного народа».

Так что он написал нужную нам книгу. Она вышла на Западе, Коба велел ее издать в России.

Книга произвела огромное впечатление в эмигрантской среде. Они все больше верили в то, во что так хотели верить, — красная Россия становится розовой. Это произносили как заклинание!

В это время операция «Трест» неожиданно умерла. Один из главных участников прибалт О-т стал перебежчиком.

Это был высокий рыжебородый атлет. Когда-то он входил в савинковскую организацию. Мы его взяли и перевербовали. Он отлично работал, в «Тресте» одно время исполнял роль финансового директора. Стал любовником «бешеной Марии», помогал сдерживать ее жажду убивать…

Думаю, на него, как и на всех нас, произвела впечатление ликвидация Рейли. Он понял, что операция «Трест» умрет, потому что власть своевольно ею распоряжается. И тогда он никому не будет нужен. О-т захотел быть нужным…

Сначала он открыл правду любовнице Марии. Она была потрясена — ее водили за нос большевики, которых она так презирала! Теперь она желала одного — отомстить. Мария сумела сообщить всем приехавшим белогвардейским офицерам, и те спешно начали покидать СССР. Наконец и сама она вместе с любовником и мужем бежала в Финляндию.

После этого произошел взрыв в западной прессе! О-т разоблачил великую провокацию большевиков. Он напечатал целый список агентов ОГПУ, участвовавших в провокации. Слава богу, про меня он ничего не знал, и я попал в число жертв! Среди доказательств провокации О-т описал, как князь Д., переходивший границу вместе с Савинковым, угодил в приготовленную засаду, был ранен «и только чудом сумел бежать».

Я так и не знаю, сделал это О-т сам… или это было наше окончание игры, в которое меня не посвятили. И мой великий друг попросту приказал эффектно похоронить подозрительный ему «Трест», попутно показав, что все знаменитые эмигрантские герои, борцы с большевизмом, бесстрашно посетившие красную Россию, — попросту жалкие бабочки, летевшие на разожженный нами большевистский огонь. Разоблачение О-та превратило их из героев в круглых дураков.

Во всяком случае, когда Шульгин и прочие не захотели поверить О-ту, Ягода приказал мне анонимно переслать некоторые материалы Бурцеву. И вскоре знаменитый охотник за провокаторами, разоблачитель Азефа Бурцев напечатал

сенсационную статью о «Тресте» — «В сетях ГПУ».

Я, князь Д., теперь много раз рассказывал в Париже, как чудом спасся во время ареста Савинкова, и подтверждал разоблачения О-та.

Бешеная Мария наконец-то обрела желанное право убивать. Вместе с любовником она сумела сама вновь вернуться в Россию. Мы долго не могли разыскать ее. Попалась она во время организации теракта при попытке взорвать общежитие ОГПУ. Окруженная, она покончила с собой… С ней был и О-т. Его будто бы тоже застрелили.

Хотя, по другим сведениям, О-т после гибели Марии перебрался в Латвию, где преспокойно жил под чужой фамилией. Он был расстрелян памятливым Кобой после присоединения Прибалтики…

Муж Марии решил отомстить за нее. Он попытался взорвать бюро пропусков ОГПУ. Но неудачно! Его выследили. Во время попытки теракта его окружили наши сотрудники, и он тоже застрелился.

Однако месть, о которой мечтала Бешеная Мария, все-таки состоялась. В 1937 году Коба уничтожит почти всех участников операции «Трест». Сотрудников ОГПУ, так хорошо игравших монархистов-подпольщиков, расстреляют, как… участников монархического подполья (!). Одновременно расстреляют Павловского и всех, кто согласился работать на нас. Якушева Коба не расстрелял: его тело найдут в канале. Главного «трестовца» попросту утопили.

Падение льва

И полетели годы. Теперь каждый раз, возвращаясь из-за границы, я не узнавал страны. Постленинское государство стремительно менялось. Мой друг с легкостью тасовал колоду вождей. С Зиновьевым и Каменевым он выступил против Троцкого…

Я был на Пленуме ЦК, где Коба продемонстрировал Льву силу созданного им аппарата. Пленум проходил в Кремле. Помню, Троцкий вышел на трибуну, привычно победно оглядел зал и начал:

— Товарищи!..

Но более ничего никто не услышал. Вопли, проклятия понеслись со всех сторон. Он властно простер руку к залу — прежний жест вождя Революции. Теперь жест был смешон. Кошачий концерт продолжался. Я видел со своего места, как он вспотел, тщетно пытаясь перекричать. У него был мощный голос, проверенный на многотысячных митингах. Но сейчас состоялась первая встреча баловня аудиторий с залом Кобы. Голос первого оратора Революции захлебнулся в заготовленных ругательствах, криках «Прохвост!», «Балаболка!», «Иудушка Троцкий!», «Проститутка!»…

Он услышал все, чем награждал его когда-то на страницах большевистских газет щедрый на ругань Ильич. Но теперь это скандировал весь кремлевский зал!..

Так мой друг Коба познакомил Троцкого с новой партией. Бедный Лев в ярости сбежал с трибуны. Прочь от этой беснующейся толпы, от этой охлократии! Бросился к входной двери.

«Мы уйдем, но так хлопнем дверью, что мир содрогнется», — объявил Троцкий в тяжелые дни Революции. Теперь он захотел сделать это буквально. Но дверь бывшего тронного Андреевского зала, где проходил Пленум, оказалась слишком тяжелой. Под неумолчный хохот и свист Троцкий, вмиг ставший каким-то тщедушным, жалко сражался с огромной, тяжелой, покрытой бронзой дверью. Коба в президиуме молча смотрел на жалкие усилия вчерашнего вождя.

Наконец Лев, точнее, вчерашний лев сумел открыть дверь и выбежал.

Какой восторг был на лицах президиума! Зиновьев и Каменев хохотали. Веселился Бухарин. Он неплохо рисовал и, видимо, набросав какую-то карикатуру, показывал ее Кобе. Но Коба… Коба был озабочен.

Ночью меня разбудил его звонок.

— Одевайся и приезжай немедленно.

В дверях кабинета Кобы я столкнулся с выходившим оттуда Ягодой. Коба расхаживал по кабинету, сосал трубку.

— Жид, как я и думал, объявил сбор! На его квартире сейчас собрались все наши красные генералы. — Коба начал называть героев гражданской войны: — Корк, Уборевич, Егоров, Муралов, — (глава Московского военного округа). — Ждут Тухачевского. Предлагают новый Октябрьский переворот. Мерзавец Антонов… — (Антонов-Овсеенко, который в 1917 году объявил низложенным Временное правительство, теперь был главой Политического управления Красной армии), — предлагает немедля обратиться к армии: «Рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели, должны призвать к порядку зарвавшихся вождей…» Все партийные ячейки военных ведомств — за жида, Зиновьев лежит дома на диване, заболел — точнее, как всегда, обосрался от страха. Где Каменев, никто не знает — исчез. Короче… — И Коба спросил насмешливо: — Будем отстреливаться?

— Послушай, — сказал я. — Я наклею усы, зачешу назад волосы, как носишь ты, смогу остаться вместо тебя в кабинете…

— Ты хороший друг, но бежать пока не нужно. Пока нужно ждать…

Мы сели ужинать. Секретарь принес наше грузинское вино, нарезали наш грузинский сыр и наши овощи. Все время в приемной звонил телефон. Это Зиновьев в истерике беспрерывно требовал Кобу.

Секретарь каждый раз монотонно отвечал:

— Товарища Сталина в кабинете нет, — и вешал трубку.

Под утро появился Ягода, все подробно рассказал (видно, на квартире Троцкого был наш человек). После долгих дебатов в четыре утра Лев Давыдович объявил сподвижникам: он отказывается. Он произнес взволнованную речь. Дескать, он не может опуститься до самого страшного греха революционера — бонапартизма: «Политическая деятельность вне партии — это контрреволюция. Обращение к народу и армии навсегда погубит единство партии и, следовательно, Революцию».

Надо было видеть, с какой непередаваемой гримасой презрения слушал Коба все эти благородные речи.

— Да, он ***не*** Ильич… к счастью для него самого, — сказал Коба, — и он не барс. Он жалкий волк, не смеющий уйти за красные флажки охотников и предпочитающий вместо этого пулю.

Когда Ягода ушел, он спросил:

— Хочешь узнать, почему «к счастью для него»?

— Я догадался.

— Да, если бы он согласился, его пристрелил бы наш человек…

Я не в курсе, кем был этот «наш человек», но знаю: всех, кто находился в ту ночь на квартире Троцкого, Коба впоследствии расстреляет.

Рождение нового царя

Троцкий потерял оба поста — Председателя Реввоенсовета Республики и народного комиссара по военным и морским делам…

Дальше Коба делал быстрые ходы. Во главе армии он поставил Михаила Фрунзе. Фрунзе не был человеком Кобы, скорее, он был близок к Зиновьеву. Но Коба уже готовился решить судьбу глупого Зиновьева, и, следовательно, требовалось позаботиться о Фрунзе.

Бедняга Фрунзе страдал язвой. После очередного обострения Коба объявил решение Политбюро: Фрунзе необходимо сделать операцию. Новый глава Красной армии умер на операционном столе… из-за ошибки анестезиолога. Жена Фрунзе, заявившая, что мужа попросту зарезали, вскоре… покончила с собой.

Руководить Красной армией стал верный друг Кобы, очень напоминавший смазливого, румяного приказчика, — Клим Ворошилов. Вчерашний слесарь был верным слугой Кобы, у которого теперь появилась и армия…

В 1925 году город с символическим названием Царицын переименовали в Сталинград. Да, рождался новый самодержец. Зиновьев с Каменевым этого не понимали. Они по-прежнему претендовали на триумвират. Так что вскоре судьба их была решена. Коба вместе с новым союзником — любимцем Ленина Бухариным — разгромил их на очередном Пленуме ЦК. Троцкий присутствовал при разгроме. Молчал и саркастически улыбался. Думаю, он уже понял: скоро придет и очередь Бухарина.

Все это время мой друг трудился не покладая рук. Он не только менял руководство партии. За это время Коба так же стремительно поменял саму партию. Сразу после смерти Ильича он объявил призыв в нее: «Ленин ушел, но на Ильичеву вахту встали новые миллионы».

Опять я не сразу понял, что он задумал. Мне, как и всем нам, старым партийцам, удавалось понять Кобу, лишь когда дело было сделано…

Помню, однажды я застал Кобу, читающего «Историю» Карамзина. Читал, посмеиваясь. Наконец презрительно отбросил книжку:

— Глупый этот товарищ Карамзин. Какой он историк! Совершенно не понимает политика по имени Иван Грозный. Не понимает, зачем товарищу Грозному нужна опричнина. Не понимает, почему он убивал бояр. Этот глупец всерьез думает, что великий политик товарищ Грозный был безумен. Мудак! Иван

Грозный вводил новый порядок на Руси. До него бояре — правящая каста, знать, гордая происхождением и заслугами рода. Но для политика товарища Грозного знатный человек — только тот, кто служит ему и покуда он служит ему. Вот для чего он попросту вырезал множество прежних бояр, не умеющих или не желающих ему служить! Он решил создать новую знать — опричников. Из простых людей. У которых была одна главная заслуга — они служили ему… Все должны были подчиниться его беспощадному единоначалию! Или зашибем! Жаловать и казнить лишь он, Иван, был волен. Только так, великой кровью, он смог создать великое государство…

Коба замолчал. Знакомая полуулыбка бродила на его лице. Я знал, как она опасна. Ибо, повторюсь, она всегда появлялась, когда мой друг затевал страшное.

Да, произошло не просто пополнение партии. Партия при Ленине была немногочисленной. «Партиец» — в ленинские времена это было звание. Мы, старые партийцы, являлись тогда высшей и неприкосновенной кастой. И вот все изменилось. В партию пришли полуграмотные рабочие, подчас просто люди с улицы. Все они понятия не имели ни о Марксе, ни о мировой Революции. Мой гениальный друг растворил нас в массе, уничтожил нашу исключительность. Новые партийцы были теми же опричниками Ивана Грозного, готовыми служить царю, жаждавшими занять наши места. Эта темная масса была счастлива, когда Коба опроверг главное народное обвинение против партии — «жиды правят». Это обвинение исчезло вместе с падением Троцкого, вместе с потерявшими власть Каменевым и Зиновьевым. Отныне партия, как греческий хор, повторяла слова, которые велел говорить Коба. И аплодировала, аплодировала…

Прежде были яростные диспуты. Теперь — только аплодисменты… Я записал тогда в своих «Записках» для истории: «„Аплодисменты“ — это Коба вышел на трибуну в 1925 году… „Бурные аплодисменты“ — это уже 1926 год. „Нескончаемые аплодисменты, все встают“ — это сейчас, в 1927 году».

Всего через десять лет после Октября портрет нового царя вернулся в золоченые рамы. Это было лицо моего друга детства, сына сапожника, вчерашнего ссыльного Кобы…

Лицо Кобы теперь смотрело на меня повсюду и отовсюду. И только оно!

«Это вам не при прежнем царе!»

В это время, в отчаянии пытаясь «разогнать политические сумерки», злейшие враги Троцкого Зиновьев и Каменев придумали объединиться… с Троцким! Они решили выступить против Кобы на очередном пленуме ЦК!

Я был в тот день в зале.

Главный удар должен был нанести Каменев. Выступать он умел.

Но он не понял — выступать уже не перед кем. Это была новая партия, развращенная ими самими. Она помнила, как еще вчера Зиновьев и Каменев со Сталиным выступали против Троцкого. И вот сегодня Зиновьев и Каменев с Троцким выступают против Сталина. Партия уже привыкла к беспринципности вождей. Она разучилась уважать, могла только служить…

Зиновьев и Каменев увидели то, что так недавно их веселило. Пленум свистом, криками и проклятиями попросту согнал Каменева с трибуны.

Коба мог быть доволен: созданная система работала на «отлично».

Я должен был возвращаться в Берлин, когда Коба вызвал меня в Кремль. В кабинете сидел носатый Ягода. За время моего отсутствия он стал, как бы точнее выразиться, ***холеным.*** Новая форма, видно, пошитая отличным портным, щегольски сидела на нем, и усы как-то по-новому были пострижены — модной щеточкой.

— Господа вожди решили устроить демонстрацию в день Великой Октябрьской Революции… — сказал Ягода. (Теперь Октябрьский переворот назывался Великой Октябрьской социалистической Революцией).

— Товарищи, видимо, подумали, что можно вести себя, как при царе, — прервал его Коба. — Следует доказать им, что они ошибаются. Как я понимаю, они хотят напомнить, будто бы они сделали нашу великую Революцию. Мы же напомним этим господам, что выносить партийные разногласия на суд беспартийной улицы есть величайшее преступление в ленинской партии.

— «Проститутка Троцкий» — так Владимир Ильич его называл! — заметил Ягода.

— Мы поручим старому большевику товарищу Фудзи показать, что демонстрации обычно организовывали мы, а они на них только выступали… Товарищ Ягода, ты пока свободен…

Ягода ушел.

Я понял: несмотря на презрительный тон, Коба обеспокоен. У него у самого в глубине души оставался этот пиетет: хоть вчерашние, но вожди. Ведь он тоже был старый партиец. И еще он осознавал, сколько иностранных журналистов соберется завтра на площади.

— Ты должен все организовать, Фудзи. Докажи мерзавцам завтра, что их время прошло.

Но я решил уговорить его оставить их в покое. Ведь все они были знаменитые старые партийцы.

— Послушай, Коба…

Он не позволил закончить:

— Ты — мой друг или ты — их друг? Тебе надо выбрать раз и навсегда.

Я недолго думал. Да, они — знаменитые революционеры. Но моим другом, моим братом был он.

— Я сделаю, — сказал я.

Мы хорошо научились при царе, а потом в Коминтерне и организовывать демонстрации, и разгонять их. За день я все подготовил.

7 ноября 1927 года, в день десятилетия нашего переворота, большая толпа молодежи собралась у памятника Пушкину. Образованная партийная молодежь любит быть в оппозиции. В отличие от новой полуграмотной партийной массы, они боготворили блестящего Троцкого с его космическими планами мировой Революции. Эта молодежь не могла полюбить моего друга с его унылыми речами. Коба был для них воплощением партийного бюрократа.

К молодым партийцам присоединились студенты Московского университета и Промышленной академии. Над колонной поднялись портреты Троцкого, Зиновьева и транспаранты с лозунгами: «Да здравствует мировая Революция!», «Да здравствуют вожди мировой Революции — Троцкий и Зиновьев!».

Вся эта праздничная молодая толпа с революционными песнями двинулась по Тверской улице прямиком к Красной площади. Шли весело. Страстно пели любимую песню старых партийцев — «Мы жертвою пали в борьбе роковой…» (Песня оказалась «в руку»! Всех этих несчастных молодых демонстрантов в 1937 году расстреляет памятливый Коба.)

Тогда по мере движения в колонну начал просачиваться мой «простой народ» — переодетые сотрудники ОГПУ. Они слились с массой. Так все вместе дошли до Охотного Ряда. Здесь, недалеко от Кремля, с балкона бывшей гостиницы «Париж», вожди

оппозиции должны были обратиться к подошедшей колонне.

На балконе появились они — старая ленинская гвардия. Вчерашние члены ленинского ЦК, организаторы Октябрьского восстания, друзья Ильича — Смилга и Преображенский. Они дружно выкрикнули: «Назад к Ленину!» Весело развесили на балконе кумачовый транспарант с этим лозунгом. Колонна подхватила, начала скандировать: «Назад к Ленину!», «Даешь мировую Революцию», «Ура! Ура!»…

Я подал знак. Тотчас включились мои люди в толпе. Эти «возмущенные трудящиеся» принялись свистеть в заготовленные свистки, бросать в балкон принесенные помидоры. С каждой минутой моих людей становилось все больше. Они как бы подходили — все те же «случайные прохожие», простой народ, возмущенный демонстрацией. Кричали, вопили во все глотки: «Буржуазные сынки!», «Долой контру!», «Ильич таких стрелял!»…

Наконец раздался клич: «Бей гадов! Бей буржуев!»

И началась заготовленная потасовка. Тренированные чекисты-«трудящиеся» успешно избили молодых «буржуев»! Только тогда появилась милиция и стала разгонять дерущихся, точнее, увозить «буржуйских сынков» в отделение.

Но остатки «буржуйской молодежи» стояли живой стеной у входа в гостиницу, не давая моим людям ворваться в помещение. Однако я был готов и к этому. Я с вечера ввел в гостиницу своих «коридорных». «Коридорные» выбросили из окон веревочные лестницы. И по ним представители «возмущенного народа» начали штурмовать здание — лезть на балкон. Под радостное улюлюканье «трудящихся» один из наших достиг балкона и сорвал лозунг. В это время ворвавшийся наконец в здание «возмущенный народ» принялся избивать отступивших в гостиницу «буржуйских сынков». «На закуску» появились верные Кобе партийцы во главе с тогдашним его сторонником секретарем райкома партии Рютиным. Они особенно поусердствовали в потасовке (точнее, избиении), «отстаивая по-мужски линию партии». Крепко досталось, невзирая на возраст, «ленинской гвардии». В довершение победы какой-то тип из нашего «народа» вышел на балкон и прокричал: «Да здравствует товарищ Сталин! Товарищ Моисей вывел евреев из Египта, вот так же товарищ Сталин выводит их из Политбюро».

Толпа гоготала и аплодировала. В ней уже были не только мои люди. К нам примкнул действительно простой народ.

Вновь раздалось столько лет не слышанное «Бей жидов!».

…Они все потом окажутся в одной братской могиле — и избитые в тот день отцы Октябрьского переворота Смилга и Преображенский и избивавший их Рютин. Всех их отправит пулей

в бездонную могилу в Донском монастыре друг мой Коба.

Начало конца ленинской партии

Уезжая в Лондон, я пришел проститься. В кабинете Коба положил передо мною листок, напечатанный на машинке, — постановление Политбюро. Это было то, чего никак не ожидали недавние «кремлевские бояре». Знаменитых партийцев — Радека, Смилгу, Муралова, Преображенского — Коба выгнал из партии и отправил в ссылку к восторгу новой партийной массы. Да что они! В год десятилетия Октябрьского переворота вожди партии, члены Политбюро, отцы Октябрьского переворота Троцкий, Зиновьев и Каменев также лишились партийных билетов.

Коба преспокойно разделался со всеми отцами Октября. Вот так он отменил главный ленинский закон о неприкосновенности партийцев. Вчерашние вожди были ошарашены.

Но пытались острить. Главный шутник партии Радек, сдавая партбилет, сказал: «Один билет отняли, но два-то осталось». И показал два билета в театр. Другие острили горше: «Вернулась молодость: опять в ссылку, как при царе».

Не знали голубчики: то, что задумал мой беспощадный друг, не могло случиться с ними ни при каком царе!

Но я знал Кобу. И мне было жаль их. У этих партийных вождей и у Кобы были разные биографии. До тридцати семи лет вся его жизнь прошла в тюрьмах или в ссылках. Для него охранники, тюрьма, ссылка — это будничность, повседневность. Потому, к изумлению партийных говорунов, он так легко ссылал и сажал! Для моего друга это было возмездие. Все предреволюционные годы он им служил, чтобы они могли наслаждаться жизнью, с комфортом спорить в парижских кафе, пока он отбывал очередную ссылку. Теперь он давал им возможность прочувствовать его прежнюю жизнь. И еще… Коба хорошо читал отчеты Ягоды. Он знал, что за два десятилетия власть, почет, деньги, женщины совершенно преобразили вчерашних революционеров-идеалистов. Они «сильно подразложились». При царе тюрьма, ссылка казались им подвигом, теперь — ужасом.

Хотя эта тюрьма была совсем не та страшная тюрьма, которую вскоре создаст мой друг. Но и ее они не выдерживали — торопливо каялись, чтобы вернуть утерянное. И он их прощал… Пока.

Но новая незримая власть — родная моя Лубянка — отныне неустанно за ними следила.

Изгнание льва

Незадолго до моего очередного отъезда в Германию повсюду в Москве была развешена реклама фильма «Октябрь», снятого знаменитым режиссером Эйзенштейном.

Я пошел посмотреть. К моему изумлению, Эйзенштейн сумел снять фильм об Октябрьском перевороте, даже не упомянув отца переворота — Троцкого!

Прощаясь со мной, Коба поинтересовался:

— Говорят, ты ходил смотреть новое кино. Ну и как? — пристально глянул на меня.

Я не посмел пошутить.

— Мне понравилось.

— Я попросил посмотреть товарища Крупскую. Мы потом с ней долго беседовали… — (Как жаль, что я не слышал этой беседы!) — Товарищ Крупская горячо одобрила фильм. Но, главное, у нее появилась похвальная ленинская черта — она глядит в будущее. Она написала хорошую статью… — Он взял лежащую на столе «Правду» и медленно начал читать, с усмешкой поглядывая на меня: — «Чувствуется, что зародилось у нас и уже оформляется новое искусство. У этого искусства колоссальное будущее…»

Что ж, она оказалась права.

Я был на XV съезде партии. И, глядя на восторженное неистовство рукоплещущего зала, вспоминал жизнь моего друга, когда-то угрюмого неразговорчивого боевика, жалкого оборванца; вспоминал ледяную Курейку, собаку, лизавшую его тарелку… И то, как пропасть лет назад мы стояли на съезде партии и партийный зал вот так же неистово рукоплескал Троцкому. Теперь рукоплескали ему — Вождю.

Вождь Коба, выступая, сказал:

— Условие у нас одно: оппозиция должна отказаться от своих взглядов, открыто, честно и перед всем миром. Она должна передать нам свои ячейки, чтобы партия имела возможность распустить их без остатка. Либо так, либо пусть уходят из партии. А не уйдут — вышибем. — И все это спокойным, мирным голосом с приятным акцентом.

Яростный рев зала в ответ:

— Правильно! — И овация.

Роль кровожадных он передал другим. Вчерашний друг изгнанных из партии вождей, старый партиец, часто пьяненький Рыков отметил:

— Судя по обстановке, которую оппозиция пыталась создать,

думаю, нельзя ручаться, что население тюрем не придется в ближайшее время увеличить…

Если бы он знал, как окажется прав! Всего через десяток лет ему самому придется увеличить это население. Но знал это пока только Коба. Он начал аплодировать первым. Тотчас — буря оваций! Это теперь закон: Коба начинает — зал подхватывает. Мой друг Коба. Истинный, единственный Вождь. Он не ошибся: ***у нас двух вождей не бывает.***

После съезда я должен был уехать в Берлин. Но меня вызвал Коба:

— Ты не уезжаешь… Пока остаешься в стране.

В это время секретарь доложил:

— Пришел товарищ Бухарин.

В кабинете появился Бухарчик. Он вынул бутылку вина:

— Можно отпраздновать твою победу!

Коба нежно улыбнулся:

— Немного рано. Балаболка… — так Коба все чаще теперь называл Троцкого, — пока здесь. Ждет, что мы отправим его в ссылку, сами наденем на него желанный терновый венец. Нет, его ссылка у нас ничего нам не даст. Пока он внутри страны, у оппозиции есть вождь. Что будем с ним делать, Николай?

Бухарин молчал, вопросительно глядел на Кобу.

Тот ответил:

— Мы тут подумали… и решили вышибить его из страны!

На лице Бухарина появилось изумление, потом испуг.

— Мижду нами говоря, — продолжал Коба, — у товарища Троцкого были большие заслуги, их у него никто не отнимает. Но если мыслить диалектически, он сам должен понять: сейчас его присутствие в стране очень мешает торжеству идей той самой Революции, которой он отдал столько сил. Пока он в стране, его сторонники будут бузить. Сколько нужных государству людей окажутся вычеркнуты из политической жизни. Я хочу, чтоб ты объяснил ему ситуацию. Скажи: мы надеемся, что он поймет… и сам уедет из СССР… по-хорошему!

Бухарин походил по комнате, повздыхал, проговорил:

— Ты прав, Коба. Но как тяжело! — И пошел звонить.

Коба обратился ко мне:

— Хороший человек Бухарчик. Но нежный, как женщина. — Помолчал, добавил: — И потому всегда готов изменить тебе, как женщина…

Секретарь принес чай. Мы молча пили, ожидая нежного Бухарчика.

Довольно скоро он вернулся:

— Лев не стал разговаривать. Сказал: сам не уеду. Азиату

придется меня убить.

Вскоре в кабинете появился Ягода.

— Негодяй… — (Троцкий), — беседовал с кем-то из Промышленной академии. Тот звонил ему из телефона-автомата. Договорились, что в день высылки выйдет на улицу вся Промакадемия…

Бедный Лев никак не мог понять, что теперь прослушиваются все его разговоры.

Коба слушал спокойно, равнодушно. Только глаза горели желтым огнем (что означало — пришел в бешенство). Поручил Бухарину:

— Позвони ему сегодня, Николай, и сообщи дату высылки, которую будто бы у меня выведал. — Коба назвал число. Выходило, что ***вышлют через неделю.*** — Так что у него будет время подготовиться, — усмехнулся он.

Когда Бухарин ушел, Коба сказал:

— Не верю Бухарчику. Ты, Ягодка, не оставляй его без внимания. Все они одним миром мазаны… Где живет балаболка?

— На квартире Белобородова. — (Белобородов — старый большевик, бывший глава Уральского Совета, организовавший расстрел царской семьи. Он до конца остался верным соратником Троцкого.) — Белобородов отправился в ссылку и оставил квартиру Троцкому. Троцкий там живет с сыном…

— Понятно, — кивнул Коба и обратился ко мне: — Высылать товарища Троцкого будем завтра. Ты участвуешь. Сделаешь и укатывай в свой Берлин. Проследи, чтоб обошлось без увечий. Иначе балаболка будет жаловаться на весь мир.

Это было ужасное поручение. Все-таки Троцкий — вождь нашей Революции. Но к этому времени уже повелось: Коба приказывал, я исполнял, и без обсуждений.

В десять утра мы пришли к квартире Белобородова. Позвонили в дверь, никто не открывал. Наружка сообщила: Лев не выходил из квартиры — он внутри.

Мы (трое чекистов и я) попросту разрубили дверь топорами и ворвались в квартиру.

В передней поджидал сын Троцкого. Он бросился на нас. В это время Троцкий выбежал из комнаты, пытаясь вырваться наружу.

Сына повалили на пол, один из чекистов держал его. Мы втроем управились с отцом. Троцкий оказался на удивление силен, разбил лицо одному из чекистов, наставил изрядно синяков и мне — он явно нарывался на ответ. Но мы выполняли просьбу Кобы, осторожно обращались с его лицом. Наконец он устал, и мы повалили его на пол.

Вчерашний вождь Революции лежал на полу, крепко ухватившись за ножку письменного стола! И мы тащили его по полу вместе с этим проклятым столом. Наконец отодрали, подняли на руки. На руках вынесли из квартиры.

Сын шел сзади, кричал что есть мочи: «Глядите! Контра насильничает над отцом Октября! Выходите! Не дайте совершится Термидору!»

Но никто из живших в доме (это были старые партийцы-руководители) не открыл дверей, Коба их уже выучил.

…В 1937 году почти все они лягут с пулей…

Мы с трудом несли Льва по лестнице, он бился, вертелся в наших руках. На улице все-таки выскользнул, упал на землю. Но опять подняли и вот так — на руках донесли до автомобиля. Там он сдался, сказал:

— Не надо, я сам.

Опустили на ноги. Тогда он повернулся, посмотрел на меня… плюнул мне в лицо и сел в машину. Что я мог сделать? Убить? Нельзя! Бить? Тоже! Ничего нельзя — только утереться. Я утерся.

Мы поехали на вокзал.

Вокзал и площадь перед ним были оцеплены милицией. Но народу перед оцеплением скопилось немного, только отъезжающие. Сторонники Льва поверили в дату, сообщенную Льву Бухарчиком.

В вокзал никого не пускали. Поезда были отменены. Один спецпоезд, ждавший Троцкого, стоял у перрона.

На перроне Великий Лев решил все повторить. Попытался упасть на землю — не дали. Опять понесли на руках — к поезду. Сзади шел сын и уже как-то уныло кричал:

— Товарищи! Смотрите! Гонят Троцкого! Гонят из родной страны! Отца великой Революции!

Но перрон был пуст, лишь несколько рабочих трудились на путях. Это были наши сотрудники, одетые рабочими-путейцами. Бедный сын Троцкого все надрывался, все орал им. Наконец один крикнул в ответ положенное:

— Иудушка Троцкий! Туда тебе и дорога!

Мы внесли Отца Октября в вагон. Состав тронулся.

Я только потом понял: в этот день она окончательно закончилась, горькая наша Революция. Я присутствовал при ее начале и теперь, благодаря Кобе, оказался при ее конце.

Сын Льва был прав: Термидор победил.

Его, кстати, Коба тоже расстреляет.

Болезнь Нади

Весь 1929 год страна готовилась к декабрю — дню его пятидесятилетия.

Я работал тогда в Берлине. Читал советские газеты — бесконечные статьи о любимом Вожде. Заводы и фабрики включились в небывалое соревнование в честь наступавшего великого юбилея Вождя и рапортовали о невиданных успехах…

Кажется, в тот год его жена Надя приехала лечиться в Германию. У нее было что-то серьезное с желудком, и она отправилась на воды в Карлсбад.

Коба помнил слова Ильича: «Врачи-товарищи — ослы, надо лечиться у немцев».

По дороге в Карлсбад Надя остановилась в нашем торговом представительстве. В это же время приехала и моя жена, ей разрешили навестить меня (о жене я расскажу подробнее позже). Было решено, что я приду ночью в торгпредство встретиться с нею. Это не было опасно, мы тогда чувствовали себя по-прежнему вольготно в Берлине, где правили социал-демократы…

Торгпредство занимало виллу. Я появился после полуночи. Помню, была удивительно теплая ночь. В саду в свете фонаря увидел Надю и свою жену. Я стоял в тени огромного каштана, росшего у самого дома. Дерево загораживало меня от них… Я услышал поток жалоб обычно молчаливой, скрытной Нади. И такое одиночество было в этой ее откровенности с малознакомым человеком (хотя жена грузина и грузинка-жена — уже не чужие люди, тем более если мужья так похожи).

— Он и раньше был очень тяжелый человек. Мог обидеться и молчать четыре дня кряду, не объясняя почему. Однажды не разговаривал со мной неделю… Не догадаетесь, из-за чего… Я называла его на «вы». Он решил, что этим «вы» я подчеркиваю нашу разницу в возрасте. Очень тяжелый человек, — повторила она. — Сейчас стал попросту невозможен. Совсем не терпит возражений. Он так дружил с Бухарчиком. Теперь его ненавидит. Не разрешает мне с ним общаться, потому что тот посмел выступить против коллективизации. А ведь в стране голод… вы здесь ничего этого не знаете… От коллективизации погибли миллионы… Но он упрямо гнет свое… И всех, у кого другое мнение, готов теперь убить! — ***(Теперь?*** Да так было всегда!) — Бухарчик говорит ему: «При всех разногласиях мы с тобой старые друзья…» Он ему: «Ты про дружбу забудь. Мы тут не семейная артель — мы партия. Будешь бороться с линией партии — зашибем!» И такая ярость, бешенство… Николай Иванович часто

бывает у нас, дети его обожают. Он привозил им ежей, однажды привез лисичку, всегда играл с ними… Недавно приехал к нам на дачу вечером, прогуливался со мной. В это время появился мой. Подкрался и, вынырнув из темноты, глядя в глаза Николая Ивановича, произнес одно слово: «Убью!»

— Приревновал? — спросила с завистью моя простодушная жена.

— Да что вы! Это нормальные мужья ревнуют к мужчинам, а мой — к идеям. Николай Иванович, конечно, принял «убью» за шутку. Наивный человек! Я-то знаю, это не шутка…

Я тоже отлично это знал. Помнил со времен кутаисской тюрьмы ярость и ненависть барса Революции к инакомыслящим!

Надя продолжала жаловаться:

— После этого опять не разговаривал со мной неделю, дескать, зачем я слушала разговоры Бухарина. Меня он называет «бабой». Он всех нас так называет… Если ты не работаешь, то уже «баба». Он не уважает женщину, которая трудится дома. Я решилась, поступила учиться на старости лет в Промышленную академию. Само по себе учение нетрудно. Трудно увязывать с учебой обязанности по дому… Простите, вам, наверное, неинтересны мои жалобы?

— Ну что вы! Я ведь сама вам столько нажаловалась!

(Жаль, что я не застал! Значит, Надина откровенность — ответная.)

Надя продолжала:

— У меня двое детей. Еще с нами живет пасынок, его сын от первого брака. Диковатый юноша, не очень способный. Иосиф не любит его за это и не стесняется говорить об этом в лицо парню. Тот, бедный, даже пытался себя убить. Но… рука задрожала от страха, он только ранил себя. Мой, узнав, лишь посмеялся. Сказал несчастному: «Ничего ты не умеешь, даже нормально покончить с собой. Есть у тебя один гонор грузинский. Если у грузина два барана, он себя уже князем зовет! И зачем тебя сюда привезли! Впрочем, это по-нашему. Стоит появиться одному грузину, как другие тут как тут. Как обезьяны — одна хвост свесит, другая уже по нему вверх карабкается». И все это он сообщал сыну, сидевшему перед ним в бинтах…

Надя рассказывала нежным, тихим, каким-то покорным голосом. Но я-то знал ее бешеную цыганскую кровь. Я помнил, как однажды в ярости она швырнула в Кобу раскаленную сковороду.

— Вы хотите от него уйти? — спросила жена.

Надя помолчала, потом сказала:

— И он хочет уйти тоже, оба мы хотим… Но не выходит!

Когда мы вместе, ссоримся, я готова порой его убить, и он — тоже. Друг с другом мучаемся, но друг без друга… страдаем!

Потом, когда Надя уезжала, жена передала мне ее весьма необычную просьбу — купить ей… револьвер! Я испугался, даже встретился с Надей, пренебрегая обязательными правилами разведчика. Спросил:

— Зачем это вам?

Она посмотрела больными глазами:

— Знаете, когда жизнь становится невыносима, партиец обязан… К тому же мне предстоит операция, и, видно, очень серьезная, во всяком случае, мне прямо не говорят, в чем дело… Лгут, дурят мне голову…

Конечно, я отказался. Тогда она попросила Павлушу, старшего брата.

В это время он постоянно приезжал в Берлин — наблюдать за качеством поставляемого немцами авиационного оборудования. У нас тогда было большое военное сотрудничество с немцами. Германия по Версальскому договору лишилась права иметь армию, военную авиацию и подводные лодки. Нас в мире тоже мало кто признавал. Так что мы, две страны — два изгоя, вовсю сотрудничали друг с другом. Пользуясь нашим сотрудничеством, Германия тихонечко перевооружалась, мы тоже. Немецкие летчики обучались на наших самолетах в Твери. За это немецкие ученые поставляли последние разработки нашим военным, а немецкие летчики в Твери — детей доверчивым тверским девицам.

…Именно тогда после очередного визита в Берлин брат Павлуша и купил ей вальтер — маленький револьвер для дамской сумочки.

Новая страна (заметка для историка)

Конец нэпа, коллективизация, создание колхозов, голод, от которого погибли миллионы, — все прошло без меня, я бывал в стране короткими наездами. И видел только результаты..

Сначала Коба разгромил нэп, теперь вся промышленность принадлежала только государству. С буржуями в городе было покончено, и он взялся за деревню. Ильич ненавидел деревню, считал ее оплотом религии и мракобесия, русской Вандеей, откуда исходит главная опасность для нашей власти. Это было правдой. Самые опытные, самые зажиточные земледельцы, которых деревня называла кулаками, ненавидели нас. Коба решил проблему беспощадно, по-якобински. Клянусь, Ильич пришел бы в восторг! Под лозунгом «Бей кулака!» Коба начал гражданскую войну в деревне. Он натравил на богатых кулаков деревенскую массу, самых бедных, самых неумелых крестьян-бедняков. После чего на крестьянство обрушился невиданный голод, во время которого погибли миллионы. Остатки кулаков были высланы на север или отправлены в лагеря. Через голод, депортацию, расстрелы создали средневековые хозяйства — колхозы. Теперь на земле, принадлежавшей государству, работали вчерашние бедняки, не имевшие права покинуть колхозы, навсегда прикрепленные к ним. Они сдавали хлеб государству по тем ценам, которые назначало само государство. И производили столько хлеба, сколько хотело государство. Платил Коба за этот хлеб тоже сколько хотел…

Колхозника — дарового, бесправного раба-землепашца — мой друг объявил хозяином земли, его воспевали поэты, о нем слагали песни.

Попытку Бухарина и Рыкова восстать против колхозов Коба беспощадно подавил.

В это время партия увидела очередной фарс. Бухарин, Каменев и Зиновьев, еще вчера ненавидевшие и топившие друг друга, попытались объединиться против Кобы. Чтобы уже вскоре… испуганно разбежаться. Последние ленинские сподвижники окончательно пали в глазах новой партии…

Но, повторяю, все это было без меня. Я вернулся в новую страну. Покорную, бескрайнюю державу. С даровой рабочей силой, прикрепленной к заводам и фабрикам, с даровыми хлебопашцами, прикрепленными к земле. И эта бескрайняя страна управлялась одной партией, точнее, одним человеком — Вождем Кобой.

Имея самую бесправную, самую дешевую рабочую силу и

самый дешевый хлеб, Коба начал свою великую индустриализацию.

Похищение генерала

Мы в это время хорошо работали в Париже…

В русской эмиграции во Франции расцветало евразийское движение. Его основные идеи: Русь — это ЕврАзия. Неповторимая страна — великий двуглавый орел, глядящий одновременно в Европу и в Азию. У этой особой страны особая миссия. Большевики — не враги, они всего лишь воспользовались царскими ошибками. С ними надо сотрудничать, чтобы помочь желанному и неизбежному — перерождению большевиков. На месте коммунистов должна появиться новая национальная партия — наследница большевиков. С непреклонностью большевизма она соединит православие и автократию — непреложные евразийские ценности. Тогда Русь завоюет весь восточный мир. Будет создана великая славянская империя, истинная наследница Византии.

За всеми этими эмигрантскими идеями стояла все та же тоска по России, неумение жить за рубежом и мечта вернуться. Они сами придумали и сами поверили: перерождение СССР уже началось. «Красная Россия становится розовой». А пока надо поспешить приехать туда, чтобы ускорить это перерождение. Несчастные, нелепые мечтатели!

Вот из евразийцев и французских коммунистов мы и вербовали кадры. Особенно усердно работали на нас евразийцы с идеей «искупить свою вину — эмиграцию из России».

Когда я рассказал о них Кобе, он усмехнулся:

— Пусть работают на нас в Париже, никто не возражает. Но я им не верю. Что же касается их возвращения… нам враги внутри страны не нужны!

Мой подозрительный друг всерьез отнесся к этим детским идеям о перерождении.

Я приезжал в Париж князем Д. Я знал, что там живет моя давняя знакомая поэтесса Н. Ее уцелевший муж, которого она долго считала убитым, стал одним из главных евразийцев. Это был типичный наивный интеллигент-эмигрант. Конечно, из либеральной семьи. Его родители — революционеры-народники — сидели в крепости при царе. Теперь он со всей страстью участвовал в Союзе возвращения на родину.

Помню, мы с ним встретились в кафе в Люксембургском саду. Говорил он на любимую тему — о святой Руси (слово «святость» не сходило у них с языка).

Пришли его друзья и единомышленники. И девушка, так похожая на ту Н., которую я знал много лет назад. Я понял: что это ее дочь. Она страстно доказывала, что они все должны

покаяться (другое их любимое слово) перед народом, который не понимали и довели до Революции. Теперь во ***искупление*** (самое любимое слово) обязаны к нему вернуться и помочь его ***возрождению*** (еще одно очень любимое слово).

— Пусть бедность, пусть страшный быт, даже позор — ничего не боюсь, — говорила она, и на глазах ее были ***святые*** слезы.

Завербовать и отца и дочь труда не составило, и это сделали, естественно, без меня. Я оставался для евразийцев меднолобым эмигрантом, князем Д., беспощадно борющимся с большевиками.

Помню, как я сказал мужу Н., что собираюсь вместе с Савинковым отправиться в Россию. И хотя «Трест» мне очень подозрителен, я верю, что в Большевизии существуют подпольные монархические организации.

Надо заметить, что он был благороден со мной. Даже рискнул предупредить:

— У меня есть данные, что в России сейчас нет сопротивления. Народ подчинился большевикам. Именно поэтому мы решили сотрудничать с ними. Мы сумеем их использовать — и переиграть.

— Не окажется ли ваша игра игрой мышки с кошкой?

Я тоже был благороден.

Но ничто не могло его поколебать. Он торопился начать работать на нас, чтобы побыстрее начать менять наши убеждения! Ради этого он стал нашим «разведчиком», как они себя называли сами. Или агентом, как называл его я. Или «шпионом», как называли наши враги.

Именно тогда, во время того разговора в кафе, вошла Н. Как же она постарела, черты лица стали еще более мужскими, резкими. Узкий нос — почти клюв, лицо бледное, сжатые губы, короткая стрижка… Очень похожа на птицу. Одета по-монашески — в черной, грубой шерстяной юбке и в такой же черной блузе. Посмотрела вокруг беспомощными близорукими глазами. Потом стала рыться в сумке, видно, искала очки.

Я тотчас глянул на часы и, сославшись, что запамятовал о следующей встрече, встал и неторопливо вышел в другую дверь.

…Только впоследствии ее нелепый муж все узнает и все поймет. Но это случится уже перед его расстрелом на моей родной Лубянке.

Коба вызвал меня в Москву. Сначала я уехал из Парижа в Берлин. Уже оттуда, изменив внешность, отправился в столицу. Ехали мы в одном поезде с братом Нади Павлушей Аллилуевым и его семьей.

Жена Павлуши Женя — высокая русская красавица с золотистой косой. Муж называл ее Розой новгородских полей

(она родилась в Новгороде). Я первый раз увидел их вдвоем в гостях у Кобы. Уже тогда заметил, что мой великий друг весьма неровно дышит к этой красавице.

Нас встречал на огромном старом «линкольне» отец Нади и Павлуши. На этом «линкольне» возили Ленина, теперь Коба распорядился возить на нем старика Аллилуева.

После европейских столиц с роскошными витринами магазинов, залитых днем и ночью светом реклам, Москва казалась унылой, серой, безрадостной, обшарпанной, в каких-то жутких, нищенских заборах. Ужасно одетая толпа — в темном, сером, латаном-перелатаном. Особенно несчастно выглядели дети, ходившие, как правило, в обносках с плеча старших братьев. Лица худые, бледные. Еда была только по продуктовым карточкам. Продуктовая карточка — это бумажка, поделенная на клеточки с определенной датой и видом продуктов. «Сахар», «крупа», «хлеб», «масло» и т. д. Работающему человеку полагалось одно количество продуктов, неработающему члену семьи работавшего (иждивенцу) — гораздо меньшее. Карточек не имели «лишенцы» — лишенные политических прав «бывшие»… Детей в магазин старались не посылать, боялись, что они потеряют драгоценную карточку. Без карточки можно было умереть с голоду.

Ехали по Москве. Я слишком часто возвращался в столицу, контрасты меня уже не удивляли. Но импульсивная Роза новгородских полей восклицала:

— Боже мой, только Кремль и остался! — И еще что-то подобное.

Помню, как Павел бледнел от ее реплик, но остановить стеснялся. Стеснялся своего страха. Хотя конечно же не сомневался — шофер донесет…

Дома я узнал добрую весть: моя жена беременна. Ее поездка в Берлин оказалась для нас счастливой. Но поговорить не успели — Коба вызвал меня в Кремль.

По дороге я колебался, рассказывать ли Кобе о разговоре Нади с моей женой. Но колебания были напрасны. Не успел я войти, как он спросил:

— Жаловалась на меня?

Он, как всегда, все знал. Видно, слушал их беседу не только я.

— Надя плохо выглядит… — заметил я.

Он прервал:

— Ты врач? Нет? О ее здоровье я говорю с врачами, а с тобой — о деле. Когда выполните поставленную задачу? Я о генерале Кутепове…

По должности, повторюсь, генерал Кутепов был главой знаменитого РОВС, Русского общевоинского союза. Мы дурачили его несколько лет, он состоял в переписке с «Трестом», планировал диверсионные акты через него. Направил к нам Бешеную Марию. Но теперь, как я уже рассказывал, операция «Трест» умерла.

В кабинет вошел Ягода.

— Что предполагаете делать с генералом, товарищ Ягода?

— Стоит ликвидировать мерзавца, Иосиф Виссарионович, — ответил тот.

— Пуля нам не нужна. Пуля — слишком просто… Товарищ Наполеон после ряда покушений на него сначала похитил, а потом уже расстрелял герцога Энгиенского. Товарищ Кутепов так же засылает к нам убийц. Дама от него приезжала с бомбами… Надо хорошенько проучить господ эмигрантов. Генерал Кутепов нам нужен живой и здесь.

— Но после истории с «Трестом» Кутепов к нам не поедет, — возразил я.

— Это говорит когда-то бесстрашный Фудзи? Расскажи нам, товарищ Фудзи, как на Востоке берут невесту? Ее похищает удалой джигит! Эти парижские генералы — они по воздуху летают? Нет, по улицам ходят, к тому же часто одни. Неужели перевелись джигиты? Хочу увидеть его здесь, в Москве. Похищение заставит ужаснуться врагов. Когда господина генерала привезут, вынудим его обратиться к эмигрантам с призывом разоружиться. И заслужить право вернуться на родину… — У него горели глаза. Это был прежний боевик Коба. Он продолжал: — Товарищи евразийцы, от которых товарищ Фудзи в таком восторге… если они окажут помощь в этом деле — хорошо. Надо объяснить им, Фудзи, что они должны нам крепко помочь, коли хотят вернуться на Родину. Эмиграция — грех, а грехи, как нас с тобой учили в семинарии, нужно замаливать… делом.

На этом совещании было принято окончательное решение, достойное нашего с Кобой прошлого, — похитить главу ненавистного РОВС.

Я вернулся в Париж. Наша слежка выяснила, что Кутепов аккуратно посещает русскую церковь Союза галлиполийцев. При этом он на редкость пунктуален. В церковь и из церкви непременно идет по одному маршруту, обязательно ***пешком и, как правило, один.*** Это был его обычный моцион для здоровья. Жил он на улице Русселе, в доме двадцать шесть. Пару раз я приходил к этому дому за полчаса до службы и оба раза сталкивался с генералом. Мы были знакомы и здоровались. И

вдвоем шли в церковь Галлиполийцев, которая находилась, если мне не изменяет память, на улице Мадемуазель…

После долгого наблюдения мы устроили совещание — подвели итоги. Итак, выходил из дома Кутепов неизменно ровно за полчаса до начала службы. Шел по одному маршруту: с Русселе на рю де Севр, потом на бульвар Инвалидов и сворачивал на улицу Удино. На улице Удино мы и решили действовать.

… В тот день в церкви проходила панихида по какому-то царскому генералу. Конечно же Кутепов должен был быть там. Мы запланировали в этот день и закончить ***дело.***

На углу улицы Удино поставили «такси», рядом выставили полицейского. Это был французский коммунист, и вправду бывший полицейский. Он выполнял нехитрое задание: «в связи с ремонтом улицы» отсылал все машины в объезд.

Чуть поодаль стоял наш автомобиль. Мой агент Яков С-кий и еще один наш здоровяк дежурили у автомобиля. Я сидел внутри. Шприц с дозой особого снотворного я получил из той же лаборатории Х.

Все нам благоприятствовало: был необычный для Парижа январский морозец, он убрал с улиц теплолюбивых парижан. События шли по расписанию, генерал, как всегда, оказался точен. Ровно в десять пятьдесят, как и указывала наша слежка, он повернул на улицу Удино… Он был в штатском. Я знал, что операция требовала стремительного исполнения. Если промедлим, будет нелегко — Кутепов был атлетического сложения, коренастый, с большой головой, похожей на пушечное ядро, и зычным голосом. Так что если закричит…

Он приближался. Направлялся размеренными шагами к нашей машине. И мы сумели! Сделали все, как задумали. Мгновенно! Как только генерал поравнялся с нашей машиной, С-кий и Г-д ловко втолкнули его в открытую дверь. Я зажал ему нос платком с хлороформом, С-кий навалился на него, я всадил укол с быстрым снотворным. Генерал был готов. Я обнял его, и мы поехали. Он приник ко мне тяжелой головой, царапал щеку щетиной…

С-кий вел машину. Наш француз-полицейский в «такси» вместе со вторым агентом сопровождал, прикрывая сзади.

По дороге я покинул автомобиль, меня сменил второй агент, пересевший из «такси».

Он должен был сопровождать Кутепова до Москвы. Я вернулся на нелегальную квартиру, и фиаско случилось без меня. По дороге генерал начал приходить в сознание. Подменивший меня агент со страху сделал еще укол. Доза оказалась слишком сильной. Кутепов умер от инфаркта в машине. Его доставили на

наше судно уже мертвым. Корабль тотчас вышел в открытое море. Пытались отходить его, но тщетно. Ночью генерала, так и не узнавшего, что с ним произошло, сбросили в мешке в море. Там теперь его могила.

После исчезновения генерала началась истерия — в прессе, в обществе и среди русских монархистов. Требовали разорвать отношения с нами, провести обыск в полпредстве.

Из полпредства тотчас выехали несколько руководящих сотрудников.

Но французский премьер (кажется, это был Тардье), как и предполагал Коба, предпочел сохранить отношения с нами. Официальное расследование было поручено комиссару по особым делам, который ловко изображал энергичные действия. Возможно, он и придумал жертву, чтобы разрядить общественное негодование. Ею стал муж моей поэтессы. Бедный, он никакого отношения к похищению не имел. Но его взгляды, речи настолько компрометировали его, что ему стало невозможно оставаться в Париже. Его подозревали и травили. Он попросил нашего резидента помочь вернуться в Россию вместе с семьей…

Честно говоря, я ужаснулся, когда узнал, что Н. с ее привычкой ***все*** говорить приедет к нам. Ведь ей нельзя будет не только печатать свои стихи, но даже читать их дома. Я никогда не любил ее. Я никого в жизни по-настоящему не любил, кроме своей дочери. Но я ее жалел… И я, князь Д., продолжил отговаривать ее мужа. Я пытался объяснить ему, что он возвращается не в Россию, он возвращается в СССР, а это иная страна. Но он не захотел поверить твердолобому монархисту князю Д. Они с дочерью рвались на Родину.

Страх

Я вернулся в Москву в начале тридцатых… Как всегда, вернувшись, пошел навестить «наших» — старых друзей моих и Кобы. Как все переменилось! Помню, мы сидели за большим щедрым грузинским столом с Папулия Орджоникидзе, Авелем Енукидзе и Алешей Сванидзе. Вино лилось рекой.

Я сказал:

— Газеты совсем сошли с ума. Как Коба терпит все эти анекдотические славословия? Коба теперь повсюду. Есть такое испанское выражение: «Он у меня даже в супе»…

За столом тотчас замолчали…

После ужина Папулия пошел меня провожать. Мы шли к машине, когда он заметил:

— Опасно много жить за границей. Не сразу понимаешь родную страну. Это все, что я могу тебе сказать.

Все наши веселые кавказцы стали очень осторожны. Даже наш с Кобой друг Авель Енукидзе. Теперь и этот остроумец, рассказчик анекдотов, бессменный тамада на застольях был удивительно неразговорчив.

Заговорил он со мной только однажды, конечно же на улице… Нет, он ничего не сказал против Кобы. Видно, побаивался даже меня, своего старого друга. Он просто произнес с усмешкой:

— Все мы полюбили разговаривать на улице. Оттого, дорогой, проводим больше времени на свежем воздухе. Хорошо для здоровья, — и засмеялся.

Он был прав: жизнь стала здоровее, много гуляли, меньше проводили времени у телефона (телефону не доверяли, появилось даже выражение «это не телефонный разговор»).

Мой кабинет по-прежнему находился на Лубянке. Новую жизнь я постиг быстро. Ведь ее и устраивала родная Лубянка. Точнее — Коба, но Лубянка внедряла в жизнь. Усилиями Ягодки родное ОГПУ теперь было повсюду. Лифтеры, обслуга в домах партийных вождей (нянечки, шоферы), официанты в дорогих ресторанах, продавцы водки в рюмочных — все работали нашими осведомителями, секретными сотрудниками — как мы их называли, или «сексотами» — как, называл народ.

Помню, однажды в кабинете Кобы Ягода при мне начал читать Кобе очередное досье. Это было сообщение агента о нашем друге Авеле. Коба, видимо, хотел, чтобы я его услышал.

Ягода читал хорошо знакомое:

— «Товарищ Енукидзе живет с новой пассией — балериной Большого театра. Причем эта новая его любовница спит также с

английским атташе…»

— Слаба на передок, как говорят русские люди. А мы с большим другом Авеля товарищем Фудзи все удивляемся: откуда враги все о нас знают? Почему проваливаются наши агенты за рубежом? Объясните, товарищ Ягода, товарищу Енукидзе, что мы живем, окруженные классовым врагом. Наш враг старается проникнуть к нам любым способом, особенно через женскую пизду! Объясните все этому старому ебарю — мудаку. Скажите ему, что не понимать это простительно желторотому партийцу, но не старому большевику, кстати, награжденному вами знаком почетного чекиста!

(В последнее время Коба стал постоянно материться. Вся партия радостно последовала примеру. Это теперь считалось хорошим тоном — признаком близости к народу.)

— «Товарищ Каменев спит со своей машинисткой…» — продолжил читать Ягода.

— Ай-ай, как удобно устроился, — усмехнулся Коба, — видно, некогда ебаться на стороне, все свободное время плетет интриги.

— «Товарищ Калинин спит с балериной…» — читал Ягода.

— Подумай, и наш скромный мужичок тоже блядун. С балериной… как великие князья! Сильно подразложились наши товарищи. Про твоих блядей, Фудзи, мы не читаем. Времени сегодня мало и читать слишком долго…

Дом на набережной

Жена родила, и по предложению Кобы я переехал с семьей в новый дом.

Это был особый дом…

Бюрократия стремительно росла, и квартир для нее в Домах Советов и в Кремле уже не хватало. Тогдашний глава правительства Рыков придумал построить громадный дом для партийной и советской верхушки, а обеим гостиницам «Метрополь» и «Националь» (именовавшимися Первым и Вторым Домами Советов) вернуть их прежние названия и назначение. Он задумал это уже в двадцатых, но строительство долго не начиналось, искали средства. С 1927 года Коба, захватив власть, с неожиданной энергией включился в постройку дома. Я знаю, что по его поручению проект знаменитого Бориса Иофана рассматривали в нашем ведомстве. Обсуждением руководил сам Ягода. В результате в проект были внесены некоторые изменения, смысл которых я и жители дома оценят позже. Точнее, оценят слишком поздно…

Дом вырос на набережной Москва-реки — напротив взорванного храма Христа Спасителя. Народ сразу окрестил его Домом на набережной (официальное наименование — Дом правительства, другие названия — Первый Дом Советов, Дом ЦИК и СНК). Это была бесконечно вытянутая в длину гигантская, в двенадцать этажей, махина какого-то безысходно серого цвета. Во дворе ютилась одна из древнейших московских церквей, будто захваченная в плен нашим домом и превращенная в склад.

Дом оказался столь грандиозен, что почти полностью поглотил высшую номенклатуру — верхушку партии, наркоматов, армии и нашего ведомства. Коба лично принимал участие в распределении квартир среди «ответственных работников»…

В то время население в Москве обитало в коммуналках. Но в этом доме у каждой семьи была огромная отдельная квартира.

Из моих окон открывался потрясающий вид на Кремль… Когда я впервые вошел в свою квартиру, я понял, что итальянские гены архитектора Иофана сыграли злую шутку. Он перепутал климат. Решив, что находится в родной Италии, он наградил квартиры в доме огромными балконами и огромными окнами. Я въехал в дом зимой, и по комнатам гулял ледяной ветер с Москвы-реки. При этом, несмотря на холод, в нашей «итальянской» квартире, как и во всем доме, жили полчища тараканов. Их занесли из своих нищих бараков строители. Сколько потом мы их ни морили, избавиться не удалось. Ночью,

войдя на кухню и зажегши свет, я всегда мог увидеть, как они разбегались во все стороны…

Когда мы въехали, в квартире нас встретила… мебель. Темная тяжелая мебель из мореного дуба. Проектировал ее лично архитектор Иофан, но утверждал Коба. Он видел такую мебель в богатых купеческих домах. Как и дорогую фарфоровую посуду, ожидавшую нас в буфете, и медные кастрюли — на кухне. Все здесь было предусмотрено, даже свечи, коли свет перегорит. Мы оказались в светлом будущем.

По указанию заботливого Кобы во всех квартирах лежали памятки, где объяснялось, как пользоваться унитазом и главное — сливным бачком. Мой заботливый друг знал, что далеко не все обитатели это умеют.

В квартире была большая ванная — неслыханный в тогдашних новостройках комфорт. И отдельное объяснение, как ею пользоваться. Обо всем подумал Коба!

Впрочем, вскоре я понял, что оценил далеко не все его заботы…

Они оказались решительно безмерны.

В доме было множество подъездов. Самым фешенебельным являлся наш. Здесь тогда жили член Политбюро Постышев, маршал Тухачевский, один из моих начальников — глава военной разведки Ян Берзин и прочие высшие руководители.

Однажды ночью меня испуганно разбудила жена. В темноте кто-то… шептал.

Она хотела что-то сказать, но я зажал ей рот и вслушался. Шепот был едва различим. Я подошел к стене, прижался ухом. Шепот затих. Утром я осторожно простукал стену и все понял. В квартире были сделаны двойные стены. Между стенами в пустоте стояли живые подслушивающие устройства. Я где-то читал, что Медичи Великолепный, награждая дворцами своих вельмож, сооружал подобное. Итальянец Иофан попросту перенял опыт родины.

Теперь я внимательно присмотрелся к квартире. Из кухни имелся второй выход на «черную» лестницу. В эту дверь еще до нашего вселения был врезан замок. Мне вручили всего один ключ от него. Я попросил жену узнать у коменданта дома, где хранятся остальные ключи. Оказалось, что остальные ключи от «кухонного замка» — у коменданта! Комендант сообщил: «Их ***предписано*** держать у меня в комендантской из соображений пожарной безопасности. Если что, мы всегда успеем на помощь»…

Я жил в Москве всего месяц, но успел заразиться общим страхом! Я презирал себя за это, но ничего не мог поделать с собой. Наш великолепной дом стал казаться мне западней.

Накануне бури

Мой друг по-прежнему часто звал меня в гости. Но посещать его дом стало нерадостно. Жизнь там выглядела невыносимой…

Коба начал пользоваться бешеным успехом у женщин. Они наперегонки устремились в постель великой власти.

Для Кобы, маленького, рябого, коротконого человека, большую часть жизни проведшего в ссылках, это было внове.

Он всерьез воспринимал свои победы и неутомимо искал их. Он переспал с женами своих сотрудников. Я слышал даже о певицах из Большого театра. Он не щадил их всех, рассказывая стыдные подробности своим соратникам.

Рассказывал он, конечно, и мне.

Как водится у нас на Востоке, Коба презирал «этих давалок», изменявших мужьям.

Недаром многих своих пассий он отправит в лагеря или к стенке.

В это время у него начинался роман с Женей, женой родного Надиного брата Павла. Но здесь было совсем другое…

Высокая русоволосая красавица — мечта любого восточного человека. Наверное, впервые после Нади он серьезно увлекся (хотя впоследствии все равно ее посадил). Знала ли о ней Надя? Уверен: не знала. Иначе застрелила бы его за брата. Но до нее доносились сплетни о других его романах. К тому же он перестал с ней спать. Они теперь ночевали в разных комнатах. Чтобы отомстить, сделать ему больно, она часто пересказывала ему все, что говорили о нем молодые оппозиционеры в академии. Он ругался, страдал и ненавидел. Перестав с ней спать, он ревновал ее. Однажды сказал мне:

— Она огненная. Боюсь, у нее что-то начнется… Если что — убью… обоих!

Теперь Ягода был обязан делать особый доклад и о Наде. Она, конечно, узнала и принялась играть с огнем. Кокетничала в академии.

Ярость, бешенство поселились в доме. Скандалы вспыхивали по любому поводу. Помню один такой вечер. Надя только что пришла из академии и мирно разливала чай. Начал Коба:

— Приходил твой Бухарчик. Принес, как всегда, вино и в очередной раз заявил: «Выпьем и забудем прошлое». Здорово придумал. Слышишь, Фудзи! Раньше он Чингисханом называл товарища Сталина, к Зиновьеву и Каменеву бегал — «давайте объединимся против Чингисхана»! И вот пришел каяться…

Надя по-прежнему молча разливала чай. Но Коба продолжал

нападать:

— Мы с твоим Бухариным на днях шапками поменялись… случайно. Скажи своему Иуде, пусть принесет обратно мою. Боюсь, что в его шапке гнилые мысли остались.

Она наконец заговорила:

— Бухарина, слава богу, здесь нет, и я тебе не шепотом, не надейся… я во весь голос скажу. Вчера я была в городе… — (Тогда она еще ходила по городу как обычная женщина, ловила такси и часто опаздывала в академию.) — Все продуктовые магазины пусты, стоят только бочонки с капустой. Хлеб у нас по карточкам… Рабочие кормятся в столовых при фабриках и заводах. Вам, видно, Фудзи, невдомек за границей, что у нас голод. Все это предсказывал Бухарин, которого Иосиф за это ненавидит!

Она говорила медленно. Коба молча буравил ее взглядом, и глаза у него стали желтыми. В такие минуты никто никогда не мог смотреть ему в глаза. Но она, усмехаясь, глядела в них и продолжала:

— Вы, Фудзи, в ваших заграницах не представляете, что здесь устроил ваш друг. На Украине, в Поволжье, на вашем Кавказе, в Казахстане умирают от голода люди… Голодающие пытаются бежать в город, но у нас здесь хлеб только по карточкам и только горожанам. Иссохшие скелеты — крестьяне приходят на окраины умолять о куске хлеба. Их тотчас увозит милиция… Вчера мы с женой Раскольникова… — (бывший знаменитый революционер был послан или, как тогда говорили, «сослан» скромным послом в Болгарию), — столкнулись у «нашего» магазина, где, как вы знаете, голода нет — Коба своих хорошо кормит. Купили всего, вышли. Она из Софии приехала, разговорились. И вдруг вижу — в глазах ужас. Оборачиваюсь: крестьянин идет с женой, детьми. У жены на руках младенец. Двое постарше — прозрачные, тростиночки, пугливо держатся за ее юбку. Видно, от голода обезумели и пришли в центр. Увидели нас, он снял шапку и шепотом: «Христа ради, нет ли у вас кусочка хлеба, только побыстрее, а то нас увидят, заберут…» Он не понимал, что у нашего магазина дежурят переодетые гэпэушники. Бедняг забрали тотчас. Повели по улице, сзади бежали уличные мальчишки, кричали: «Сучье кулачье!», «Кулацкое отродье!». И камнями в них! Это у нас тоже Иосиф придумал. Он запретил говорить о голоде, вместо этого учителя рассказывают об извергах-кулаках, прячущих хлеб… Вот так и живем! Миллионы вымирают, а он велит славить коллективизацию, на Красной площади устраивает парады…

Все это Надя говорила, не отводя от него глаз. Коба не

выдержал, заорал:

— Скажи своим в вашей вшивой академии: «Господ и кулаков уничтожили, теперь ваше контрреволюционное гнездо уничтожим! Ничего, скоро ЧеКа будет вас воспитывать вместо говенных профессоров!» Поверь, хорошо воспитает!

— Только попробуй! Только посмей! — закричала она.

И он… замолчал! Так в молчании они и сидели. Я торопливо собрался домой, попрощался.

Он проводил меня до дверей, сказал:

— Бухарчик, Раскольников, его баба, моя баба, да и ты, желающий рассказать мне, как плохо живет народ, — все вы одним миром мазаны… Не понимаете Кобу и нынешнюю жизнь. Один умный человек объяснял таким мудакам, как вы: «Если бы народу хорошо жилось, то править им было бы очень трудно». Сейчас, после Революции, когда народ сошел с ума от воли — бузит, как школьники в отсутствие учителя, единственный способ заставить его вспомнить о порядке — это трудная жизнь.

Я шел домой, и меня преследовали яростные, бешеные глаза обоих. Какой тяжелый, давящий воздух был в этом доме! Как же чувствовалось… нарастание бури!

Я не знал, что мне предстояло своими глазами увидеть развязку, которая и поныне остается тайной.

Уроки Гитлера

В самом начале 1932 года я в очередной раз вернулся из Германии и ужинал в кремлевской квартире Кобы… Сейчас я уже с трудом вспоминаю эту квартиру в Потешном дворце. Дворец построили в XVII веке. Здесь для первых царей Романовых устраивались «потехи» — первые на Руси театральные представления, отсюда и название… Над восточным фасадом дома возвышались когда-то купола разобранной еще в прошлом столетии домовой церкви, тоже XVII века. И плоская крыша квартиры Кобы была, наверное, когда-то папертью этой церкви… Впрочем, при Петре в здании поселился куда более подходящий для нас с ним предок — Полицейский приказ.

Квартира Кобы была мрачной, средневековой, нерадостной, со множеством темных коридорчиков. Тени Кобу никогда не беспокоили, но всю старинную мебель он привычно велел выкинуть, заменив современной и быстро обветшавшей.

Правда, Надя мебель из своей комнаты не отдала. У нее по-прежнему стояли старинные кресла, старинное бюро и старинное огромное зеркало на ножках.

Коба владел небольшим кабинетом (в котором ночевал на продавленном диване) и маленькой комнатушкой рядом со столовой, с телефоном правительственной связи.

Еще один телефон — «для бабских разговоров» — находился в одном из темных коридорчиков.

Самой большой комнатой была столовая, где собирались по нашему грузинскому обычаю много гостей… Где-то в дальних коридорчиках помещались детские комнаты, комнаты сухопарой немки-экономки и старой няни.

В тридцатых в квартире жили четверо детей. Трое родных. Двоих родила Надя — Васю и Светлану. Третий — замкнутый, красивый грузинский парень Яков, рожденый умершей красавицей Като. Его Коба увидел только через тринадцать лет и почему-то невзлюбил, постоянно издевался над ним… Четвертый мальчик — Васин ровесник Артем, усыновленный сын погибшего друга Кобы. (Тогда это было принято в партии. У Ворошилова и Молотова также жили дети погибших коммунистов.) Отцу этого Артема повезло. Он вовремя погиб в железнодорожной катастрофе, не дожил до 1937 года. Иначе отправился бы тем самым расстрельным маршрутом, по которому пошли почти все друзья-сподвижники Кобы двадцатых годов.

В тот вечер в столовой Коба расспрашивал меня о Гитлере.

Надя с темным лицом вызывающе молчала.

Я рассказывал, стараясь говорить оживленно, будто не замечая происходившего:

— Со всех точек зрения такой политик, как Гитлер, был прежде невозможен в Германии. У немцев — великое уважение к «академически образованным». Для немца немыслимо, чтобы человек, не закончивший среднюю школу, обитатель ночлежек, претендовал занять положение, которое занимал Бисмарк… В стране, помешанной на военных чинах, вчерашний ефрейтор мог пытаться возглавить государство только в безумном сне. Но Гитлер пытается! И всерьез! Инфляция, безработица, постоянные политические скандалы, продажность в верхах и, главное, беспорядок в государстве делают невозможное возможным: во всех слоях населения родилось невероятное стремление к порядку. Порядок для немца всегда значил больше, чем свобода. Еще Гете писал, что отсутствие порядка для немцев хуже, чем несправедливость. Гитлер такой порядок обещает.

— Все это чепуха, — сказал Коба. — На самом деле в Германии продолжается Революция, которую предсказывал Ильич. Мы заразили ею мир. Повсюду простые люди жаждут повернуть колесо. Всякая Революция — это поворот колеса. «Кто был ничем, тот станет всем». Коммунисты не сумели ее возглавить в Германии, этот мерзавец, видимо, сумеет. Боюсь, вы его проморгали. Вы кормили нас сведениями об успехах компартии и верили их идиотским теориям… — (Коммунисты считали, что вслед за победой нацизма в стране обязательно последуют крушение капитализма и социалистическая Революция). — Вы, — продолжал Коба, — сообщали, с какой насмешкой относятся к Гитлеру интеллектуалы, как будто эти червяки что-то решают! — Он аккуратно повторял все, что я писал ему в своих отчетах из Берлина, начиная с 1925 года, и чему ни он, ни мое начальство на Лубянке не верили. — Только теперь, когда нацисты захватили парламент, спохватились!.. Что делать, глупость хуже преступления, — закончил Коба и начал расспрашивать меня «об арийской теории» «товарища Гитлера».

Я, как мог, изложил:

— Арийцы, по Гитлеру, раса повелителей, составляющая меньшинство. Они природные господа, носители мужского начала. Подавляющее же большинство населения, противостоящее этому господскому мужскому элементу, обладает женскими качествами. Женщина сопротивляется желанию господина-мужчины овладеть ею, одновременно… страстно желая этого. И точно так же большинство населения сопротивляется власти арийцев-господ, одновременно мучительно желая ее…

Тут вдруг заговорила Надя:

— Сообщите Гитлеру, что у него есть дружок, который думает о женщинах… «бабах», как он их называет… примерно так же.

Коба промолчал, но как посмотрел на нее! Она все с тем же радостным бешенством встретила, выдержала этот невозможный взгляд!

В следующий раз я вернулся в Москву накануне ноябрьских праздников 1932 года.

Позвонил Кобе. Он был очень весел, позвал меня отметить очередную годовщину Революции.

Жену мою он, как всегда, пригласить забыл, но я и не настаивал, уж очень она при нем… как бы сказать поточнее… вся как-то сжималась, тяжело ей было в его присутствии.

7 ноября я пришел в кремлевскую квартиру Кобы.

Мы должны были все вместе идти к Ворошилову, праздник решили отмечать у него.

Кобы не было. Надя стояла перед огромным старинным зеркалом на львиных ножках. (Как она объяснила, его нашли на складе в Кремле, где лежала мебель великой княгини Елизаветы Федоровны. Потом, после ***случившегося,*** Коба велит выставить зеркало из квартиры на лестницу.)

Обычно Надя ходила со скучным строгим пучком на голове, но сейчас волосы были уложены в модную прическу. Жена как-то попросила меня привезти Наде подарок из Берлина. Я привез — черное платье с аппликацией из белых роз. Она была в этом платье. Прикрепила на грудь чайную розу и завертелась, закружилась перед зеркалом… ну совсем та, прежняя гимназисточка! Потом крикнула:

— Не хотите ли приударить за мною, Фудзи? А то все боятся. Как появится ухажер, Иосиф его тут же к Ягоде. Но вы-то смелый, Фудзи! Вы с Иосифом людей убивали! — истерически захохотала она.

В это время вошел Коба. Надя, будто не видя его, продолжала:

— Ну вот, и вы испугались, все боятся флиртовать со мной. Такого страха нагнал на всех вас мой благоверный. «Бабы» от этого страха ложатся под него, они его боятся. А он думает — любят… Может, я не то говорю, Иосиф?

Он сказал мрачно:

— Расфуфырилась!

— Видите, грубит. Старается грубостью помучить. Ему мало, что он сына замучил, мужика замучил, страну замучил…

Он выругался, она замолчала. Мне показалось, что я где-то все это видел. И вспомнил. Вспомнил наше детство и его отца…

Потом мы втроем пошли в квартиру Ворошилова.

Огромный стол стоял посредине комнаты. Гостей было человек пятнадцать — все супружеские пары, только я сидел бобылем.

Коба тотчас начал ухаживать за женой командарма Н. Это была дама весьма приятная во всех отношениях. Как о ней насмешливо говорила сплетня — «слаба на передок». Фраза, которую полюбил повторять Коба. Подвыпивший Коба шептал ей что-то нежное. Обстановка накалялась. Надя начала вовсю кокетничать с ее мужем. Первым не выдержал Коба. Он повернулся к жене и, глядя в упор, щелчком бросил в ее сторону апельсиновую корку. Потом в нее полетел окурок. Она, будто не замечая, по-прежнему смеялась и что-то шептала командарму.

Наконец Коба сорвался:

— Эй ты! — но не договорил.

Надя словно ждала. Выкрикнула бешено:

— Я тебе не «эй» и не «ты»! — вскочила и выбежала из комнаты.

И тотчас бросилась за ней Полина, жена Молотова.

Все замолчали. Сидели и ждали. Полина вернулась очень быстро.

Коба мрачно спросил:

— Что?

Полина шепнула ему достаточно громко:

— Успокоилась, пошла домой спать.

Все вновь оживленно заговорили. Коба спокойно встал и вышел из комнаты, за ним последовала жена командарма.

Я решил не ждать развязки этого трудного вечера. Опасно быть свидетелем того, чего завтра будет стесняться Коба. Я знал своего друга — барса. И когда вскоре он вернулся, я, сославшись на нездоровье жены, попрощался.

Ночью меня разбудил звонок телефона. Голос Кобы хрипло по-грузински приказал:

— Приезжай! Немедленно!

Никогда не слышал у него ***такого*** голоса!

Я быстро оделся…

У Спасских ворот меня встретил охранник, проводил в квартиру Кобы.

…Как я уже писал, они с Надей спали отдельно — Коба в кабинете, она в своей комнате. Эти помещения располагались почти напротив. Если идти из столовой, то кабинет был налево, а ее спальня — направо в маленьком коридорчике…

Я вошел в кабинет и поразился убогости обстановки. Там стояли кровать, тумбочка и диван с грязноватой обивкой, из которого торчали пружины. Все это тускло освещала стоявшая на

тумбочке лампа под стеклянным зеленым абажуром.

Коба сидел на кровати и плакал! Второй раз в жизни я видел, как он плакал. Ни слова не говоря, он встал и пошел в коридор. Я молча вышел за ним.

У двери ее спальни лежала та самая роза, которая была у нее в волосах. Я поднял. Он открыл дверь. Я последовал за ним с розой в руке и, по-моему, машинально положил ее на кресло у кровати.

В комнате стояла тишина. Такая тишина! Горел ночник… В незашторенном окне — свет от фонарей из Александровского сада.

А на полу… Она, плашмя, на животе лежала у кровати… Маленький револьверчик валялся совсем рядом с вытянутой рукой.

Мы молча стояли над ней. Но это была не она — труп, тело без души.

Коба повернулся, пошел из комнаты, я за ним. Мы зашли в его жалкий кабинет.

Он сел на кровать, обхватил руками голову и заговорил:

— Пришел поздно, хотел с ней поговорить. Она не спала, закричала, обругала. Я ничего не сказал… Пожелал спокойной ночи, повернулся идти к себе… Она швырнула мне вдогонку, в спину, розу… Закрыл дверь, она сразу выстрелила. Видно, приготовилась… Знала, что будут думать люди… Ведь будут!

— Что ты, Коба!

— Будут! Будут, — повторял он. — И ты знаешь, что будут… Будут! Такое оружие врагам! Предала, опозорила… И хотела опозорить! — он вдруг захрипел, застонал. — Как ее жалко… дуру любимую!

— Как она могла… у нее ведь дети, — сказал я, чтобы Кобе стало ясно: я верю, что ***она сама.***

Он зашептал, вытирая слезы:

— Что — дети? Они ее забудут, они сейчас маленькие. А меня она искалечила на всю жизнь. Что мне делать, Фудзи?.. Ведь будут думать! Будут, будут… — твердил он, продолжая вытирать слезы. Они катились, лицо вспухло — давно плакал…

— Лечь спать… Проснуться утром. Пусть тебе об этом сообщат…

— Думаешь? — спросил он вдруг как-то деловито. — А не лучше ли… что был на даче, приехал только под утро?

— Нет, лучше спи. Звук у крохотного вальтера слишком тихий… и ты не услышал… во сне.

— Ладно, уезжай!

Я вышел из кабинета… Он громко, в голос стонал.

Я так и не знаю, что произошло в той комнате. В рассказ Кобы о том, что, вернувшись, он мирно пожелал ей спокойной ночи и пошел к себе, я не верю. Уверен, схватка продолжалась! Обругал он ее и тогда она сама?.. Или оскорбляла его и тогда он?.. Или оба? Она его оскорбляла, грозила револьвером, но старый боевик, герой романа «Отцеубийца», попытался выхватить у нее револьвер, и… в борьбе случился шальной выстрел? Не знаю и никогда не узнаю!

Я уехал домой. Позвонили в десять утра.

Услышал в трубке голос их экономки-немки.

— Прошу вас срочно приехать… С Надеждой Сергеевной… — помню, она замолчала, наконец сказала: — Большая беда!

Я приехал. В гостиной были Молотов и Ворошилов. Немка-экономка лежала в своей комнате — старой деве стало плохо. Я был на высоте. Изобразил изумление, спросил с порога:

— Что случилось?! Где Коба?

— Он спит, — ответил печально Молотов. — И мы не знаем, как ему сообщить.

(Мне показалось, что и он побывал здесь ночью, как и я. И так же, как я, хорошо играл.)

— Надежда Сергеевна… утром долго не выходила. Экономка понесла ей завтрак в комнату… и увидела… Надя застрелилась… Они позвонили начальнику охраны, потом Авелю Енукидзе… Авель разбудил меня… — как всегда неспешно говорил Молотов.

Ворошилов испуганно молчал.

— Что будем делать? — спросил Молотов.

— Я думаю, нас здесь слишком много, — заметил я. — Мы с Климентом Ефремовичем пойдем по домам. А вы его разбудите и расскажите.

И мы с Ворошиловым ушли.

Как ни мал револьвер, трудно было объяснить обслуге, почему Коба не услышал выстрела! Поэтому решили сказать, что он ночевал на даче и вернулся под утро. В газетах объявили, что Надя умерла от приступа аппендицита…

Гроб с телом выставили в Большом зале ЦИК в здании на Красной площади (там теперь огромный универмаг).

Подойдя к гробу, Коба заплакал. Приподнял ее голову, поцеловал. Прошептал, но громко, чтобы слышали:

— Прости, что не уберег…

Были торжественные похороны. Тысячные толпы вдоль улиц.

На следующий день молва рассказывала, как Коба шел рядом с катафалком с непокрытой головой, в распахнутой шинели. Шел пешком до самого кладбища. В его биографической хронике можно прочесть: «И. В. Сталин провожает гроб с телом

Аллилуевой на Новодевичье кладбище»…

На самом деле он шел за гробом только первые десять минут — по Манежной площади, где не было жилых домов и можно было не опасаться выстрела из окна. Потом сел в машину и уехал. Он не был трусом. Но у него оставался вечный страх перед покушением — страх старого террориста, который знает, как легко убивать. Он никогда не забывал нашей молодости. И потому после его отъезда «в распахнутой шинели» шел я. Я сбрил бородку, наклеил усы, надел его шинель…

Лошади медленно везли катафалк под бордовым балдахином. Пройдя через весь город от Кремля к Новодевичьему кладбищу, я вымотался порядком.

На поминки я приехал, поменяв прическу, наклеив бородку.

Когда все разошлись, он вдруг сказал мне:

— Знаешь, что они думают? Сам убил, а теперь льет крокодиловы слезы. Наверное, и ты так думаешь?.. Ладно, прости. — И он вдруг уткнулся головой мне в плечо. — Старые мы стали, нам надо чаще думать друг о друге, жалеть друг друга…

Когда я уходил, добавил:

— Она… письмо оставила… вражеское, ненавистное — кинжал в спину… такое письмо. С голоса Николая… (Бухарина) перепевки, будь он проклят!.. Спокойной ночи!

Значит и вправду… сама?!

Но письмо он мне не показал!

Мы часто встречались в эти дни… Он тогда снова читал Карамзина об Иване Грозном. Повторил:

— Очень глупый товарищ Карамзин, — закурил трубку. — Не понимает, почему изменился Иван. Они отняли у него жену… А зря! Она не давала ему расправить крылья — расправиться с врагами. Жалостливая была, обычная баба! Без нее товарищ Грозный стал свободен. — Помолчал, потом прибавил: — Пусть постель холодная, зато сердце у Ивана стало горячее, раскаленное сердце. Ведь это они ее убили? Как наш Бухарчик, бояре сводили ее с ума капитулянтскими идеями… — Эту мысль он теперь повторял часто. Как всегда, Коба не мог быть виноват. — Мижду нами говоря, стоящий политик должен жить без бабы.

Ему начали их привозить — одну за другой… Привезут-отвезут, но снова привезти не просит… И опять — новую.

Пока не привезли беленькую, пухленькую Валечку. Вот она и стала исполнять роль жены. Точнее — безгласной, бесправной обслуги при его кровати.

Новая жизнь товарища Сталина

Уже вскоре после смерти Нади он поменялся квартирами… с Бухариным!

Перед переездом велел вынести и сжечь кровать Нади. В огонь отправились и его кровать, и видавший виды диван, из которого торчали пружины.

Всю остальную жалкую мебель он оставил Бухарину, забрал только свои книги.

Он сам наладил свой новый быт. Распорядился срочно начать строить дачу. В отличие от прежней его дачи в Зубалово эту строили поближе к Кремлю. А пока его новая квартира быстро превращалась в полувоенное учреждение. Ее наполнили наши сотрудники с Лубянки; носили ли они брюки, юбки или мундиры, исполняли ли они роли обслуги или воспитателей при детях — все они имели воинские звания.

С каждым моим возвращением в СССР они все более напоминали мне опричников Ивана Грозного в Александровой слободе. Только при дочери он оставил старую нянечку, нанятую еще Надей…

Светанька была светловолосая (именно такая и должна быть у русского царя). Хорошо училась… Он обожал умненькую дочь. Правда, по-своему, по-особенному представлял ее будущее. Как-то, вспоминая об Ильиче, он вдруг сказал:

— Вот у Ленина сестра — настоящая революционерка. В молодости она многим нравилась. Ильич делал вид, будто хочет, чтоб она вышла замуж. Но предпринял все, чтобы этого не было. Почему? Потому что хотел, чтоб она служила только ему.

Об этом, думаю, мечтал и Коба.

Быстрыми темпами строили Ближнюю дачу.

А пока он все реже жил в московской квартире и все чаще обитал с детьми на даче в Зубалово…

До Революции это было имение нефтяного магната Льва Зубалова (его настоящее имя — Леван Зубалашвили). Думаю, Коба выбрал это место не случайно. Зубаловы владели нефтяными промыслами в Баку, где мы с нищим Кобой занимались, как я уже рассказывал, рэкетом в пользу партии, где умерла от болезни и безденежья его первая любимая жена. Теперь он жил во владениях прежних хозяев Баку — зримый образ его великого пути.

Подозреваю, имелась еще одна важная причина. Этот самый Леван страдал манией преследования, и Зубалово он выстроил как неприступный готический замок, окруженный высоким

забором из красного кирпича с крытыми черепицами башенками.

Коба продолжил дело Левона — велел вырубить лес вокруг дачи и насадить фруктовые деревья. Среди вековых лип прорубили широкие просеки, чтобы можно было гулять на виду у появившейся в конце двадцатых охраны.

Дом Коба тоже перепланировал — уничтожил великолепную готическую крышу. Соблюдая аскетический кодекс партии, привычно вышвырнул из комнат старинную мебель. Но тогда Надя, опять же привычно, оставила ее в своей комнате.

В первые годы Коба, семья и гости довольствовались бутербродами, которые привозили с собой из Москвы. Но уже в середине двадцатых появилась прислуга. Готовила, убирала… Ведь за традиционно огромным грузинским столом собирались многочисленные сподвижники и родственники — брат Нади Павел с женой Женей, другой брат — полусумасшедший Федор, сестра Нади Анна (Нюра) с мужем Станиславом Реденсом, одним из руководителей нашей Лубянки. Приезжали сюда и родственники первой жены — Мария и Алеша Сванидзе.

…Почти всех их Коба отправит на тот свет!

Я был в Германии, когда Ближнюю дачу достроили.

В Зубалово остались жить дети. Вместе с ними он поселил там Надиных родителей — стариков Аллилуевых. Сам Коба приезжал теперь сюда гостем и ночевать всегда возвращался на Ближнюю дачу.

На Ближней, поблизости от Москвы и Кремля, он жил отныне зимой и летом.

В опустевшей кремлевской квартире Коба бывал только зимой, когда туда на зиму перевозили Светлану и Васю…

Вася доставлял ему много хлопот. Слабенький мальчик, он не хотел учиться. Но при этом был невероятно тщеславен и хитер. Как-то Коба при мне сильно наорал на него. Через полчаса несчастный воспитатель Васьки некто Ефимов, офицер ОГПУ, совершенно теряющийся от страха в присутствии Кобы, принес записку. Коба прочел, усмехаясь, показал мне. На большом листе бумаги Вася изобразил могильный камень и написал на нем эпитафию себе: «Вася Сталин родился в 1921 году, умер бедный Вася уже в 1933 году».

Огромный Ефимов, как-то согнувшись, жался в дверях.

— Что думаешь по поводу его художеств? — спросил его Коба. — Если только ты думаешь?

— Товарищ Сталин, надпись производит нехорошее впечатление. Уж не задумал ли он что…

— Ты бьешь его?

Лицо Ефимова сморщилось от ужаса.

— Да как же можно, Иосиф Виссарионович!

— Не можно, а нужно, Ефимов… Но ты не сможешь, а жаль. Где он?

— В своей комнате.

— Приведи сюда «бедного Васю». По дороге объяви шантажисту, что отец прочел и послал его на три буквы.

Когда Ефимов ушел, Коба сказал:

— Учитель Василия написал мне письмо. Васька не учит уроки, но директор школы заставляет этого учителя ставить ему пятерки. Тот не захотел. Мой подлец осмелился ему угрожать. Представляешь, от горшка два вершка, заявил учителю: «Не будешь ставить мне пятерки, выгоню тебя из школы!» Вот мерзавец! Ты, конечно, помнишь нашего учителя словесности с его линейкой — бац по рукам? Перевелись такие учителя… очень жаль, — вздохнул Коба.

Ефимов привел Васю. Тот стоял перед отцом испуганный, малорослый, жалкий.

— Первое. Если еще раз похвастаешь, что ты мой сын, перестанешь им быть. Еще раз будешь угрожать мне, — Коба сунул ему в лицо листочек с эпитафией, — я отдам тебя в детский дом. А себе оттуда подберу пару способных сирот. Они будут моими сыновьями. Еще раз станешь угрожать учителю… — Он остановился и обратился ко мне: — Пиши, Фудзи! Напишем письмо учителю Васьки. Тому самому, которому Васька обещал, что выгонит его из школы. А ты, Васька, слушай и запоминай… — и прибавил Ефимову: — Чтоб завтра он написал мне пересказ моего письма. — Начал диктовать, расхаживая по кабинету: — «Уважаемый товарищ учитель! Очень рад, что в вашем лице нашелся хотя бы один уважающий себя преподаватель, который требует от моего нахала подчинения общему режиму в школе. И если мой наглец Василий не успеет погубить себя, то только потому, что существуют в нашей стране такие преподаватели, которые не дают спуску капризному барчуку. Мой совет: требовать построже от Василия, не бояться шантажистских угроз капризника, даже насчет самоубийства. Мой Василий — избалованный юноша средних способностей, дикаренок (тип скифа), не всегда правдив, любит шантажировать слабеньких руководителей, нередко нахал со слабой или, вернее, неорганизованной волей. Его избаловали всякие „кумы и кумушки“, то и дело подчеркивающие, что он „сын Сталина“. Со своей стороны обязуюсь почаще брать его за шиворот и не давать ему спуску!»

Он был сейчас великолепен, мой друг Коба. Мой соплеменник Коба! Так беспощадно и так верно — о сыне! В этот

день я им гордился!..

Когда я закончил писать, он сказал Ваське:

— Пожалуй, изложением письма не отделаешься. Ты выучишь наизусть это сочинение отца. — И добавил: — И скажи спасибо, что я не заставляю учить письмо о тебе всю страну. Запомни: я могу, если не исправишься! А сейчас обожди в коридоре.

После ухода заплаканного, несчастного Васьки Коба обратился к Ефимову:

— Следить за ним неусыпно. Он такой же истерик, как его мать. Понял? Идите оба!

Они ушли, а он молча заходил по комнате. Потом заговорил:

— Трудно мне с ним. Он к Светке меня ревнует. Он ее на днях напугал: «Знаешь ли ты, что наш отец раньше был грузином?» Та его спрашивает: «Что такое „грузин“?» Он объяснил: «Они ходят в черкесках и режут всех кинжалами. Отец скоро снова станет грузином и нас с тобой зарежет»… Та — в рев!.. С ними заниматься надо. Им мать нужна. — И добавил почему-то по-русски (наедине со мной он всегда говорил по-грузински): — Искалечила она меня на всю жизнь!

Он повторял это теперь часто как заклинание.

В начале 1933 года я снова уехал в Германию. Это был звездный час нашей вербовочной работы.

Но именно тогда и случилось невероятное.

Безумный, безумный мир

Невероятное! Гитлер стал канцлером! Я узнал об этом одним из первых.

29 января 1933 года в воскресенье в баре отеля «Кайзерхоф», где была штаб-квартира нацистов, собралась теплая компания — Гитлер, Геббельс и Геринг. Заказали пирожные и кофе. Обслуживал их наш агент.

Он и сообщил новость, которую еще не знала Германия: завтра Гинденбург назначит вчерашнего бездомного бродяжку Гитлера канцлером Германской империи! Все уже обговорено.

Гинденбурга упросили главные немецкие капиталисты — Тиссен, Круп и прочие. Теперь к ним присоединился любимый сын Гинденбурга, которого запугали — угрожали открыть его финансовые махинации. Но главное — за Гитлера были генералы.

Честно говоря, передавая сообщение в Центр, я все-таки до конца в него не верил. Австрийский ефрейтор, писавший по-немецки с ошибками, станет наследником Бисмарка!

Наша третья явочная квартира находилась недалеко от президентского дворца Гинденбурга. На следующий день я стоял у окна и увидел… Из дворца вышел Гитлер. Медленно спустился по ступенькам. Никогда мне не забыть презрительной усмешки, с которой он шел к машине. Дело было сделано — «старый господин», как называли восьмидесятилетнего Гинденбурга, еще вчера презрительно называвший Гитлера «богемским ефрейтором», сдался.

Гитлер был великий актер. Когда его привезли в «Кайзерхоф», он дал возможность соратникам почувствовать величие свершившегося — железный Фюрер… плакал!

Полночи через Бранденбургские ворота шли колонны штурмовиков с горящими факелами.

Они держали их высоко над головами, и всполохи их сливались в бесконечную огненную ленту. Духовые оркестры трубили военные марши под восторженные крики тысяч берлинцев, высыпавших на тротуары.

В окне рейхсканцелярии стоял Гитлер, ежесекундно выбрасывавший руку в нацистском приветствии, а из окна президентского дворца «старый господин», отбивая тростью ритм, глядел на марширующих головорезов. Нацисты неистово орали свой партийный гимн, слова которого принадлежали Хорсту Веселю, молодому нацисту, погибшему из-за любовницы-проститутки. Его застрелил в драке ее сутенер. Таков был гимн нового мира, которому «старый господин» вручил власть.

Надо отметить, что вождь этого нового мира Гитлер начал действовать сразу и стремительно. Не прошло и месяца — загорелось здание Рейхстага. Нацисты сумели подтолкнуть сделать это полоумного голландского радикала-коммуниста, мечтавшего о красном терроре. Этому сумасшедшему дали возможность поздним вечером «проникнуть» в Рейхстаг. Но поджечь в одиночку огромное здание ему явно было не под силу.

Тем не менее Рейхстаг запылал…

Я был тогда в Берлине. Самое удивительное: слухи о настоящих отцах поджога распространились по городу уже на следующий день. Говорили, что это сделал бывший вышибала из берлинского кафе, а нынче почтенный член нацистской партии группенфюрер Карл Эрнст с отрядом штурмовиков. Рейхстаг соединялся подземным ходом с домом Геринга, который был тогда главой Рейхстага. И по подземному ходу из его дома в Рейхстаг вошел отряд Карла Эрнста. Думаю, эти слухи приказал распространять… сам Гитлер! Он хотел, чтобы общество испытало подлинный страх от пришествия наглой, преступной, беспощадной новой власти.

В это время на берлинских экранах шел фильм ***«Жгучая тайна».*** Могу засвидетельствовать: десятки берлинцев, смеясь над выразительным названием, толпились у афиш.

Гитлер продолжил «пожар» — начал сжигать дотла прежнюю Германию. «Старый господин» по его требованию подписал чрезвычайные законы против… «красного террора». В поджоге Рейхстага обвинили коммунистов. Все свободы отменялись. Демонстрации, митинги запрещены. Вместо закона о неприкосновенности личности правительству предоставили право на обыски, аресты и конфискацию имущества «врагов нации». По всей стране шли беспрерывные факельные шествия, на площадях ревели громкоговорители — играли нацистские марши. Под эту какофонию, придуманную Геббельсом, началась неделя террора, названная «Неделей пробудившегося народа»… Полицейские и штурмовики врывались в дома, арестовывали и увозили «противников народа». Ходили слухи о подвалах, превращенных в застенки, где нацисты мучили и убивали. Множество моих агентов — коммунистов и социал-демократов — навсегда исчезли в эти дни.

Был избран новый рейхстаг. Невиданное в Европе (но так хорошо знакомое мне) министерство пропаганды Геббельса ежедневно обрушивало на страну «нужную информацию». Торжественное открытие сессии нового рейхстага транслировали все радиостанции Германии. И уже на следующий день показывали во всех кинотеатрах. Я смотрел это зрелище,

великолепно придуманное неутомимым «колченогим мерзавцем». В Потсдаме в знаменитой гарнизонной церкви — святыне немецкой военной славы, где покоилось тело Фридриха Великого, присутствовали все старые фельдмаршалы, генералы и адмиралы — в парадных мундирах времен кайзера, при всех имперских орденах. «Старый господин» Гинденбург в полевой форме со сверкающей каской в одной руке и маршальским жезлом в другой отдал честь пустующему креслу кайзера. После чего зачитал краткое напутствие правительству Гитлера и новому рейхстагу.

В ответ Гитлер обратился к Гинденбургу. Он говорил спокойно, скромно и проникновенно: «Благодаря вам, господин фельдмаршал, мы за несколько недель отстояли свою национальную честь. Благодаря вам символы былого величия и новые силы объединились. Мы выражаем вам свое почтение и благодарим Провидение за то, что оно возвысило вас, и за то, что вы ведете за собой новые силы».

Сойдя с трибуны, Гитлер поклонился низко «старому господину» и пожал ему руку. Историческое рукопожатие прошлого и будущего появилось во всех газетах.

Рейхстаг обсудил небывалый закон — о предоставлении Гитлеру чрезвычайных полномочий. По этому закону все полномочия рейхстага переходили к правительству, то есть к Гитлеру. Он получил и право менять Конституцию… Такой вот закон об отмене законов. Это были похороны Веймарской республики.

Я сумел присутствовать на заседании.

Всю площадь перед Рейхстагом и все проходы в зале заполнили штурмовики с хорошо подобранными разбойничьими лицами. Была обеспечена… неявка депутатов-коммунистов. На заседании объявили: «Коммунистов искали, но не нашли».

Под уличный рев штурмовиков «Даешь закон или смерть!» слово взял лидер социал-демократов (запамятовал фамилию). Он заговорил о преданных идеалах гибнущей республики и объявил: «Мы будем голосовать против!»

Гитлер, старавшийся быть сдержанным, тут не стерпел. Он буквально завопил: «Мне не нужны ваши голоса! Ваш предсмертный час пробил! Германия свободна от вас!» Он еще что-то выкрикивал, покрылся потом, глаза лезли из орбит. Когда же, наконец, остановился, рейхстаг испуганнодружно аплодировал. (Быстро они усвоили хорошо знакомые нам привычки!)

Улица теперь шутливо звала рейхстаг «самым большим хором Германии», ибо у него осталось одно право — петь хором государственный гимн. (Впрочем, шутки вскоре прекратились —

эффективно заработало гестапо. И это тоже было так хорошо знакомо…)

Принятый закон давал право правительству арестовывать депутатов рейхстага, если оно считало их врагами «пробудившегося народа».

Вторая партия в парламенте — социал-демократы — вскоре отправится в концлагеря. Вместе с ними туда же пойдут их непримиримые враги — коммунисты. Главные оппозиционные партии были запрещены, остальные партии угодливо, наперегонки, самораспускались.

Так что нацисты стали единственной правящей партией в Германии — «руководящей и направляющей!». Всякий, кто желал организовать другую партию, по закону(!) отправлялся в тюрьму… И так же как у нас после Революции, все оппозиционные газеты были немедленно закрыты.

Геббельс продолжил создавать новый мир. Летом того же 1933 года ввели обязательное приветствие для государственных служащих «Хайль Гитлер!». Все официальные письма должны были заканчиваться таким же заклинанием. Гражданам Германии надлежало иметь дома новые государственные флаги — со свастикой. Причем «желательно, чтобы свастику на знамени вышивала мать семейства» (и люди быстро выучили знакомое: «желательно» — значит «обязательно»).

1 апреля Гитлер объявил всенародный бойкот еврейским магазинам. В эти первые месяцы евреи изгонялись с государственной службы и из университетов. Но это было только началом.

1 мая Гитлер назвал Днем труда. Геббельс организовал очередное невиданное зрелище — стотысячную рабочую демонстрацию под лозунгом «Уважайте труд и рабочего», чтобы 2 мая… закрыть все профсоюзы! Теперь рабочими, их зарплатой, трудоустройством руководило государство. Забастовки считались преступлением.

Страна стремительно становилась нацистской.

В ноябре я слушал по радио речь Гитлера: «Когда кто-то говорит: „Я не перейду на вашу сторону“, — я спокойно отвечаю: „А кто вы такой? Вы умрете, вас не станет, а ваш ребенок уже принадлежит нам! И поверьте, ваши потомки не будут знать ничего, кроме принадлежности к новой Германии“». Он был прав: началось срочное переписывание учебников в духе нацистской партийности. Учителей спешно отправляли на курсы, где выясняли их взгляды.

И это было хорошо мне знакомо, будто Гитлер долго изучал нашу жизнь…

Вся молодежь должна была вступить в Гитлерюгенд. Родители, посмевшие препятствовать своим детям, приговаривались по новому закону к срокам тюремного заключения. Но таковых теперь не было.

«Красная капелла»

Как я уже писал, это был пик моей вербовочной работы. Уже после моего отъезда из Германии, накануне войны заработает небывалый радиооркестр наших агентов. Добрая сотня подпольных радиопередатчиков, размещенных в Германии и в оккупированных немцами странах. Знаменитая «Красная капелла» — так будет называться эта подпольная сеть.

Руководителем невероятного радиооркестра станет Харро Шульце-Бойзен. Кто бы мог подумать, что внучатый племянник знаменитого гросс-адмирала фон Тирпица, имя которого носил гигантский линкор, краса и гордость гитлеровского флота, согласиться работать на большевиков!

Вербовать его начал я. После Первой мировой войны в побежденной Германии Харро был культовой фигурой — вождем «потерянного поколения».

В черном свитере, с гривой белокурых волос, он являлся предводителем богемы и левого искусства, кумиром немецких художников-авангардистов.

В первый раз я увидел его в Париже, кажется, в 1922 году. В тот день группа сюрреалистов устраивала хулиганский вернисаж. Я конечно же пришел туда, потому что всех этих господ «леваков» в искусстве мы закономерно относили к нашим потенциальным агентам. Эти наивные экстремисты, проповедовавшие разрушение рабской буржуазной культуры, почитали Маркса и Ницше. Среди них были знаменитые в будущем поэты, прозаики и художники. Из тех, кого я запомнил на этом вернисаже, — двадцатилетние Арагон, Элюар, Бретон, русская девица Гала (кажется, ее настоящее имя — Елена)… Эта длинноногая дева с ленивой грацией кошки, с загадочными китайскими глазами была женой Арагона и любовницей Макса Эрнста (как и положено разрушителям культуры, сюрреалисты смело крушили и собственные семьи, устраивая любовные треугольники, а порой геометрические фигуры посложнее). Мы на Галу тогда очень рассчитывали. Особенно впоследствии, когда она стала женой знаменитого Дали.

Вернисаж проходил в подвале. В приглашении писалось, что будут выставлены новые полотна уже известного тогда Макса Эрнста. Помню, я спустился в подвал, но никаких полотен не увидел — там царила непроглядная тьма. Время от времени кто-то чиркал спичкой, будто помогая посмотреть на выставленные картины, но спичка тотчас издевательски гасла… В темноте начали непрерывно мяукать. Потом некие тени — это были

Арагон и Элюар — принялись носиться по подвалу. Они сбивали с ног посетителей, лапали визжащих дам. Все происходило под аккомпанемент оглушительного женского голоса, осыпавшего присутствующих отборными ругательствами, в это время другой женский голос подозрительно правдиво изображал оргазм.

Как и положено в то безумное время, вернисаж имел невероятный успех. Газеты дружно объявляли новое течение — сюрреализм — ***«тем»,*** то есть новым и главным. И общество поверило. Это было то же самое, что делали Геббельс и Коба: если во всех газетах изо дня в день повторять и повторять, неважно что, толпа обязательно поверит.

Триумф вернисажа отмечали в ресторане, где я и увидел белокурого красавца Харро.

Тогда, повторюсь, было легко работать по всей Европе. Как говорили о том поколении молодых европейцев: «Если европеец в двадцать лет не „левак“, у него что-то не в порядке с сердцем, если в сорок он не консерватор, у него не в порядке с головой»… Харро был двадцатилетним «леваком».

Знакомство наше я продолжил в Берлине, уже в самом начале тридцатых. В это время Харро презирал эпоху кайзера, но смеялся над правившими социал-демократами. Он был страстным почитателем революционной поэзии и поклонником нашей Революции. Издавал крайне левый журнал «Противник» («Дер Гегнер») и гордился тем, что журнал закрыла власть.

Уже тогда я начал его разработку. Этому «леваку» нравилось, что я, грузинский князь, вчерашний придворный, тем не менее не отрицаю заслуг большевиков. Наше знакомство укрепил щедрый дар: я преподнес ему две картины — Кандинского и Малевича, хранившиеся будто бы прежде в моем тифлисском дворце (Коба расщедрился и приказал «выдать товарищу Фудзи из музея эту мазню»). Харро был в восторге.

Потом власть начал захватывать Гитлер. И если в свои двадцать Гарольд являлся «леваком», то в сорок Фюрер не дал ему стать консерватором. Надо сказать, что в то время Гитлер был искренен. Я помню, как в одной из ранних речей он предупредил: «В нашей борьбе возможен только один исход: либо враг пройдет по нашим трупам, либо мы пройдем по трупам врага».

Разработка успешно закончилась, когда Гитлер стал канцлером.

Харро был в бешенстве от происходившего на родине. Во время очередной встречи с ним я понял: пора!

Он тогда работал у Геринга — в люфтваффе в «исследовательском отделе». Сотрудники отдела

специализировались на прослушивании телефонных разговоров. Прослушка стала нормой жизни Германии (и это тоже было родное!).

Его работа представляла для нас огромный интерес, открывала великие возможности! К тому же Харро читал лекции высшим функционерам нацистской партии. Кроме того, он был «свой» в самом закрытом аристократическом обществе, его любовницей являлась княгиня Л., а женой — племянница князя Оленбурга… Короче, бесценный человек!

В тот день мы шли с Харро по Унтер-ден-Линден. Какой-то старик-еврей забрел сюда, несмотря на запрещение евреям появляться на главной улице Берлина. Здоровенный детина-штурмовик бил его сапогами. Он устроил игру. Старик падал — палач ждал. Старик поднимался — и палач снова ловко сбивал его сапогом под хохот зевак… У Харро заходили желваки. Оказалось, старик — знаменитый скрипач. Харро уже готовился броситься на штурмовика, но я успел схватить его за руку. Потом он шел и яростно ругался:

— Безумный поганец в обезумевшей поганой стране!

Я сказал ему:

— Я вас понимаю! Даже я, князь Д., ненавидящий большевиков, готов им сейчас помогать… — и прибавил что-то вроде слов Черчилля: — «Если с Гитлером будет бороться сам дьявол, я готов стать его союзником».

Он с чувством пожал мне руку… После чего можно и нужно было спешить. Завершающую часть разработки Харро я передал нашему нелегалу. Он познакомился с ним и свел его с неким Арвидом Харнаком.

Арвид Харнак был племянником знаменито — го богослова, блестящим молодым экономистом из министерства хозяйства; ему весьма доверял сам министр, знаменитый финансист Шахт. Его жена — американка, помешанная на Марксе и Троцком. Харнак разрабатывался нами с 1932 года. Этот кутила и игрок уже тогда начал получать от нас деньги. Но работал он с нами не из-за денег, он был идейный марксист и тайный член коммунистической партии.

Уже без меня, в 1935 году состоится историческое знакомство Харнака с Бойзеном.

Вскоре после этого заработает «Красная капелла». Главой подпольной сети станет Харро Бойзен. Внучатый племянник адмирала Тирпица проходил у нас под кличкой Старшина. Харнак отправлял нам донесения под кличкой Корсиканец, позднее — Балтиец. Старшина и Корсиканец будут главными нашими информаторами накануне войны.

У Харро, как я и предполагал, оказались друзья-интеллектуалы во многих министерствах. Вскоре с ними уже сотрудничали люди из министерства пропаганды, писатели, актеры, режиссеры — левая богема… Капелла ***пугающе*** быстро росла. Все эти цифры были радостны для отчетов Иностранного отдела нашей Лубянки, но меня они пугали. Организация при таком количестве посвященных обречена. Я сумел объяснить ситуацию Кобе, последовала шифровка нашему резиденту: «Считаем необходимым группу резко ограничить».

Но, к сожалению, накануне Второй мировой войны я очутился в лагере. И вместо нас, старой гвардии, отправленной в лагеря или расстрелянной, пришли непрофессионалы. Короче, после начала войны они умудрились потерять связь с «Капеллой». (Наша портативная радиостанция работала на батарейках, то есть всего два часа, после чего требовалась перезарядка. Да и радиус действия у нее был смешной — до тысячи километров.) И все-таки наш связник вышел на них. Но вместо того чтобы заставить их временно лечь на дно, работу «Капеллы» продолжили. Это было летом 1942 года, и уже осенью их всех арестовали.

Как я узнал впоследствии, Гитлер лично придумал казнь для полусотни молодых интеллектуалов. Чтобы продлить мучения, веревку перекинули через крюк для подвески мясных туш. Затягивали петли на шеях постепенно. Глаза несчастных лезли из орбит, вываливались кишки.

Но вернемся в 1933 год, когда благодаря Харнаку мне удалось спастись.

В конце 1933 года я провалился. Как и положено при диктатуре, тайная полиция при Гитлере заработала отменно. Гестапо арестовало моего агента. Я перестал встречаться с остальными — теперь их вел Центр. Через неделю я понял: за мной уже следили. Следили профессионально, но и я профессионально засек их. Был один выход — попытаться выиграть время, то есть показать, что я ни о чем не догадываюсь. Я отправился к нашему агенту, который провалился и его сумело перевербовать гестапо (о чем мне стало известно от Корсиканца). В разговоре с агентом я пожаловался, между прочим, на острую боль в зубе. Он тотчас порекомендовал своего врача, но предупредил, что тот работает медленно. Я сказал, что мне спешить некуда, лишь бы врач был хороший.

Я пошел к рекомендованному специалисту и инсценировал острую зубную боль. Тот вскрыл мне зуб, положил мышьяк, велел приходить через два дня. И тотчас сообщил, куда надо. Теперь слежка знала, что я ничего не подозреваю и никуда не денусь двое суток.

Они ждали от меня новых посещений агентов. Ждали продолжения провала сети.

Я понимал: долго дурачить их не удастся. Наслышанный о пытках, я ходил с зашитой в воротничок рубашки капсулой из все той же лаборатории Х. Один укус и… Ощущение удивительное, когда ты приготовился к смерти. Утром просыпаешься, думаешь: возможно, это твой последний день. И оттого глядишь на всех людей насмешливо. Зачем-то суетятся, куда— то бегут…

Я сумел связаться с Корсиканцем. Он не подвел, вывез меня из Берлина в багажнике автомобиля. Вскоре через Женеву я вернулся в Москву.

Уже на следующий день меня привезли на новую дачу Кобы — Ближнюю.

Был вечер, и в свете фонарей я увидел промелькнувший пруд в зелени листвы. Сама дача, зелененькая, одноэтажная, показалась мне довольно скромной по сравнению с зубаловским домом.

Присутствовали в тот вечер Молотов и Ворошилов. Они расспрашивали меня о Гитлере, Коба молча слушал.

Он очень изменился после Надиной смерти. Был все время печален…

Чтобы как-то поднять настроение, я начал шутливо рассказывать о нашем сходстве с «мерзавцами» — флаг Германии был «цвета крови», как и наш, и первого мая у них тоже праздник — День национального труда; Германия отмечала и «свое» восьмое марта — День немецких женщин. Ворошилов, как и положено вчерашнему слесарю, изумленно слушал. Молотов был непроницаем. Но, взглянув на своего друга, я понял: подобное здесь рассказывать не надо.

Я торопливо перешел к гитлеровским зверствам — сожжению книг на костре… Я был в тот день на площади перед университетом. В свете факелов разожгли гигантский костер. Толпа — молодые лица в отблесках пламени факелов и костра. Юноши и девушки с невероятным энтузиазмом бросали в огонь перевязанные тесьмой пачки книг. Весело, бодро выкрикивали имена авторов:

— Маркса в огонь! Эйнштейна в огонь! Спинозу в огонь! Фейхтвангер и Гейне — пусть горят! — В основном это были книги знаменитых евреев. — Смерть евреям! — радостно, счастливо вопила молодежь.

У костра возник маленький человечек в черном сверкающем плаще — Геббельс. Его речь по радио слушала вся Германия: «Освещенные очистительным огнем, вы даете здесь клятву верности науке и нашему Фюреру! Век извращенного еврейского

интеллектуализма закончился. Прошлое сгорает в пламени, будущее рождается в ваших сердцах!»

Вопли восторга! Молодежь счастлива. Молодежь всегда радостно присоединяется к идеям насилия. Сколько раз мы это использовали в нашей работе…

Я закончил рассказ. Простодушный Ворошилов негодовал по поводу «подобного варварства». Я вспомнил к случаю любимую цитату немецких коммунистов: «Там, где сжигают книги, рано или поздно будут сжигать людей». Это было пророчество Гейне. Молотов молчал. Молчал и Коба, курил трубку. Я понял: опять не туда! Ведь Коба делал то же самое, только без публичных костров. Просто книги тех, кого он объявлял врагами, тотчас исчезали из библиотек. Они также сжигались, правда тайно. Секретный костер Кобы был куда надежнее. И страху нагнетал больше — от неизвестности.

Обед, принесенный «чекистами» (они на даче выполняли роль прислуги), прервал мои мучения и рассказы.

Некоторое время я жил в Москве. В начале 1934 года состоялся XVII съезд, названный Съездом победителей. После долгого перерыва я был «гостем» съезда.

Съезд мертвецов

Как и положено Вождю партии, Коба выступил с основным отчетным докладом. Коверкал (или украшал) свою русскую речь грузинским акцентом. Теперь это стало модно, все националы-партийцы, прежде чисто говорившие по-русски, заговорили с акцентом.

Коба сказал в докладе:

— Если на Пятнадцатом съезде еще приходилось доказывать правильность линии партии и вести борьбу с известными антиленинскими группировками, а на Шестнадцатом съезде — добивать последних приверженцев этих группировок, то на этом съезде… и ***бить-то некого!***

Грохот оваций. Делегаты вскочили с мест. Коба скромно улыбался, бессильно махал рукой — пытался утихомирить восторженную публику. Не тут-то было! Овация не утихала, наоборот — аплодировали уже с выкриками «Да здравствует товарищ Сталин!», «Великому Сталину — слава! Слава!».

Повторялось ставшее традиционным: Коба как бы растерянно оглядывался на президиум, жестами просил унять зрителей. Но президиум, нежно улыбаясь, стоял вместе с залом и аплодировал. Помню, отбив ладони, я перестал хлопать. Но тут же заметил: на меня с негодованием смотрят окружающие. Зал и президиум продолжали нескончаемые, громовые аплодисменты! И я присоединился к ним вновь.

Наконец успокоились, уселись на места. Чтобы вскоре опять вскочить и рукоплескать… Весь доклад сопровождала эта нескончаемая фантастическая гимнастика: сели — встали — захлопали…

Я с непривычки отбил ладони, они потом болели… Воистину несмолкающие аплодисменты. Буря восторга. Я орал вместе со всеми: «Слава любимому Сталину!»

И началось! Один за другим поднимались на трибуну вчерашние вожди Октября. Они исполняли ритуал — клеймили свои прежние убеждения и превозносили прозорливость и мудрость Вождя. Это была невиданная коронация моего друга Кобы. И небывалое соревнование в славословии! Ни римские цезари, ни русские цари не слышали таких восхвалений. Ироничный Радек, умнейший Каменев, ленинские сподвижники Пятаков, Сокольников бесстыдно славили и славили Кобу. Простерши руку в зал, будто Ильич на броневике, Зиновьев, недавний вождь Октября, презиравший и смертельно боявшийся Кобу, выкрикнул фальцетом новый, созданный им лозунг: «Да

здравствуют наши великие вожди Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин»…

Впервые произнесенное сочетание полетело в наше будущее. Оно украсит миллионы плакатов, будет написано на бесчисленных гигантских транспарантах, им будут заканчиваться миллионы речей и партийных собраний!..

На вечернем заседании эстафету самобичеваний и восхвалений подхватил Бухарин.

Я не поленился, вернувшись домой, записал отдельные мысли угодливого покаяния: «Товарищ Сталин был целиком прав, когда, блестяще применяя марксистско-ленинскую диалектику, разгромил целый ряд теоретических предпосылок правого уклона, сформулированных мною……После признания нами, бывшими лидерами правых, своих ошибок… сопротивление со стороны врагов партии нашло свое выражение в разных группировках, которые все быстрее и все последовательнее ***скатывались к контрреволюции…*** Это касается и ряда бывших моих учеников, получивших заслуженное наказание…»

Я был потрясен. Любимец Ленина, интеллектуал Бухарчик под грохот аплодисментов публично предал своих учеников!

Естественно, не отстали и верные соратники Кобы. Какую изобретательность в эпитетах проявил вождь Ленинграда Киров, славя «дорогое сердцу каждого честного человека на земле имя товарища Сталина»: «Кормчий великой социалистической стройки», «Величайший стратег освобождения трудящихся» и т. д.

Зал ревел от восторга! От Кирова поступило небывалое в истории съездов партии предложение: «Все положения и выводы отчетного доклада товарища Сталина принять к исполнению ***без обсуждения,*** как партийный закон». Тотчас все торопливо вскочили с мест, и опять начались мучительно долгие, несмолкающие аплодисменты. И опять я не выдержал и первым перестал хлопать. Вокруг продолжалась громовая овация. И снова под негодующими взглядами мне пришлось вернуться к избиению моих несчастных, плохо тренированных ладоней (слишком много времени проводил за границей).

На предпоследнем заседании Съезд объявил уже построенным «фундамент социалистического общества». Всего через год после ужасающего голода, выкосившего миллионы, было провозглашено, что мы уже начинаем жить при вожделенном социализме, ради которого свершилась наша Великая Октябрьская Революция.

Коба назвал съезд Съездом победителей. Это была, конечно, скромность. Ибо это был Съезд ПОБЕДИТЕЛЯ. (Кстати, в Германии очередной свой съезд нацисты назвали Съездом

победивших.)

Но оказалось, Победителя ждал сюрприз…

Накануне выборов в руководящие органы партии я был в кабинете Кобы, когда туда вошел Ягода.

Он еще больше располнел, но лицо, наоборот, как-то съежилось, сморщилось. Он постарел. Однако сейчас это было не так видно, в кабинете горела только настольная лампа. Я стоял в полутьме у стола. И Ягода обратился ко мне:

— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович…

После того как я отрастил усы, я стал снова похож на своего друга.

И тут он увидел Кобу, стоявшего у окна. Испуганно спохватился, повторил приветствие. Потом вынул несколько листов из папки и вопросительно посмотрел на него. Я понял и собрался уйти.

— Да нет, останься, — сказал Коба. — Тебе полезно узнать, какие «искренние» люди окружают товарища Сталина.

— Здесь разговоры товарища Бухарина, записанные его любовницей, — объявил Ягода. — Товарищ Бухарин незадолго до съезда отправился в Питер на сессию Президиума Академии наук. К нему в вагон подсела наша сотрудница. Потом по его предложению перешла в его купе, и там он ее…

— Уеб! Надо же! У него было две жены… и все мало, — перебил зло Коба. — Мало ему малолеток-учениц… Ну давай дальше.

— О его новой малолетке тоже есть материал, но это потом, — сообщил Ягода. — Из Ленинграда товарищ Бухарин отправился в Москву на съезд. Возвращался снова в одном купе все с той же нашей сотрудницей. В вагоне он встретил первого секретаря Северо-Кавказского обкома партии товарища Шеболдаева, который так же ехал в Москву на съезд. Весь их разговор наша сотрудница записала. Они оба вышли из своих купе и разговаривали, стоя у окна в вагонном коридоре. Бухарин, как обычно увлеченный собственной речью, говорил на весь вагон, в то время как Шеболдаев ему громко шептал: «Тише, тише!»…

Здесь Ягода достал следующий листок из папки. Теперь он читал донос, как пьесу, — по ролям:

— «Товарищ Бухарин: „Это маленький, злобный, рябой человек. Точнее, не человек, а дьявол“…»

Ягода смешно произносил слова Бухарина, стараясь изобразить одновременно свое негодование по их поводу.

— Ты не артист, читай поспокойнее, — сказал Коба.

Но умный Ягода продолжал с прежним «негодованием»:

— «Товарищ Бухарин: „Вот кому мы доверили свою судьбу, судьбу партии, судьбу страны!“

Товарищ Шеболдаев: „Он бесчестный интриган, усиливавший наши разногласия, чтобы сожрать нас по одному… Разделяй и властвуй — как просто. Нельзя было его переизбирать в Генсеки. Надо было верить Ильичу. Он окружил себя покорными каменными жопами вроде Молотова“.

Товарищ Бухарин: „Что делать, для народа он теперь символ партии… Нет, против него уже не пойдешь, хотя все мы знаем наверняка, что он сожрет нас всех“.

Товарищ Шеболдаев: „Если не поспешим“». Что ответил товарищ Бухарин, наша сотрудница не расслышала…

Коба молча расхаживал по кабинету. Ягода продолжил:

— С вокзала товарищ Бухарин поехал в «Метрополь», где порой живет, хотя вы дали ему квартиру в Кремле.

— Думает, там болтать безопаснее, — заметил Коба.

— И в «Метрополь» пришла к нему все та же наша сотрудница. Когда она уходила, пришел товарищ Рыков. Пока она собиралась в комнате, товарищ Бухарин в передней рассказал товарищу о разговоре с товарищем Шеболдаевым. Тогда товарищ Рыков накричал на него: «Ты наверняка все это орал на весь поезд, ты не умеешь иначе. Ты — токующий тетерев, когда говоришь… И мы не знаем, кто такой Шеболдаев…»

— Зато я знаю, — мрачно прервал Коба. — Этого троцкиста давно надо к стенке…

Ягода читал дальше:

— «Товарищ Рыков: „Из-за тебя возьмутся за нас опять! Глупец! Он помешан на подозрительности. Но он — Хозяин, а ты — до седых волос мальчик-бухарчик!“

Товарищ Бухарин: „Вырвалось, накипело!“» Конец разговора наша сотрудница не слышала, ей пришлось уйти…

Я представил, как она вышла в коридор… И как, увидев ее, наверняка побледнел Рыков. Он не знал, что она была в комнате, и оттого спокойно произносил свои речи… Представляю, что он сказал потом Бухарину!

— К сожалению, больше около товарища Бухарина не будет нашей сотрудницы. Он с ней расстался. Объяснил, что влюбился и собрался жениться на малолетке. Ей восемнадцать, она — приемная дочь товарища Ларина, — закончил Ягода.

…Это была дочь калеки Ларина, которого обожал Ленин. Революция рождает необыкновенных людей. Она может заставить двигаться даже парализованных. Так, в дни Французской революции прославился парализованный Кутон, член Комитета общественного спасения. Каждое утро Кутона сносили с

лестницы, сажали в специальное кресло, двигавшееся при помощи рычагов. Он сам катил это кресло в толпе, которая шарахалась от беспощадного революционера. Катил в свой Комитет общественного спасения, чтобы там судить, точнее, осуждать на гильотину врагов революции. Правда, потом, как и положено в революцию, гильотинировали его самого. Положили жалкое тело в телегу и повезли на гильотину. И уложили крохотный сгусток бешеной энергии под топор.

Ленинский друг, парализованный Ларин, успевший, к счастью для себя, умереть вовремя (то есть до 1937 года), был одержим такой же небывалой энергией и беспощадностью. Когда-то я боготворил их обоих — Кутона и Ларина. Как все это было давно — будто в другой жизни!..

Тогда же, в ***той*** жизни, Коба походил по кабинету и обратился ко мне:

— Знаешь, почему Бухарчик плюет на осторожность? Знает, что я его люблю. И Надя, которую он убил, его любила! И верила, что он меня любит… Давай дальше, Ягодка, кто еще у тебя отличился?

— На вечеринке грузинской делегации, — продолжил Ягода, — Папулия Орджоникидзе назвал вас нехорошо по-грузински. Его брат, товарищ Серго Орджоникидзе, как известно, глуховат, и он переспросил Папулию. В результате тот повторил нехорошее слово вместе с вашим именем. Товарищ Серго Орджоникидзе только усмехнулся, а товарищ Лакоба поддакнул…

— Да, очень неискренние люди. Надо будет и здесь навести порядок, чтобы все поняли хорошую русскую поговорку: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь»… Мы с Фудзи учили в семинарии «В начале было Слово». Вот и надо научить товарищей отвечать за Слово… Ну, дальше?

Ягода молча положил новый листочек перед Кобой. Тот прочел. И повторил:

— Я же говорю — вокруг неискренние люди. А ты, Фудзи, оказывается, побывал в Испании? Ай, ай, почему утаил, брат?

Я с изумлением на него посмотрел.

— Удивляешься? А сам испанские пословицы про товарища Сталина рассказываешь. «Он у меня даже в супе»…

(Боже мой! Ему донесли и это!)

— Впрочем, это еще не все. — Он вернул папку Ягоде. — Читай.

Ягода прочел:

— «Когда члены партии аплодировали Генеральному секретарю, нашему великому Вождю товарищу Сталину, товарищ

Фудзи дважды первым переставал аплодировать…»

— Не аплодирует и все тут! — засмеялся Коба. — Товарищ Фудзи и впрямь не искренний друг.

Я хотел ответить, но Коба предупредил мои объяснения:

— Я шучу… Товарищу Сталину не нужны никакие аплодисменты… А вот международному движению нужны. Весь мир должен видеть, как мы едины.

Но он не шутил, и я это знал.

— Теперь самое важное, Иосиф Виссарионович, — сказал Ягода. — Даже не представляю, как назвать эту подлость…

— Говори.

Ягода колебался.

— Русский язык понимаешь? Говори!

— Многие депутаты собираются завтра голосовать против вас.

Вот тут Коба изменился в лице. Он молча, почти с ненавистью посмотрел на Ягоду.

Итак, славословие было только на трибуне… Никакой он не победитель! И это сказано при мне! Я, сверстник, друг детства, услышал о его позоре! Глупец, усердный Ягода не понимал, не чувствовал причины его бешенства. И продолжал:

— Полтораста человек готовятся… против. Но все равно товарищ Сталин пройдет единогласно. — Он мудро улыбнулся. — Побеждает, как известно, не тот, кто голосует, а тот, кто считает…

— Замолчи! — хрипло сказал Коба. Он заходил по кабинету. Потом остановился, замер у окна.

— Теперь самое подлое, — не унимался глупец Ягода. — Мерзавцы говорили с Кировым — просили его занять место Генерального секретаря партии, но он…

Коба молча смотрел на Ягоду, он уже не слушал.

И Ягода торжественно закончил:

— Отказался!

Коба обратился ко мне:

— Спокойной ночи, Фудзи. — Он хотел остаться наедине с Ягодой. Но на прощание велел: — Усы сегодня же сбрей, отрасти бородку подлинней. Не следует быть похожим на товарища Сталина.

Наступил день голосования в высший орган партии — Центральный комитет. Никаких случайностей быть не могло. Коба придумал выборы без выбора. В список для голосования было внесено ровно столько кандидатов, сколько следовало избрать. И когда началось голосование, Коба подошел к урне и демонстративно, не глядя в бюллетень, опустил его туда. Он как

бы приглашал последовать его примеру. Все это было противно, и мне захотелось его вычеркнуть. Но конечно же я не сделал этого. Опытным глазом увидел «наших товарищей». Они стояли у урны, маячили повсюду. Да и бюллетени, не сомневаюсь, были помечены.

Голосование закончилось.

На вечернем заседании на трибуну вышел Каганович и объявил результаты работы Счетной комиссии. Коба получил всего три голоса «против», а Киров — четыре… Далее следовали остальные.

Раздался несмолкаемый шквал аплодисментов. Мы преданно, бесконечно аплодировали, отлично зная, что все это — ложь. Мой друг Коба мог презирать нас всех…

На следующий день, входя в его кабинет, я столкнулся в дверях с выходившим оттуда Ягодой…

Коба сидел за столом, на котором лежала огромная куча бюллетеней. Я понял — это те, кто голосовал «против». Рядом с бюллетенями — листы… и на них столбиком написаны фамилии… Всех проголосовавших против Кобы вычислил Ягода.

Уже после смерти Кобы я узнал: их было двести семьдесят! Двести семьдесят горячо аплодировавших ему делегатов тайным голосованием высказались против него. Но не нашлось ни одного из нас — из «железной ленинской гвардии», кто заявил бы ***вслух*** о своих убеждениях. Такой был страх! Причем даже не страх смерти, это ведь происходило еще до террора. Это был страх ссылки, жалкий страх потерять привилегии! Но даже в дни самых страшных казней Нерона все-таки находились сенаторы, выступавшие с речью против Цезаря. Хотя они знали точно: это — смерть. Но ведь говорили! Вслух! А тут — ни одного… Думаю, голосование доказало моему другу самое главное: ***никакой железной партии более не существует.*** Теперь Коба мог без опаски приступить к любым действиям.

Мы не понимали, что на том съезде проголосовали за собственную смерть.

Итак, Коба сидел за столом над списками, покуривал трубку. Потом сказал:

— Вчера читал статьи Ткачева. Бухарчик дал. Много пустой шелухи, но одна фраза хороша. Бухарчик ее часто цитирует… Ткачева спрашивают: «Скольких людей придется ликвидировать, если власть захватим мы, революционеры?» И Ткачев отвечает: ***«Надо думать о том, скольких можно оставить!»*** Мысль хороша. Но уверен, они слабы были выполнить. И у нас тоже больше разговоров. Ильич завещал: Революцию не делают в белых перчатках. Это трудно — убивать ради дела Революции. Как

любил повторять наш с тобой учитель в семинарии: «Надо быть Гераклом, чтобы очистить авгиевы конюшни». — Он засмеялся, а я похолодел.

Помню, он долго молчал. Потом поднял голову и сказал:

— Благодари Бога, что тебя тут нет. — И постучал трубкой по бумаге.

Думаю, именно тогда, сидя над бюллетенями, он окончательно принял решение.

Любовь Бухарчика

Теперь каждый раз в кабинете Кобы я заставал Ягоду. Что-то готовилось, но я не понимал тогда что. Хотя Ягода часто докладывал в моем присутствии. Обычно эти доклады происходили в форме читки донесений агентов. И при мне они всегда касались Бухарина.

— Товарищ Бухарин встретился с товарищем Лариной в ресторане. Как сообщил наш сотрудник, он сказал товарищу Лариной: «Зимой во время похорон Луначарского я стоял у его гроба и вдруг представил свою смерть. Колонный зал Дома союзов. На сцене урна, увитая цветами, и Коба выступает: „Пусть Николай не раз ошибался, но Ленин его очень любил“…»

Коба заметил то ли мне, то ли Ягоде:

— Красивую смерть загадал для себя товарищ Бухарин… А я вот вспомнил стихи товарища Омара Хайяма. Поучительные стихи: «Легкой жизни ты просил у Бога, легкой смерти надо бы просить»…

На следующий день я опять застал чтение Ягоды о Бухарине.

— Товарищи Бухарин и Ларина встретились вчера вечером. Как сообщает наш сотрудник, это произошло в следующем порядке. Они пошли в гостиницу «Метрополь» — товарищ Ларина там проживает после смерти товарища Ларина. Постояли около ее квартиры. Наш сотрудник стоял внизу на лестнице и записал то, что понял… — Ягода продолжил читать пьесу о любви, записанную сексотом: — «Товарищ Бухарин сказал: „Любовь — первое из слов Создателя. Когда он произнес: „Да будет свет!“, тогда родилась любовь“. После этого они долго целовались с товарищем Лариной. Потом товарищ Бухарин прочел стихотворение антисоветского поэта товарища Мандельштама, из которого удалось записать: „И море, и Гомер — все движется любовью“. Далее он читал стихи слишком быстро, и текст стихов был путаный. Потом товарищ Бухарин заявил: „Ты хочешь, чтоб я пошел к тебе сейчас же?“ Товарищ Ларина ответила: „Хочу“. Товарищ Бухарин: „Но в таком случае я никогда уже не уйду о тебя“. Товарищ Ларина: „Уходить не надо, милый“…» По нашим предположениям, они стали в эту ночь сожительствовать…

— Какие догадливые, — мрачно усмехнулся Коба.

— Мы приставили к нему нового шофера, у прежнего был не очень хороший слух…

На этих словах вошел секретарь и сообщил, что пришел… Бухарин! Коба засмеялся, велел Ягоде подождать.

Ягода ушел, но меня Коба оставил. Помню, Бухарин

буквально влетел в кабинет.

Он был очень взволнован. Пушок редких рыжеватых волос стоял гребнем на голове. Он начал от двери, не обращая внимания на меня:

— Когда моих учеников решили выслать, я согласился. Но сейчас, Коба, я узнал, что после моей речи некоторых арестовали.

— Значит, правильные выводы сделали из твоей речи, — ответил Коба. — Вольнодумов нужно строго учить.

— ***Вольнодумцев, —*** поправил Бухарин, — надо прощать, если они дети.

— Вольнодумов, — упрямо повторил Коба, — можно простить… если раньше ты их уничтожил. Шучу. Простим, конечно. Как не простить, раз такой заслуженный человек просит… «Любимец партии». Чего не сделаешь для Любимца!

Бухарин предпочел не заметить яростной иронии (или, что точнее, испугался ярости Кобы) и… заговорил о другом!

— Знаешь, Коба, я женюсь.

— Что ты говоришь! На ком?

— На дочери Ларина… Я долго думал. Такая разница в возрасте… Но она меня любит.

— В добрый час. У нее, наверное, много друзей среди арестованных вольнодумов? Это перед ней тебе неудобно? — Бухарин растерянно смотрел на него. — Шучу. А ты совсем разучился шутить. Но с женитьбой тебя поздравляю. — И Коба обнял Бухарина.

Когда тот вышел, он сказал:

— Видишь ли, Фудзи, мне хочется, чтобы ты подружился с ним… в дальнейшем. Но пока внимательно наблюдай за этим неискренним товарищем.

Коба замолчал. И я понял, почему так часто попадал на доклады Ягоды о Бухарине. Я торопливо возразил:

— Но, Коба, мне нужно ехать в Париж. Мы должны наладить новый канал связи с Германией.

— Ты будешь налаживать то, что я тебе прикажу…

Вот так он сделал меня стукачом при Бухарине.

Думаю, в тот день я… сломался.

Погром старых борцов

Летом того же 1934 года газеты всего мира сообщили о невероятной новости — разгроме путча вчерашних сподвижников Гитлера.

Я с изумлением читал на работе иностранные газеты. Гитлер уничтожил множество отцов нацистского движения — «старых борцов»-штурмовиков. Журналисты гадали, что же произошло в Германии. Не скрою, я тоже не понимал. Еще при мне началась эта странная полемика Фюрера с главой штурмовиков Ремом и обозленными ветеранами штурмовых отрядов, приведшими Фюрера к власти.

Гитлер провозгласил новый лозунг: «Революция закончена, начинается эволюция». Но штурмовики и Рем были против. Возмущенная вольница голосом Рема объявила: «Мы не потерпим, чтобы наша Революция заснула на полдороге».

Этими призывами к продолжению Революции вожди штурмовиков пугали поддерживавших Гитлера немецких олигархов. Настаивая на подчинении немецкой армии своему руководству, Рем стращал других важнейших союзников Фюрера — генералов вермахта.

Миллионная армия головорезов-штурмовиков становилась опасной оппозицией. Но надо отдать должное Фюреру — он мог не страшиться старых товарищей. Он вовремя позаботился о сопернике буйных штурмовиков. Гитлер создал отряды ***СС — свою личную охрану.*** В эту охрану сначала входили несколько сотен человек. Но Гитлер своевременно — за четыре года до прихода к власти — поручил реформировать СС некоему тщедушному человеку с гитлеровскими усиками, Генриху Гиммлеру. Еще в недавнем прошлом это был безвестный нацист, владелец куриной фермы, работавший прежде в фирме, производившей удобрения. В партии его называли Генрих-навоз. Уже вскоре произносить презрительную кличку стало опасно. Этот господин, похожий на унылого клерка, за какие-то несколько лет превратил охрану Фюрера в могущественнейшую армию. На моих глазах служба в рядах СС становилась все более престижной. СС стремительно сделалась самой грозной силой. Внутри нее Гиммлер создал мощную службу безопасности, необычайно напоминавшую мне… родную Лубянку. Как и у нас, одно упоминание о всесильном, таинственном СС наводило ужас на обывателя.

Между эсэсовцами и буйными штурмовиками шла теперь скрытая война, готовая перерасти в открытую.

Но я уверен: при всех разногласиях штурмовики были преданы Гитлеру и никогда не решились бы ни на какой путч. Ведь не было бы Гитлера — не было бы их самих. Тогда что же случилось?

Все объяснил мне… Коба!

Он вызвал меня в Кремль. В кабинете мы были одни. После чтения западных газетных сообщений о «ночи длинных ножей» (так поэтически называлась кровавая резня) Коба начал меня расспрашивать. Жадно, подробно… Я почувствовал, что он необычайно заинтересован этой историей. Он хотел знать детали и, главное, — как восприняла Германия это странное уничтожение «своими своих».

Утром я связался с Корсиканцем и вечером снова был в Кремле. Я пересказал максимально точно донесение Харро и статьи в газетах.

— После постоянных выпадов Рема Гитлер поспешил встретиться со старым товарищем по партии. О чем они говорили с Ремом и что обещал Рему Гитлер — неизвестно. Но после разговора Рем явно успокоился. Он распустил на летний отдых всю свою армию. Буйные вожди штурмовых отрядов вместе с ним отправились отдыхать на курорт в Бад-Висзее…

Уже вскоре по Берлину поползли слухи о готовящемся путче штурмовиков. Путч, организованный Ремом со товарищи, будто бы должен начаться в Мюнхене. И в этом заговоре участвуют бывший канцлер генерал Шлейхер и второй человек в нацистской партии Грегор Штрассер.

29 июня по приказу Гитлера Гиммлер собрал отряды эсэсовцев.

В ночь на 30 июня Гитлер вместе с Геббельсом на трехмоторном самолете тайно вылетел в Мюнхен.

Фюрер заявил встречавшим его на аэродроме: «Сегодня — самый трагический день в моей жизни. Но я обязан поехать в Бад-Висзее, я обязан провести строгий суд».

В седьмом часу утра Гитлер с отрядом эсэсовцев появился в Бад-Висзее. Здесь в роскошном отеле на берегу озера мирно спали мертвецки пьяным сном Рем и вся коричневая верхушка, не знавшие ничего о зловещем заговоре, который затевался. Они славно повеселились той ночью. Большинство руководителей штурмовиков были гомосексуалистами, и оргия закончилась, как обычно: вместе с вождями в кроватях почивали мальчики…

Гитлер постарался завести себя, прежде чем предстать грозным судьей перед старым и верным соратником. Яростно выкрикивая ругательства, он ворвался в номер Рема.

Рем проснулся, но никак не мог понять, что происходит!

Гитлер вопил нечеловеческим голосом, жилы на лице вздулись, глаза выскакивали из орбит!

— Подлая сволочь! Проклятый содомит! Ты арестован!

В это время эсэсовцы выволакивали из постелей штурмовиков и их мальчиков. Последних сводили в подвал и расстреливали. Рема и всю верхушку штурмовиков, объявленную «главарями разоблаченного заговора», увезли в Мюнхен в тюрьму.

В память о совместной борьбе Гитлер велел передать Рему револьвер, но тот отказался застрелиться. «Если решено меня убить, пусть потрудится сам!». Его застрелили эсэсовцы.

В Берлине расстреляли и Грегора Штрассера, нациста номер два, вечного оппозиционера, старого соперника Гитлера…

Три дня продолжалось избиение ничего не понимавших вождей штурмовиков. Заодно со штурмовиками расправлялись… и с их врагами! Зверски убили семидесятитрехлетнего генерала Кара, когда-то подавившего «пивной путч» в Мюнхене. И последнего канцлера Веймарской республики генерала Шлейхера. Экс-канцлера пристрелили на глазах жены, потом наградили пулей и ее. Были убиты множество противников нового режима. Только 1 июля закончилась резня, получившая изящное название — «ночь длинных ножей»…

Когда я закончил переводить статьи о путче, Коба, усмехаясь, заходил по кабинету, потом спросил:

— Не помнишь, Фудзи, кого ты процитировал мне за полтора месяца до прихода Гитлера к власти?

(Я действительно передал тогда в Центр слова генерала Шлейхера, назначенного в те дни канцлером Веймарской республики: «С Гитлером покончено. Самые большие трудности позади, впереди дорога к лучшему». Всего через пятьдесят два дня канцлером вместо Шлейхера стал Гитлер!)

— Как видишь, политиков часто наказывают смертью за глупость. Такая у нас работа… Но я просил тебя выяснить главное: каково настроение немцев после всего этого? — поинтересовался Коба.

— Корсиканец утверждает — восторженное! Народ ликует. Думаю — от страха. Хотя некоторые делают это по убеждениям. Это те, кто верит, что Гитлер решил покончить со своими бешеными сторонниками — путчистами-радикалами.

Тут Коба прервал меня и сказал с доброй улыбкой:

— Почему ты все время зовешь соратников Гитлера «путчистами», ведь никакого путча не было?

Я с изумлением посмотрел на него: именно об этом писали английские газеты. И ответил подобострастно:

— Английские газеты, Коба, действительно утверждают, что

никакого путча не было, просто бесноватый в очередном припадке безумия расстрелял половину своей партии.

Коба рассмеялся:

— Они тоже ничего не понимают. Какой же он бесноватый? На мой взгляд, он очень даже в своем уме. Просто вчерашние соратники мешали ему строить сильное государство. Они никак не могли забыть прошлых заслуг и бузили. И только сейчас, уничтожив их, Гитлер становится истинным Фюрером… Быстрый у него путь в вожди. Сначала поджег Рейхстаг, чтобы избавиться от ***чужих —*** от жалких немецких социал-демократов и бедных коммунистов. Теперь он избавился от ***своих.*** — Коба замолчал, прошелся по кабинету, держа трубку в негнущейся руке. — Нет, он не бесноватый! Он — ***политик…*** хитрый, умный политик, этот товарищ Гитлер…

Я смотрел на Кобу и видел на его лице хорошо знакомое мне раздумье — некая опасная мысль все больше завладевала им.

Всю неделю я продолжал переводить ему немецкие газеты. Как же он жадно слушал!

И когда я прочел лозунг нацистов: «Один народ, одна партия, один Фюрер!» (кстати, у нас не смели переводить слово «Фюрер», ведь «Вождем» в СССР называли его, Кобу), Коба засмеялся:

— Вот вам всем — итог! Теперь между ним и остальными партийцами — пропасть. Теперь в его партии остались только те, для которых он Бог и Фюрер.

Потом, когда мы ехали в машине на Ближнюю дачу, Коба вдруг сказал:

— Итак, товарищ Гитлер избавился от своих старых революционеров-партийцев… — Мысль эта явно не давала ему покоя. — Кстати, и товарищ Ленин не раз издевался над так называемыми старыми партийцами и даже говаривал, что «революционеров в пятьдесят лет следует отправлять к праотцам». В этой шутке, Фудзи, есть очень серьезная мысль: каждое революционное поколение с годами становится тормозом для той идеи, которую они вынесли на своих плечах… Так что, мижду нами говоря, товарищ Гитлер всего лишь поверил товарищу Ленину. — Коба засмеялся.

Но особенно его развеселило то, что все расстрелянные Гитлером, умирая… славили Гитлера. Он долго прыскал в усы, мой смешливый друг Коба. Уверен: тогда он уже обдумывал ***первые действия.***

«Сердце под ножом падало»

Я навестил Кобу в новой квартире. Обстановка была такая же — мебель, которую оставил Бухарин, оказалась не лучше прежней мебели Кобы. «Любимец партии», видно, тоже презирал буржуазные ценности.

Коба странно относился к Бухарину. Он его любил, презирал, восхищался, ненавидел и… завидовал. Причем одновременно. Чтобы это понять, надо знать Кобу.

В тот вечер Коба его ненавидел. Он сказал мне:

— Это он ее убил. Он отравил ей душу… Он мучил ее рассказами о голодающей деревне… Он женился недавно, они живут в моей бывшей квартире… И я спросил его: «А где ты спишь со своей малолеткой?» Оказалось, в моем кабинете спят. Я говорю: «Вы лучше в Надину комнату переезжайте, там воздуху побольше». Не переехал — боится. Тени ее боится. Знает кошка, чье сало съела!

Повторюсь: это была его любимая задача — найти виноватого. Того, кто ответит вместо него. Она была выполнена: нашел!

Помню, как он усмехнулся, набрал телефон:

— Николай, еще не спите? Я тебя хочу еще раз поздравить. Мижду нами говоря, ты меня переплюнул…

Тот, видимо, спросил:

— В чем?

— Хорошая жена, и, главное, молодая… Моложе моей Нади, когда мы поженились. И влюблена в тебя, как кошка. Завидую по-хорошему… — И повесил трубку.

В воскресенье я опять пришел к Кобе в новую квартиру. Он читал дочке вслух.

Он часто делал это. Обычно это были юмористические рассказы. Читал и сам же прыскал в усы.

В этот раз он читал ей грузинские стихи в русском переводе:

— Ветрено, ветрено, ветрено,
Ветер склоняет ветвей ряды…
Листья колышутся медленно,
Где же ты, где же ты, где же ты?..
Дождь, снег идет после дождя,
Мне никогда не найти тебя!
Всюду преследует облик твой —
Каждый раз он везде, он со мной!..
Ввысь летит дум туман медленно…

Ветрено, ветрено, ветрено!

С какой болью он это читал… Но вдруг посмотрел на меня желтыми бешеными глазами. И продолжил читать совсем другие стихи:

— Дождиком солнечным вода
Долго на поле падала.
Падала, падала, падала,
Долго на поле падала.
Пусть бы у всех, кто делает зло,
Сердце под ножом падало.
Падало, падало, падало,
Сердце под ножом падало.

Если бы Бухарчик слышал это чтение!

Конец первой книги

notes

Примечания

1

Разбивка на главы, названия глав и выделения курсивом — *Э. Р.*